ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ

КАК ЖИЛИ ЖЕНЩИНЫ РАЗНЫХ ЭПОХ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Смольный институт благородных девиц был основан по указу императрицы Екатерины II, чтобы «… дать государству образованных женщин, хороших матерей, полезных членов семьи и общества». Спустя годы такие учебные заведения стали появляться по всей стране.

Не счесть романов и фильмов, повествующих о курсистках. Воспитанницы институтов благородных девиц не раз оказывались главными героинями величайших литературных произведений. Им посвящали стихи, их похищали гусары. Но как же все было на самом деле? Чем жили юные барышни XVIII–XIX веков? Действовал ли знаменитый закон о том, что после тура вальса порядочный кавалер обязан жениться? Лучше всего об этом могут рассказать сами благородные девицы.

В этой книге собраны самые интересные воспоминания институток.

Быт и нравы, дортуары, инспектрисы, классные дамы, тайны, интриги и, конечно, любовные истории – обо всем этом читайте в книге «Институт благородных девиц».

- Глафира Ржевская, Анна Стерлигова, Елизавета Водовозова и др
  - ○
  - ○ Глафира Ивановна Ржевская
    - ■
    - ■ Памятные записки
      - ■ Вступление[1]
      - ■ Одиннадцатилетнее пребывание мое в Смольном монастыре
      - ■ Об отношениях моих ко двору
  - ○ Анна Владимировна Стерлигова
    - ■
    - ■ Воспоминания
  - ○ Елизавета Николаевна Водовозова
    - ■
    - ■ На заре жизни
      - ■ Дореформенный институт[120]
      - ■ Жизнь институток
      - ■ Инспектриса, ее характер и значение
      - ■ Результаты институтского воспитания и образования
      - ■ Смольный во время реформ

        - Выход из института
    - Александра Ивановна Соколова
        -
        - Из воспоминаний смолянки
    - Вера Николаевна Фигнер
        -
        - Запечатленный труд
            - Институт
            - Протест
            - П. А. Черноусова
            - Итоги
            - Литературные влияния
    - Татьяна Григорьевна Морозова
        -
        - В Институте благородных девиц
            -
            - Я поступаю в институт
            - Молодые души
            - Институт и революция
            - Год 1919-й. Последние дни
            - Эпилог
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18
    - 19
    - 20
    - 21
    - 22

- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66

- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110

- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154

○ 155

Глафира Ржевская, Анна Стерлигова, Елизавета Водовозова и др
Институт благородных девиц

© ООО «ТД Алгоритм», 2016

Глафира Ивановна Ржевская *(1759–1826)*

Ржевская Глафира Ивановна (урожд. Алымова, во 2-м браке Маскле; 1759–1826) – «первая смолянка», была лучшей в первом выпуске Воспитательного общества благородных девиц при Смольном монастыре (впоследствии Смольного института). Поступила в 1764 г., выпущена с золотой медалью первой величины и золотым шифром в 1776 г. Пользовалась особой любовью и покровительством Екатерины II, фрейлиной которой стала сразу после выпуска. Считалась одной из лучших арфисток своего времени; с арфой изображена и на известном портрете кисти Д.Г. Левицкого (Русский музей).

Первым браком (с 1777 г.) была за А.А. Ржевским (1737–1804), от которого имела троих сыновей и дочь. В 1780 г. Г.Р. Державин посвятил супругам Ржевским оду «Счастливое семейство». Во втором браке Г.И. Ржевская была за И.П. Маскле. Скончалась в Москве, похоронена на Ваганьковском кладбище.

«Памятные записки» были написаны в начале XIX в. на французском языке.

Для публикации в «Русском архиве» (1871. Кн. 1. Вып. 1), использованной в настоящем издании, были переведены на русский язык правнучкой Г.И. Ржевской, дочерью известного декабриста П.Н. Свистунова – Магдалиной Петровной Свистуновой (1848–?) и сокращены.

В примечаниях использованы комментарии П.И. Бартенева к первой публикации.

Памятные записки
Избранные главы

Вступление [1]

Нерадостно было встречено мое появление на свет. Дитя, родившееся по смерти отца[2], я вступала в жизнь с зловещими предзнаменованиями ожидавшей меня несчастной участи. Огорченная мать[3] не могла выносить присутствия своего бедного девятнадцатого ребенка и удалила с глаз мою колыбель, – а отцовская нежность не могла отвечать на мои первые крики. О моем рождении, грустном происшествии, запрещено было разглашать. Добрая монахиня взяла меня под свое покровительство и была моею восприемницею. Меня крестили как бы украдкой. По прошествии года с трудом уговорили мать взглянуть на меня. Она обняла меня в присутствии родных и друзей, собравшихся для этого важного случая. День этого события был днем горести и слез. Отец благословил меня еще до моего рождения и завещал дать мне имя, которое я ношу. Это обстоятельство часто служило мне утешением среди горестного моего сиротства. Мне постоянно твердили о нерасположении ко мне матери моей. Пока я жила возле нее, я нисколько этого не замечала и не страдала от этого: напротив, хотя я была ребенок, но видела, что строгость, которой придерживались в отношении к моим братьям и сестрам, не простиралась на меня; причины этого я не понимала. Я нисколько не боялась матери, но всячески старалась ей угодить. Она меня ласкала не более других детей, но чаще улыбалась мне и всегда со слезами на глазах. Когда, семи лет, меня разлучили с нею, чтобы поместить в Смольный монастырь, я начала огорчаться всем, что приходилось мне слышать до этой поры. Чувствительность моя развилась при виде ласк, которыми осыпали родители моих подруг. Из пятидесяти девушек я была почти единственная, не видевшая родительской нежности. Некоторого рода обожание, предметом которого служила я для всех окружающих, не могло заменить чувства, недостававшего для моего счастия. Я имела повод сомневаться в любви моей матери. Наконец, через семь лет, дождалась я желаемого свидания с нею. В минуту доброта ее изгладила все внешние впечатления, а доверие ее развернуло передо мной трогательную картину добродетели, борющейся с несчастием. Горе моей матери еще сильнее привязало меня к ней; я дрожала при виде

страданий, исказивших ее благородные черты. Степенный вид ее внушал почтение, придавая вес ее речам, из которых почерпнула я познание священных обязанностей супругов, родителей и детей; вся жизнь ее была образцом самого совершенного исполнения правил евангельских. Ее советы глубоко укоренились в моем сердце. Смотря на нее и слушая ее, я не переставала оплакивать несчастную судьбу, которая так долго удаляла меня от нее и скоро должна была разлучить нас навеки. Я вскоре имела несчастие лишиться ее.

Портрет Г. И. Алымовой.
Художник Д. Г. Левицкий. 1776 г.

Глафира Ивановна Алымова, в первом браке Ржевская (1758—1826) – фрейлина Екатерины II, одна из первых арфисток. Входила в первый выпуск института 1776 года, закончила воспитание «первою» и была награждена золотой медалью первой величины и «знаком отмены» – золотым вензелем Екатерины на белой ленте с 3 золотыми полосками

Чувство мое к матери, слабое вначале и как бы призрачное под конец, искусственно мной поддерживаемое, без поощрения исчезло в течение трех месяцев.

Я не знала других моих родных, у меня осталось пять братьев и семь сестер; из них всех один Д[митрий] был моим другом до конца жизни. Нежность его ко мне доходила до слабости: он только возле меня был счастлив.

Теперь бы следовало поговорить о муже и детях, на которых сосредоточились мои чувства. Но предварительно расскажу об эпохе, предшествовавшей моей свадьбе. Не повторю сказанного о влиянии на меня воспитания; по-моему, оно не перерождает человека, а лишь развивает его природные склонности и дает им или хорошее, или дурное направление.

Одиннадцатилетнее пребывание мое в Смольном монастыре

Прелестные воспоминания! Счастливые времена! Приют невинности и мира! Вы были для меня источником самых чистых наслаждений. Благоговею перед вами!

Августейшая и великодушная государыня, положившая первые основания заведения, достойного тебя, прими здесь выражение столь заслуженной тобою благодарности. Память о тебе не изгладится в самые отдаленные века!

Обширнейшее государство в мире провозглашает имя Екатерины II. История сохраняет славные события самого великого царствования, целое поколение свидетельствует о ее благодеяниях; но ее можно вполне оценить, лишь узнав, как она была ласкова к тем, кого называла своими детьми, как была доступна для них.

Сироты, бедные и богатые, имели одинаковое право пользоваться прекрасным воспитанием, основою которому служило совершенное равенство. Это была община сестер, подчиненных одним правилам. Единственным отличием служили достоинства и таланты. Скрывая всегда расстояние, отделяющее

подданных от государыни, мать и покровительница заведения не могла лишь скрыть от воспитанниц великих качеств, ее отличавших. Дозволяя детям короткое обращение с собою, она никогда не роняла своего величия.

Первый выпуск, к которому я принадлежала, наиболее воспользовался всеми выгодами заведения.

Плоды хорошего воспитания проявляются во всяком положении: я это испытала как в счастии, так и в горе. Теперь же, в преклонных летах, я с признательностию вспоминаю об этой счастливой поре моей жизни. Прожив долго в свете и при дворе, среди вражды и страстей людских, я вполне могу оценить прелесть этого мирного приюта.

Образчиком тамошнего воспитания могу служить я. Поставив себе целью перебрать все мои привязанности, я в то же время постараюсь доказать мудрость основательницы заведения. Она с намерением поместила его вне города, дабы удалить воспитанниц от сношения с светом до той поры, когда вполне развитый разум и твердо укоренившиеся в сердце нравственные начала способны будут охранить их от дурных примеров. Как многих других, природа одарила меня счастливыми наклонностями, основательным же развитием их я преимущественно и единственно обязана воспитанию. В свете ничего нет прочного; обычай берет верх над правилами. Видишь лишь обезьян и попугаев, а не встретишь самобытного характера, отличающего человека от других, как отличается он чертами лица; но, при всеобщем однообразии, резко выдаются характеры девушек, воспитанных в наших заведениях, из них каждая имеет свой личный характер. Так называемая оригинальность их, которую осмеивали многие, имела весьма хорошие стороны. Из них вышли прекрасные супруги. Им приходилось бороться против существовавших предубеждений насчет институтского воспитания, встречаемых даже в собственной семье, и против общего нерасположения. Во всех испытаниях они действовали прямо, энергично защищая свои правила. Лишь немногие из них отступили от данного им хорошего направления.

Не считаю эти рассуждения неуместными, потому что для обсуждения действий необходимо ознакомиться с обстоятельствами жизни, их вызвавшими. Впрочем, в моих воспоминаниях я не держусь никакого плана: я лишь самой себе отдаю отчет в том, что видела, чувствовала и испытала.

Нельзя вообразить себе более счастливого положения, чем то, в котором я находилась в течение одиннадцати лет в Смольном[4]. Счастие, которым я пользовалась, нельзя сравнить ни с богатством, ни с блестящим положением светским, ни с

царскими милостями, ни с успехами в свете, которые так дорого обходятся. Скрывая от нас горести житейские и доставляя нам невинные радости, нас приучили довольствоваться настоящим и не думать о будущем. Уверенная в покровительстве Божием, я не ведала о могуществе людей и навеки бы в нем сомневалась, если бы опыт не доказал мне, что упование на Бога не охраняет нас от их злобы.

Первая наша начальница была княжна Анна Сергеевна Долгорукова[5], титулованная дама, пожалованная портретом императрицы. Судить ее я не позволю себе, потому что была тогда слишком молода. Помню случай, лично относившийся ко мне, который обнаружил ее неспособность занимать это важное место, вследствие чего ее осыпали милостями, чтобы склонить отказаться от должности. Она кичилась богатством, знатностью рода и притом была ханжа и суеверна. Будучи остроумна, она не имела достаточно ума для того, чтобы быть выше предрассудков, которые решено было изгнать из нашего мирного приюта. Гордая повелительница, она хотела, чтобы все склонялось пред нею, и не продержалась на своем месте более восьми месяцев.

Княжна присутствовала при молитвах воспитанниц. Однажды во время вечерней молитвы кто-то вошел в комнату, и мы все обернулись. Каково же было мое удивление, когда в этой общей вине одна я признана была виноватою: меня поставили на колени и сделали мне строгий выговор. Я очень была огорчена своим проступком; мне не приходило в голову разбирать, виновны ли были и другие; я плакала целые сутки и даже на другой день, когда стало известно, что наказание мое было лишь предлогом, чтобы сделать неприятности г-же Л[афон][6] и г-ну Б[ецкому][7], начальница нисколько не скрыла этого, прямо сказав мне, что наказала их любимицу, и потом, чтобы вознаградить меня, начала нежно ласкать. Правда, что я была общею любимицею в заведении и осталась ею до конца; но в ту пору я была восьмилетним ребенком, не имевшим ни родных, ни протекции, и лишь хорошим поведением старалась заслужить общее расположение.

Около этой же поры я действительно провинилась, и проступок мой был такого рода, что обличал необыкновенную гордость и упрямство; но он же послужил мне уроком, и потому я стала недоверчиво смотреть на самые качества свои. Случилось это вследствие наказания, которому подвергся весь класс, исключая пять или шесть учениц, в числе которых была и я. Их поставили на колени во время обедни, а после службы простили и всем позволили играть по обыкновению. Сама не знаю почему, я имела превосходство над подругами; они всегда собирались

вокруг меня, во всем спрашивали моего совета и спорили из-за дружбы со мной. Надо заметить, что в это время все мы были одногодки, от 8 до 9 лет. На этот раз я вздумала сторожиться (то есть остерегаться, беречься. – *Прим. ред.*) ото всех, которые были под наказанием, и вместе с остальными держалась в стороне, не позволяя виновным подходить к нам. Одна из них, от которой я в особенности сторожилась, обиженная оскорбительными словами, сказанными ей с презрением, пожаловалась гувернантке. Этой выходки я не ожидала, так как я привыкла, чтобы подчинялись моему приговору. В этом же случае я уверена была, что поступила вполне с достоинством. Когда мне доказали громадность моего проступка, он мне показался до того отвратительным, что от стыда я не хотела в нем признаться. Свидетельство и улика еще более смутили меня; сознавая свою вину и каясь в ней внутренне я не решилась сознаться во лжи при подругах, которые меня считали своим оракулом. Но, преследуемая угрызениями совести и страхом прогневать Бога, в горести, я на коленях умоляла Его о помощи, обещая вперед не впадать в эту вину, лишь бы Он дал мне выпутаться из беды на этот раз. Но мне не уступали; я продолжала отпираться, и меня строго наказали.

Это обстоятельство сделало на меня сильное впечатление. Образцовым поведением старалась я загладить случившееся. Старания мои увенчались таким успехом, что впоследствии ко мне стали требовательнее, чем к кому-либо. Я начала сомневаться в успехе своих усилий; самая большая похвала могла лишь разочаровывать меня. Благодаря стараниям и размышлениям, я стала до того строга к себе, что чем более меня отличали, тем старательнее становилась я, желая усовершенствоваться и сохранить общее расположение.

Между нами царило согласие: общий приговор полагал конец малейшим ссорам. Обоюдное уважение мы ценили более милостей начальниц, никогда не прибегали к заступничеству старших, не жаловались друг на друга, не клеветали, не сплетничали, потому не было и раздоров между нами. В числе нас были некоторые, отличавшиеся такими качествами, что их слова служили законом для подруг. Вообще большею частию были девушки благонравные и очень мало дурных, и то считались они таковыми вследствие лени, непослушания или упрямства. О пороках же мы и понятия не имели.

Г-жа Лафон (Lafond), с редким умом управлявшая заведением в течение 30 лет, утвердила на прочных основах принятую систему воспитания. Она всецело предалась делу. С дальновидностию наблюдавшая за общим порядком, она выказывала большую деятельность в частных распоряжениях. С

свойственною ей предусмотрительностью она предупреждала злоупотребления. Твердо и бдительно следя за тем, чтобы все лица, которые должны были содействовать успеху ее предприятия, добросовестно исполняли свои обязанности, она как бы воспитывала их прежде, нежели удостоить своим доверием. Ту же заботливость выказывала она при выборе прислуги, что так важно в заведении, где чистота нравов почитается залогом всех добродетелей. Г-жа Лафон принадлежала к доброму семейству, которое вследствие религиозных раздоров принуждено было покинуть Францию и искать убежища в России. Поселившись в Петербурге, родители ее продолжали свою торговлю вином и открыли первую в городе гостиницу, которую стали посещать знатные особы. Нажив состояние, они позаботились дать хорошее образование своей единственной дочери, которая родилась у них на старости лет; мать родила ее, будучи 50 лет. Красивая и богатая, она имела много женихов и в пятнадцать лет вышла замуж за француза, генерал-майора в русской службе. Она была несчастлива в замужестве, все свое состояние и спокойствие принесла в жертву мужу, который под конец совершенно сошел с ума и угрожал не раз убить ее и двух дочерей. Растратив женино состояние, он требовал в припадке сумасшествия, чтобы она и дети приняли католическую веру, к которой сам он не принадлежал, но считал это необходимым для получения наследства от своих родителей, находившихся во Франции. Он непременно хотел вернуться на родину; жена возила его за границу на воды, истратив на лечение его последние средства. Ничто не помогло; он умер, и г-жа Лафон с двумя детьми осталась в крайней нужде, без помощи, на чужой стороне. Она желала вернуться в Россию, чтобы собрать деньги, данные ее отцом взаймы нескольким лицам, и обратилась за помощью к нашему посланнику в Париже. Тут-то познакомился с нею г-н Бецкий и стал рассчитывать на нее как на особу, способную исполнить задуманный им план.

Возвратясь в Россию, г-жа Лафон продолжала видеться со своими прежними друзьями и знакомыми, находилась в лучшем обществе, всеми была любима и уважаема. В особенности привязался к ней г-н Бецкий; он ценил общество этой женщины, извлекшей столько пользы из своих несчастий, притом умной, веселой и заслужившей общее уважение своим примерным поведением. Познания ее были нужны для его любимого предмета; он часто советовался с ней, так что она уже вполне была подготовлена, когда ей поручено было заведение, и ей оставалось лишь привести в исполнение глубоко обдуманный план. На ее долю пал весь труд. Сначала, находясь при заведении

в качестве директрисы, она на каждом шагу встречала противодействие главной начальницы; заменив ее, она ввела надлежащий порядок. Под ее рукою заведение вполне процветало. Ему можно было уподобить лишь Сен-Сирское учреждение во Франции[8]. Чтобы внушить более доверия к этому новому учреждению, во главе его поставили знатную особу, пожаловали ее портретом императрицы, с целью придать ей еще более весу[9]. Но выбор этот удовлетворил лишь тех, которые прельщаются внешностию, не заботясь о сущности дела. Люди же разумные, принимавшие к сердцу общественную пользу учреждения, ясно видели превосходство г-жи Лафон и считали знатность рода излишнею. Вполне достойная вознаграждений за свои услуги, г-жа Лафон лишь незадолго до смерти своей получила портрет вместе с орденом Св. Екатерины. Умерла она в бедности, ровно ничего не оставив своей дочери. Общее уважение к ее личным достоинствам вознаграждало ее за недостаток отличий, которых старались ее лишать с помощию интриг. Прежде, нежели сказать, как дорога она была для меня лично, я должна была высказать, как ценима она была вообще. Она была предметом моей первой привязанности. Никто впоследствии не мог мне заменить ее: она служила мне матерью, руководительницею, другом и была покровительницей и благодетельницей моей. Я вполне поняла это, будучи в таких летах, когда могла отдать себе отчет в различных чувствах моих к ней. Любить, почитать и уважать ее было для меня необходимостью. Мое чувство в ту пору походило на сильную страсть: я бы отказалась от пищи ради ее ласк. Однажды я решилась притвориться, будто я не в духе, рассердить ее, чтобы потом получить ее прощение: она так трогательно умела прощать, возвращая свое расположение виновным. Это заметила я в ее отношениях к другим и пожелала испытать всю прелесть примирения. Видя ее удивленною и огорченною моим поведением, я откровенно призналась ей в своей хитрости. С свойственною ей кротостию она советовала мне умерять мою излишнюю чувствительность, которая будет возмущать мое спокойствие, если я ей предамся без меры. Она говорила, что предпочитает меня другим, но не должна этого выказывать, чтобы не возбудить зависти. «Дитя мое, – сказала она мне, – вы заслуживаете общую любовь в заведении, но не надейтесь встретить в свете то же расположение и бойтесь, чтобы привычка к отличию и предпочтению не сделала бы вас гордою и требовательною».

Таким образом, эта умная наставница не пропускала случая дать мне добрый совет. Я же старалась чаще подавать ей повод к

этому, сообщая ей самые тайные мысли свои и намерения. Я не могла наслушаться ее и извлекала из ее советов и увещаний правила, с которыми согласовала свое поведение. По окончании уроков я бежала к ней, чтобы пользоваться ее беседою или чтением. Иногда меня выпроваживали, я угадывала, почему, и возвращалась в сопровождении подруг. Наконец, благодаря моей настойчивости и похвальной цели моих посещений, г-жа Лафон не стала противиться тому, чтобы я находилась возле нее, и сама не могла обойтись без меня. Я стала ее другом; мне поверяла она свое горе, я же была ее сиделкою (в последнее время она часто хворала).

Из других моих привязанностей в Смольном одна лишь дружба с г-жой Рубановской[10] была серьезным чувством. Она осталась моим единственным искренним другом до последней минуты своей жизни. С обеих сторон чувство доходило до совершенной преданности. По смерти ее я имела счастие оказать услуги ее семейству, детям и тем исполнила священный долг, заплатив за ее дружбу, которая до того времени не требовала от меня ни малейшего пожертвования. Искусное перо могло бы написать целую книгу о ее добродетелях, несчастиях и твердости духа, которая послужила бы к назиданию многих.

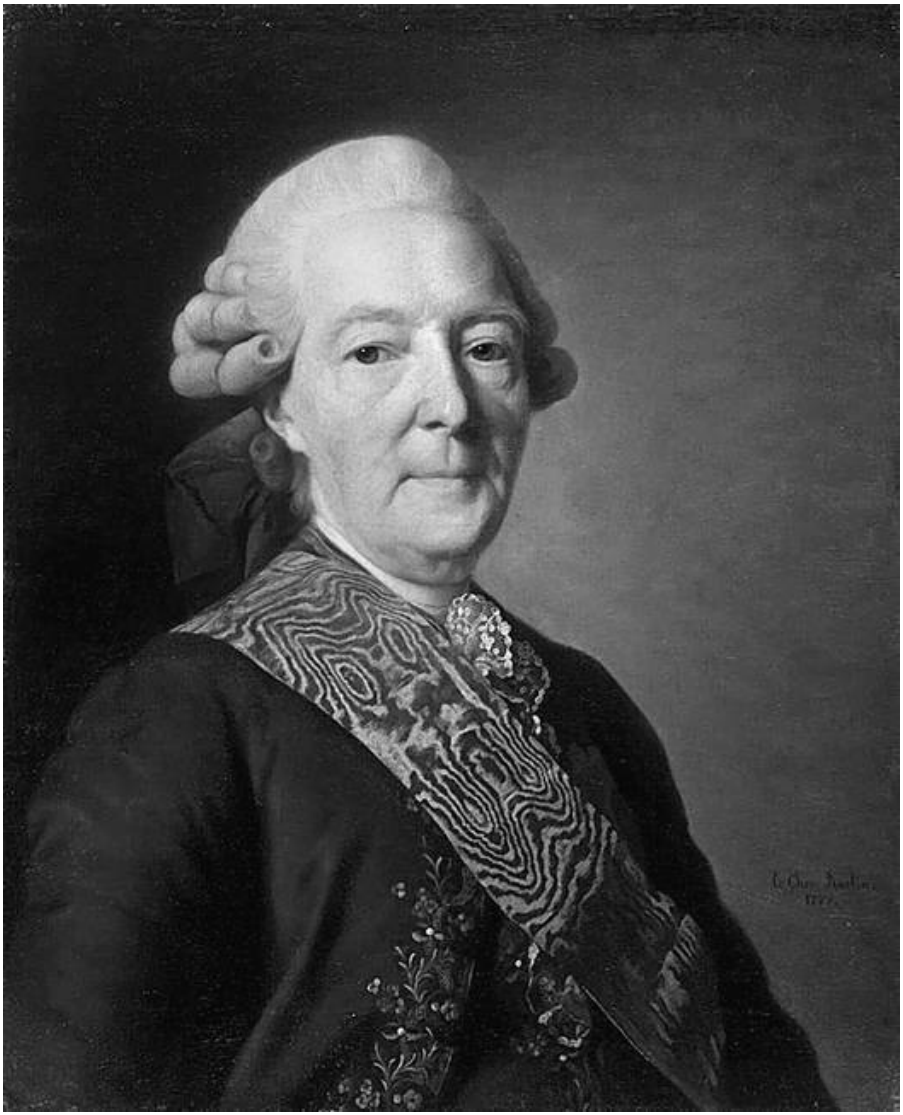
Остается мне поговорить о И.И. Бецком, игравшем столь важную роль в моей жизни с самого детства моего и до замужества. Затрудняюсь определить его характер. Чем более я о нем думаю, тем смутнее становится он для меня. Было время, когда влияние его на меня походило на очарование. Имея возможность делать из меня что ему вздумается, он по своей же ошибке лишился этого права. С сожалением высказываю это, но от истины отступать не хочу. Факты докажут, что мы, несмотря на свободную волю, не можем избежать своей судьбы.

И.И. Бецкий своим усердием, бескорыстием и патриотизмом отличался во всех отраслях вверяемого ему управления. Своими заслугами он достиг высших должностей, всеобщего уважения и полного доверия великой Екатерины. Полезные заведения, основанные им для общественного блага, были его величайшими заслугами. О значении, какое он имел, забыли; но заслуги его останутся всем памятны. Воспитательные дома в Москве и Петербурге[11] и два заведения при Смольном монастыре, одно для дворянских дочерей, другое – для мещанок[12], послужат незабвенными памятниками его трудов. Устав этих заведений, им составленный, свидетельствует о качествах его ума и сердца.

Императрица, определившая значительные суммы на содержание этих заведений, поручила их Бецкому, которому принадлежит честь составления плана и исполнения его. Будучи

единственным распорядителем в этом предприятии, он не упустил из виду ни малейшей подробности, победил величайшие затруднения. Он удачно выбирал лиц, которые должны были помочь ему в деле. Они являлись со всех сторон; каждого допускал он к себе и в выборе своем редко ошибался, что могут засвидетельствовать даже самые враги его. Этого удивительного человека, этого почтенного старца приучили нас уважать как отца и защитника.

Таков он был до последней минуты нашего пребывания в Смольном для всех воспитанниц; достойнейшим старался доставить самые большие преимущества и был в этом случае справедлив без малейшего лицемерия. Отношение его ко мне было иного рода. С первого взгляда я стала его любимейшим ребенком, его сокровищем. Чувство его дошло до такой степени, что я стала предметом его нежнейших чувств, целью всех его мыслей. Это предпочтение нисколько не вредило другим, так как я им пользовалась для блага других: ничего не прося для себя, я всего добивалась для своих подруг, которые благодарны мне были за мое бескорыстие и вследствие этого еще более любили меня. Я не переставала просить его за всех, кто нуждался в его покровительстве, и не тщетно. Он всегда исполнял мои просьбы. Имея намерение доставить какое-либо удовольствие воспитанницам, он сообщал мне об этом заранее и приводил свою мысль в исполнение лишь по настоятельной моей просьбе, так что за доставленную им радость честь приписывалась мне. Я любила Ивана Ивановича с детскою доверчивостию, как нежного и снисходительного отца, в котором я не подозревала ни единого недостатка и о достоинствах которого мне постоянно твердили. Я бессознательно чувствовала, что он мне подчинялся, но не злоупотребляла этим, предупреждая малейшие желания его. Исполненная уважения к его почтенному возрасту, я не только была стыдлива перед ним, но даже застенчива. Все мы были очень скромны, несмотря на полную свободу, в которой нас воспитывали.



Иван Иванович Бецкой (1704—1795) – видный деятель русского Просвещения, личный секретарь императрицы Екатерины II (1762—1779), президент Императорской Академии искусств (1763—1795), инициатор создания Смольного института и Воспитательного дома. Возглавлял комиссию по каменному строению в Санкт-Петербурге и Москве

Впрочем, теперь не об этом идет речь. Я говорила о привязанности моей к Бецкому; безграничное чувство мое не имело особенной цены: с его стороны были все жертвы, я же лишь поддавалась упоительному чувству, составлявшему мое счастие. Но он мне не внушал такого доверия, как г-жа Лафон: перед нею я изливала свои чувства, а при нем радовалась, не высказываясь. Г-

жу Лафон спрашивала я, хорошо или дурно я поступала. Она так умела направить мои мысли, что поведение мое всегда согласовалось с ее советами. Вскоре г-н Бецкий перестал скрывать свои чувства ко мне и во всеуслышание объявил, что я его любимейшее дитя, что он берет меня на свое попечение и торжественно поклялся в этом моей матери, затеплив лампаду перед образом Спасителя. Он перед светом удочерил меня. Три года пролетели как один день, посреди постоянных любезностей, внимания, ласк, нежных забот, которые окончательно околдовали меня. Тогда бы я охотно посвятила ему свою жизнь. Я желала лишь его счастия; любить и быть так всецело любимою казалось мне верхом блаженства. Я ровно ничего не смыслила в денежных расчетах и не обращала внимания на нашептывания о его богатстве; меня пугала мысль о перемене, а между тем пора ее настала, и участь моя должна была решиться.

Г-н Бецкий стал внимательнее, чем когда-либо; ни холод, ни дурная погода не удерживали его – ежедневно являлся он ко мне, под конец даже по два раза на день. Только мной и занимался, беседовал со мной о моей будущности. Видя, что я ничего не понимаю, и что разговор этот мне надоедал, он решился действовать как бы согласно с моим характером и склонностями; на самом же деле он управлял мной по-своему. Стараясь удалить меня от всех, кто пользовался моим доверием, и самому вполне овладеть им, он так ловко устроил, что никто не смел открыть мне его намерений, а они были так ясны, что когда я припоминаю его поведение, то удивляюсь своей глупости. Сначала он попробовал ослепить меня драгоценными подарками; я отказалась от них как излишних для меня. Потом, шутя, при всех спросил меня, что я предпочитаю: быть его женой или дочерью. «Дочерью, – отвечала я, – потому что одинаково могу жить возле вас, и никто не подумает, чтобы я любила вас из интереса, а не ради вас самих; говорят, что вы очень богаты». – «Но у вас ничего нет». – «Да разве мне чего-либо недостает?» Он смеялся до слез, переменял разговор, а я на все это не обращала внимания, как будто дело шло не обо мне.

При выпуске надо меня было одеть; родителей у меня не было, и Бецкий взялся позаботиться о моем гардеробе, приносил мне образчики разных материй и удивлялся, что я выбирала самые простые: и хорошо делала, потому что на другой день свадьбы мужу моему пришлось заплатить за них. Я была так неопытна, что воображала, что мне доставляют лишь должное. Между тем императрица щедро помогала моему экипированию. Назначив меня для встречи будущей супруги наследника на русской границе, она ничего для меня не жалела. Меня всем

снабдили на дорогу; к тому же у меня было 100 рублей, которые подарил мне брат Д[митрий]. Не зная цены деньгам, я истратила их в Риге, накупив подарков, которые я послала своим приятельницам. Разлука моя с Бецким огорчила его, но он в этой поездке находил ту выгоду, что, удаляясь от подруг и сближаясь со двором, я нуждалась в его покровительстве. Несчастный старец, душа моя принадлежала тебе; одно слово, и я была бы твоею на всю жизнь. К чему были тонкости интриги в отношении к самому нежному и доверчивому существу?.. Тебя одного я любила и без всяких рассуждений вышла бы за тебя замуж. Значит, ты обманывал меня, говоря, что муж мой будет твоим сыном. И точно, он часто говорил со мной о блестящей участи, которую он мне готовил, и требовал от меня одного условия: выбрать того, кто согласится, подчиняясь ему, жить в доме, который он хотел мне подарить. Всякая бы другая заметила, что его поведение не согласовалось с его речами; я же о том догадалась, когда уже было поздно: поведение его сбило меня совершенно с толку. Покамест он все был ласков и выражал страсть свою, не называя ее. Потом, из ревности, начал удалять от меня даже женщин, меня возлюбивших. Я ничего не скрывала от него и лишь находила его менее любезным, потому что он дурно отзывался о тех, кто меня любил. Я, ничего не подозревая, простодушно на то сердилась.

Видя, что я не знаю света, и что даже подозрение о зле возмущает меня, он всячески старался убедить меня, что все хотят меня обманывать, чтобы тем удалить меня от света. Он не выходил из моей комнаты и, даже когда меня не было дома, ожидал моего возвращения. Просыпаясь, я видела его около себя. Между тем он не объяснялся. Стараясь отвратить меня от замужества с кем-либо другим, он хотел, чтобы я решилась выйти за него как бы по собственному желанию, без всякого принуждения с его стороны. Страсть его дошла до крайних пределов и не была ни для кого тайною, хотя он скрывал ее под видом отцовской нежности. Я и не подозревала этого. В 75 лет он краснел, признаваясь, что жить без меня не может. Ему казалось весьма естественным, чтобы восемнадцатилетняя девушка, не имеющая понятия о любви, отдалась человеку, который пользуется ее расположением. Рассуждал он правильно, но ошибался в способах достигнуть своей цели. Повторяю, будь он откровеннее, я бы охотно сделалась его женою. Между тем многие искали мне нравиться. Из них лишь один, мой покойный муж[13], обратил на себя мое внимание. Сдержанный, почтительный, он пользовался расположением людей достойных уважения и доверия и желавших мне добра, между которыми был князь

Орлов (речь идет о князе Григории Григорьевиче Орлове. – *Прим. ред.*). Он серьезно беседовал со мной об этом и говорил, что императрица довольна бы была этим замужеством.

Г-н Ржевский сделал мне предложение. Я ничего не обещала ему, сказав, что завишу от Ивана Ивановича Бецкого, к которому пусть он и обратится. Он захотел знать, имею ли я к нему расположение и приму ли его предложение. Я отвечала, что не иначе как с согласия того, кто заменяет мне отца, а что без его одобрения я не отдам никому ни руки, ни сердца.

Я поспешила рассказать Ивану Ивановичу обо всем случившемся. К моему величайшему удивлению, этот человек, обыкновенно столь кроткий и сговорчивый, разгневался и пришел в отчаяние. Я растерялась, вообразив, что сделала большую неловкость; но хотела, однако, узнать, в чем именно. Успокоившись, он объяснил мне свою вспышку тем, что я огорчила его, необдуманно связав себя тем, что дала слово человеку, которого не знаю. При этом он мрачными красками описал, как меня поддели, употребив во зло имя императрицы, и наконец сказал, что умрет с горя, если я буду несчастна. Всего этого достаточно было, чтобы внушить мне отвращение от всякого замужества. Я уверила его, что вовсе не стою за эту партию, совершенно от нее отказываюсь и подчиняюсь его воле во всем, что касается моей судьбы. Успокоенный сверх ожиданий, он старался всячески изгладить сделанное на меня неприятное впечатление, оправдывал свою вспышку самою чувствительною нежностию ко мне, на коленях просил у меня прощения, предлагая мне требовать от него всевозможных жертв. Я стала просить за дочь г-жи Лафон; тотчас же он позволил мне объявить ей, что назначает ей 40000 руб. Эта была счастливейшая минута моей жизни. (Слова своего он не сдержал под предлогом, будто бы поставил мне в условие не выходить замуж. Однако он мне не осмелился предложить оного.) С этой поры начались неприятности. Он меня опутывал интригами, причинял мне горести и заботы, внушал мне неразумные поступки, сам держась в стороне, и все это с целью лишить меня покровительства августейших особ, которые разоблачали его хитрости. Он все это делал не для того, чтобы меня губить, а чтобы заставить с отчаяния выйти за него замуж. Желая вооружить меня против разных лиц, он выдумывал на них небылицы и раздражал меня до того, что я готова была забыться перед ними. Он едва не одурачил меня. Но невидимая рука указывала мне правый путь в этом лабиринте интриг, и я выпуталась из сетей, расставленных перед моей невинностию и чистосердечием. Бог сохранил меня невредимою. Это отнесли к моей чести, я же убеждена была, что

спасло меня Провидение. Книги недостанет, чтобы описать все западни, которые расставлял для меня человек, долгом которого было охранять мою молодость. Но страсть не рассуждает. Если никто не любил меня более Ивана Ивановича, зато никто не сделал мне столько зла, как он. Господь заботился о моей участи.

Разберем обстоятельства, сделавшие невозможным примирение, между тем как спору не должно было и существовать. Я более не думала о предложении Ржевского. Иван Иванович принял его прекрасно, разыграв как нельзя лучше роль нежного отца. Он составил план своего поведения и непременно достиг бы своих целей, если бы не случилось происшествия, расстроившего его намерения. Во-первых, в разговоре с г-ном Ржевским он уверил его, что препятствия были с моей стороны, что я противилась его желанию выдать меня замуж, увещевал его быть терпеливым, обещая действовать в его пользу. К несчастию, он напал на человека, который был хитрее его. Между тем как он по-своему учил меня, князь Орлов старался разъяснить мне, в чем дело; но меня так приучили быть недоверчивою, что нельзя было подорвать влияния Ивана Ивановича. Орлов не щадил его в моих глазах, а меня сердило, что подвергали сомнению чистоту его намерений. С своей стороны Иван Иванович сообщал мне невыгодные отзывы о моем женихе. Между тем явился новый претендент, граф Брюль, которому покровительствовал великий князь (Павел Петрович (1754–1801), император Павел I с 1796 г. – *Прим. ред.*). Он был приятный молодой человек; я видала его в Смольном, при дворе, у графини Салтыковой, где мы вместе занимались музыкою. Он пел и играл на мандолине. Этого человека я могла бы сердечно любить, не будь я предупреждена, что девушка должна беречь свое сердце для человека, который за нее посватается. Я не могла понять намерений графа, приписывая его внимание ко мне обыкновенной светской любезности, которою я была окружена. Распускали слухи о скорой его тайной женитьбе на одной из бывших воспитанниц Смольного. Я верила этим слухам, не смея вдумываться в слышанное, тем менее расспрашивать его самого. Обратись он с предложением прямо ко мне, дело бы вышло иначе; но мне не разъяснили его чувств, а вмешательство великого князя, вследствие некоторых обстоятельств, казалось мне подозрительным. Видя, что борьба ему не под силу, Иван Иванович выдумал хитрость, вследствие которой я почувствовала отвращение к ухаживанию графа и к участию великого князя. Он представил мне дерзость их намерений. Я пришла в негодование, отказала наотрез и не велела мне поминать об этом. Великий князь, заметивший мое расположение к графу, которого он очень любил, весьма удивлен

был моим отказом, причиной которого я выставляла слухи о скорой женитьбе графа; но, так как это были лишь сплетни, великий князь не терял надежды победить мое упрямство и всеми силами старался об этом. Настойчивость его еще более убеждала меня в истине всего слышанного о нем. Иван Иванович решился во что бы то ни стало прекратить эти преследования. Призвав на помощь всю свою хитрость, он стал уверять меня, что его обманули в отзывах о Ржевском, что, собрав более точные сведения, он нашел эту партию выгодною, и что мне следует дать свое согласие, но никому не говорить об этом, кроме императрицы. Как сказано, так и сделано. Великий князь не унывал. Он открыто противился этому замужеству, дружески советовал мне иметь доверие к нему в том, что касается моего счастия, и говорил, что придет время, и он докажет мне искренность своих слов, обогатив человека, который пока не имеет состояния. Я была непоколебима в своем отказе и, признаюсь, вопреки своей склонности. Иван Иванович над всем восторжествовал. Надо знать, что делал он в это время. Отвлекая меня от человека, которого я бы охотно избрала, он запутывал меня в новые сети. Ему нельзя было унижать передо мной того, кого он только что восстановил в моем уважении, и потому он стал стараться возбуждать в нем виновность и ревность ко мне, заставлял его играть самую глупую роль, поощряя мои невинные ласки в его присутствии. Он выходил из терпения и готов был отказаться, если я не освобожу его от данного им обещания жить в одном доме с Бецким. Мне было тяжело огорчить старика, которому я считала себя обязанною посвятить всю жизнь. Я слегка противилась, а между тем серьезно размышляла о последствиях разрыва с Ржевским и о далеко не приятной зависимости от Ивана Ивановича, которая удерживала меня при дворе, откуда я рвалась. Иван Иванович не терял меня из виду и едва не достиг своей цели. Но мне на помощь явился князь Орлов, который начал следить за каждым шагом Бецкого и открыл мне все его происки. Заслужив мое доверие, он добился того, что я решилась вперед слепо не поддаваться человеку, искавшему ввести меня в заблуждение. С помощью двоюродной сестры князя Орлова (Имеется в виду Анна Степановна Протасова (1745–1826), камер-фрейлина, кавалерственная дама, с 1801 г. графиня. – *Прим. ред.*), жившей при дворе, я ближе познакомилась с Ржевским и понемногу привязалась к нему. Этого не ожидали. Я стала тверда и последовательна в своих действиях. Тогда Бецкий стал еще деятельнее и решился ввести меня в немилость при дворе великой княгини, выставив меня неблагодарною пред императрицей и пред женихом двуличною, а их всех представил

мне несправедливыми и достойными презрения. Я терпеть не могла придворную жизнь, желала распроститься с нею и выйти за Ржевского. Все это происходило весной перед отъездом в Царское Село, где Ржевский, с моего согласия, нашел помещение для себя, чтобы видаться со мной ежедневно. Императрица открыто покровительствовала моей свадьбе, хотя посредством преследований Бецкий вынуждал меня скрывать мое намерение и даже отложить свадьбу на два года. Будучи не в состоянии расстроить дело, он надеялся на время и на могущество интриги. И точно, в тот день, когда я укладывалась в дорогу, а Бецкий расхаживал взад и вперед, за мной прислала великая княгиня. Она встретила меня в слезах и объявила мне, что императрица приказала мне остаться в городе. Я просила великого князя постараться об отмене этого приказания. Он два раза ходил к императрице и объявил нам, что тут кроется какая-то тайна. Императрица не хотела высказаться, а лишь сказала ему, что не желает стеснять меня и, согласно моему желанию, позволяет мне подышать на свободе и отдохнуть от ревности его жены; прибавил, что напрасно я настаиваю, что он ничему этому не верит, зная мою правдивость и неспособность сочинить непростительную ложь. Великая княгиня сильно вспылила, я рассердилась и внезапно ушла. Бецкий ждал меня, все устроив по-своему. Он уверил меня, что сейчас вернулся от императрицы, которая сказала ему, что, по настоятельной просьбе великой княгини, оставляет меня в городе без ведома ее мужа, чтобы удалить меня от него. Мне рассказ показался правдоподобным. Императрица, желая семейного согласия, могла потакать капризам невестки. Но последней я не могла простить ее поведения в отношении ко мне, в случае, в котором она одна была виновата. Я не сдержала своего негодования. Вместо того чтобы успокоить меня, Бецкий приходил в ярость, говоря, что эта немилость окончательно испортит мою репутацию, о которой и без того ходят невыгодные слухи. Я клялась, что не хочу более оставаться при дворе, где служу яблоком раздора. Этого он только и ждал. Сейчас представил он мне самые привлекательные картины жизни посреди дружбы, под отцовским кровом; хотел тотчас же перевести свой дом на мое имя, окружить всеми лицами, к которым я была привязана в Смольном, выписать оркестр из Германии, инструменты из Англии, дать мне способ усовершенствоваться в музыке и живописи, задавать балы, играть комедии и т. д. Горесть моя сменилась радостию; я поддалась уму и благосклонности моего защитника. Ему необходимо было поддерживать во мне это настроение, поспешить исполнением своих намерений. Все бы было потеряно, если бы кто-либо открыл

мне истину. Он не дал мне даже проститься с Их Императорскими Высочествами и повез меня обедать к г-же Лафон. Ей он насказал, что хотел, и расположил в свою пользу, так что, обманутая подобно мне, она убеждала меня следовать впредь лишь советам Ивана Ивановича. Мне не пришлось побыть с нею наедине; я лишь заметила, что она была чем-то стеснена и беспокойна: будучи подвластна Бецкому, она считала себя обязанною во всем помогать ему; но грусть проглядывала на ее лице. Привыкши угадывать ее мысли, я поняла, что мне грозит опасность. Я была грустна и задумчива весь вечер, проведенный у Ивана Ивановича. Мне хотелось повидаться с женихом; послали пригласить его на следующий день, но он отказался под предлогом нездоровья. Тогда его начали бранить, представили его низким, подлым куртизаном (льстивым царедворцам. – *Прим. ред.*), которого влекла ко мне лишь выгода, и который покидал меня при кажущейся немилости. Я стала его защищать: такие неосновательные обвинения не согласовались с чистотой моего сердца и возвышенностию чувств; я с презрением отвергала их. Г-жа Рибас[14] – фурия, дьявол воплощенный, заклятый враг, отравила мое чистосердечие. Ядовито отзывалась она о дворе, о всем человечестве, о глупой слепоте моей в отношении ко злу. Я попала точно в ад, и впервые зло показалось мне возможным. Я считала ее самым злейшим существом, и в ее-то обществе мне пришлось бы провести всю жизнь. Я испытывала дотоле неведомую мне грусть, которой я вовсе не скрывала, и, не стесняясь, упрекала ее. По-видимому, она, стараясь помочь Бецкому, перешла границы. У нее были собственные планы: для нее необходимо было внушить мне отвращение к дому, в котором она была хозяйкою. Бецкий, испугавшись впечатления, сделанного на меня ее речами, присоединился ко мне, осыпая ее упреками. Чтобы развлечь меня, он повез меня кататься, и, как нарочно, мы встретили Ржевского, который сказывался больным. Старик подхватил этот случай и начал мне доказывать, что Рибас отчасти права, и в свою очередь описывал Ржевского самыми черными красками.

Грусть овладела мной, но гордость оживила мою потрясенную душу. Проезжая мимо Ржевского, я приметила знак радости, обещавший мне разъяснение всего. Возвратясь во дворец в сопровождении сестры, я получила через горничную записку от Ржевского, который просил у меня свидания втайне от старика, имея сообщить мне нечто весьма важное. И точно, в присутствии сестры моей он разоблачил передо мной тайны, которыми меня окружали, чтобы поставить непреодолимые преграды между нами. Он признался, что сам был обманут, подозревая, что я

изменила ему, и всячески старался добиться истины; передал мне, что императрица сказала князю Орлову, что Бецкий весь день не давал ей покою, от моего имени прося ее оставить меня в городе для приготовления приданого. С моей стороны я рассказала ему, как произошло все вышеописанное. Все разъяснилось, и объяснение это привело к желанной развязке.

Алексей Андреевич Ржевский (1737—1804) – действительный тайный советник, сенатор, вицедиректор Петербургской Академии Наук, президент Медицинской Коллегии, масон; поэт.

Г. Державин посвятил супругам Ржевским одну из своих од – «Счастливое семейство»:

В дому его нет ссор, разврата,
Но мир, покой и тишина:
Как маслина плодом богата
Красой и нравами жена (…)
Как розы, кисти винограда
Румянцем веселят своим,
Его благословенны чада
Так милы вкруг трапезы с ним.

Будучи уверена в чувствах Ржевского, я все простила Ивану Ивановичу и, чтобы не сконфузить его окончательно, скрыла от него, как известны мне были все его проделки. Он же до конца продолжал свои интриги; но, совершенно проиграв дело, так как хитрость его была обнаружена, он должен был охотно согласиться на наш брак. Из уважения я подчинялась его власти. Как отец, он необходим был для моего счастия, единственное же его желание было сделаться моим мужем. Я начала примирением с великой княгиней, которая считала себя обиженной моим обращением с нею при таких обстоятельствах, в которых она не была нисколько виновата. Я написала ей без ведома своего опекуна. Мы объяснились, и прошлое было забыто. Я вернулась ко двору, где все принимали живое участие в моем замужестве. Все нас восхваляли, порицая моего гонителя и уговаривая меня скорее окончить дело, чтобы избавиться новых преследований. Императрица ожидала лишь моего решения, готовая нас благословить; но я в этом случае не хотела обойти старика, заменявшего мне отца, желая получить высочайшее разрешение по его ходатайству. Он совсем потерялся и полагал, что, отсрочивая доложить об этом императрице, он в состоянии будет расстроить дело. Он употребил все свое влияние на меня: соблазнительные обещания, горесть его и отчаяние, которого я не могла выносить. Ласки его сменялись угрозами. Наконец он заставил г-жу Лафон написать письмо, исполненное упреков, в котором она мне доказывала, что я буду самая неблагодарная девушка, если откажусь выйти за Бецкого. Напрасно уверяла я Ивана Ивановича, что все это ни к чему не ведет, что я люблю Ржевского. Он по-своему объяснял вещи, полагая, что я должна отказать Ржевскому, потому что я привязалась к нему лишь вследствие его собственных стараний об этом, и что он мог требовать от меня изменения решения моего. Легко было опровергнуть эти софизмы, тем более, что я вследствие им же

данных уроков привыкла думать и рассуждать. Он приставал ко мне и мучил меня с утра до вечера. Его проделки лишь ускорили развязку дела. Я устала от страдания и объявила, что, ежели он будет продолжать мучить меня, я обойдусь и без его вмешательства в деле, в котором он играет роль вследствие моей же собственной воли. Ему пришлось покончить. Тогда он вывел на сцену давно забытое условие, а именно: обещание поселиться у него в доме, которое прежде пугало Ржевского, и на которое он рассчитывал, чтобы расстроить свадьбу. Он унижался до мольбы передо мной, представляя необходимым для нашей репутации, чтобы мы хотя на несколько месяцев поселились в доме, который он устроил для нас. Я окончательно уговорила Ржевского согласиться. Тогда интриги прекратились, но Иван Иванович все-таки надеялся поколебать мою решимость и добиться моей руки с помощью своего настойчивого постоянства. Перед алтарем, будучи посаженым отцом, он представлял мне примеры замужеств, расходившихся во время самого обряда венчания, и подстрекал меня поступить таким же образом. Замужество мое положило конец всем спорам. С дочернею нежностию старалась я утешить Ивана Ивановича, но усилия мои были бесполезны: дружба не могла удовлетворить его страсти. Мое положение становилось невыносимым посреди любви мужа и дружбы Ивана Ивановича. Оба они считали себя обиженными мною и мучили меня. Удовлетворить их притязаниям не было возможности; надо было дать предпочтение одному из них. Бецкий старался поссорить меня с мужем, по-прежнему возбуждая его ревность и уверяя его, что он не может рассчитывать на исключительную привязанность ребенка, который ему, старику, изменил бессовестно. Мне он представлял ожидающее меня несчастие – жить с мужем при его подозрительном и вспыльчивом характере. Когда я упрекала его за все, что он насказывал обо мне мужу моему, он начинал ругать его, говоря, что он обращает в мрачную сторону его речи, убеждал меня не доверять человеку, неспособному оценить меня и который во зло употребил мое доверие. В поведении Ивана Ивановича я ясно видела намерение поссорить меня с мужем, отталкивая его от меня оскорблениями, и нежностию и обещаниями богатства завладеть мною. Он искал случая захватить меня в свои руки, не заботясь добиться на то моего согласия. Я вовремя остановила его. Доказав ему громадность его вины, предложив все способы примирения, я объявила ему, что я и муж более не должны оставаться в его доме; говорила, что от этого зависит его собственное спокойствие, и обещала во всю жизнь мою доказывать ему мою привязанность. Он и слышать не хотел об этом и, видя, что все

настояния бесполезны, поклялся отмстить мне. На другой день я уехала. Он заболел, и г-жа Рибас распустила слух, что я убила его. С этого времени я навещала его, когда он этого желал, а его влекло ко мне неугасавшее чувство. Сначала он попробовал очернить меня в общественном мнении с помощью г-жи Рибас, а также и в глазах императрицы, но поведение мое противоречило его словам. Впоследствии, поуспокоившись, он желал примириться со мною, но аргус (в древнегреческой мифологии многоглазый великан, у которого спали одновременно только два глаза, символ неусыпного наблюдения. – *Прим. ред.*) его противился этому. Он жаловался мне на обхождение с ним г-жи Рибас, тайно посылал ко мне своего доверенного камердинера, умоляя о помощи и прося оградить его от преследований г-жи Р[ибас], которую он уже не в силах был унять. Я приезжала и находила дверь запертою для меня: его уверяли, что меня нет в Петербурге. В эту пору он ослеп и почти терял рассудок. Прежде он мне говорил о своих распоряжениях, которые желал привести в исполнение перед смертию, но его заставили изменить их. Это меня ничуть не заботило, но мне больно было видеть его в зависимости от самого неблагодарного создания, между тем как я не могла за ним ухаживать. Даже в последние дни его жизни меня не было при нем.

И.И. Бецкий мог мне сделать много добра, а между тем, имея самые благие намерения, он принес мне много вреда. Никто в мире не любил меня так сильно и с таким постоянством. Он мог сделаться моим мужем, служить мне отцом, благодетелем; но, по собственной вине не достигнув своих целей, он стал играть роль моего преследователя. Будучи предметом моей первой привязанности, он мог легко жениться на мне, без огласки, послужившей лишь к его стыду. Можно отчасти извинить скрытность и лукавство в свете, потому что они необходимы для преодоления встречаемых препятствий к достижению цели. Честолюбие и другие страсти, нуждаясь в некоторого рода оправдании, скрываются под благовидными предлогами; но чувства сердечные не имеют надобности в притворстве. Оба мы были свободны; отчета нам некому было отдавать; я была покорна и привязана к нему, он мог прямым путем достигнуть цели. К чему было стараться уверить свет, что страсть была с моей стороны, а он женится на мне из желания осчастливить меня? Вот чего он добивался и почему принужден был прибегать к хитрости.

Об отношениях моих ко двору

При дворе и речи не бывает о глубоких и прочных чувствах; тут все поверхностно и подчиняется условным законам, которые беспрестанно изменяются; тут за свои личные качества столько же можно отвечать, сколько за царскую милость и за отличия, ею доставляемые.

Я говорила, с каким отвращением поступила я ко двору; расскажу теперь, как тяжело мне было пробыть при нем около года. Потому странными могут показаться сношения мои со двором, продолжавшиеся 26 лет и прекращенные вследствие немилости, ничем не заслуженной. Рассмотрим обстоятельства дела, лично меня касавшегося, но о котором до сих пор мне не пришлось серьезно подумать; зато праздные умы находили в нем пищу. Пора и мне поговорить об этом и доказать, что не все то золото, что блестит.

Не все тщеславны, суетны и низкопоклонны. Я имею счастие принадлежать к исключениям этого рода. Имея некоторую гордость душевную, я не поддавалась превратностям судьбы и посреди рабства сохраняла независимость, хотя и носила цепи, им налагаемые, но только до тех пор, пока положение это могло быть полезно детям моим; когда же они перестали в нем нуждаться, я покинула двор.

Посмотрим, насколько каждый способен быть судьею в своем деле; буду рассуждать по-своему. У меня всегда был свой образ мыслей, хотя я не отвергала чужого мнения, когда признавала его разумнее своего. Выскажу всю правду. Пожалуй, рассказ мой покажется длинным, но все же может принести пользу неопытному.

Скажу лишь несколько слов об императрице Екатерине II. Она была великодушна и добра. В моем детстве она облагодетельствовала меня, дав мне прекрасное образование. Впоследствии она заботилась о моей судьбе, взяла меня ко двору[15], где защищала от интриг, которыми я была окружена. Обращение ее со мной было дружески-ласковое и внушающее почтение. Как нежная и снисходительная мать, она поощряла меня в развитии моих способностей, выставляла мое чистосердечие и ту долю природного ума, которым наградила меня природа, помогая мне и поддерживая меня в весьма трудном моем положении. Со времени моего замужества ей старались представить подозрительными мои сношения со двором великой княгини, но она не обращала на это внимания и при всяком удобном случае выражала мне свое благоволение. Вообще, трудно перечислить, сколько я ей обязана. Всею моею любовию и почтением не могу я заплатить за ее благодеяния.

Хочу рассказать одно обстоятельство, случившееся задолго до

всего рассказанного; оно доказывает, что нельзя миновать своей участи.

Еще в бытность мою в Смольном Наталья Алексеевна, первая супруга великого князя, очень полюбила меня и всячески доказывала мне свою дружбу. По два и по три раза в неделю приезжала она в монастырь и проводила со мной по нескольку часов. Мы разговаривали и занимались музыкой. Она обещала взять меня к себе по окончании курса в качестве друга, выпросив согласие у императрицы. Когда я была нездорова, она навещала меня. В последнее время своей беременности, будучи не в состоянии приехать в монастырь, она прислала ко мне графа Разумовского[16], которому поручила передать все цветы и конфеты в доказательство, что она не забывает обо мне. Незадолго перед смертию, лежа в постели, она написала мне записку и прислала записку с графом Разумовским по случаю раздачи наград перед нашим выпуском из Смольного[17]. К несчастию, я затеряла эту записку, но у меня хранится письмо ее, писанное из Москвы и переданное мне братом ее принцем Дармштадтским[18]. Мне более не суждено было увидать ее, но место, которое она мне назначила, заняла я при той, которая заменила ее. Великий князь, обожавший ее, разделял ее предпочтение ко мне. С этой поры началось расположение его ко мне, бывшее причиной стольких неприятностей. Она была очень умна, любезна, приятна, вот все, что я могу сказать о ней. Я любила ее, жалела о ней и искренно оплакивала ее кончину.

Вскоре великий князь уехал в Берлин, чтобы увидеть принцессу, которую ему назначили в супруги (речь идет о принцессе Софии-Доротее-Августе Виртембергской (1759–1828), в православном крещении Марии Федоровне, второй жене (с сентября 1776 г.) великого князя Павла Петровича. – *Прим. ред.*). Получив ее согласие, поспешили послать к ней навстречу лиц, назначенных для ее придворного штата, в числе которых была я. Мы встретились с великим князем за Митавою. Это было мое первое свидание с ним после его горестной потери. Я не могла удержать слез; он был тронут, хвалил мне свою невесту, был любезен и уехал. В Мемеле представили нас будущей великой княгине. Меня поразили ее красота, молодость и простота в обращении. Когда дошла до меня очередь, она, с улыбкой обращаясь ко мне, сказала, что великий князь особенно хвалил меня. Всю дорогу она оказывала мне предпочтение; как казалось, она была предубеждена против супруги фельдмаршала Румянцева[19] и почти не обращала на нее внимания. По приезде в Петербург и до самой свадьбы происходили представления ко двору, давались праздники, балы, и мне почти не приходилось

видеть великую княгиню наедине. Это было самое приятное время в моей придворной жизни. Впоследствии меня назначили компаньонкой к великой княгине: я должна была читать ей вслух, присутствовать при уроках, которые она брала, сопровождать ее всюду, ко двору императрицы, в концерты, на балы, в собрания, в церковь, на прогулки и т. д. У меня не было свободной минуты. Я отдыхала только во время своего туалета или в те дни, когда под предлогом нездоровья обедала у себя в комнате или оставалась дома, чтобы только избавиться от докучливых выездов.

Одно время великая княгиня была расположена ко мне, но это продолжалось недолго. Она постепенно стала охладевать, стала сдержанна, потом начала холодно обращаться со мной. К великому удивлению моему, я узнала, что ревность была причиной этой перемены. Мне твердили это со всех сторон. Но я знала, что не за что было упрекнуть меня, что, напротив, любезность моя доходила до того, что я жертвовала свободными минутами, стесняя себя, и потому нетерпеливо выносила нападки великой княгини. Когда же мне объяснили, в чем дело, неудовольствие мое сменилось состраданием; я стала к ней еще внимательнее и разуверила ее на мой счет, но к мужу она оставалась по-прежнему недоверчивою, передавала мне свои горести, сомнения, и мне редко удавалось успокоить ее. Сначала она необдуманно поддалась обидным для меня подозрениям, жаловалась первому встречному и обращала общее внимание на мое поведение, которое объясняла по-своему. Но все это послужило в мою пользу, выказав мою невинность… Видно, что она мало заслуживала мою любовь, но по свойственной мне чувствительности я извиняла ее заблуждения и оказывала ей более уважения и признательности, нежели мужу ее, которого я имела основание любить и уважать. Всегда любезный и почтительный, он старался самою нежною внимательностию вознаградить меня за неприятности, которые мне приходилось переносить из-за него. Чтобы не подтвердить ложных слухов, он не изменял своего обращения со мною. На него обижались, а он в присутствии жены и всех вообще только мною и занимался и был любезен донельзя. Когда я его предостерегала, он отвечал, что ему надоели все сплетни, что он знать их не хочет, и по-прежнему был ко мне внимателен. Это продолжалось до моего замужества. Я надеялась, что свадьба моя положит конец этому ухаживанию. Ничуть не бывало: оно еще усилилось. Великая княгиня присоединилась к мужу; оба упрашивали меня принять участие во всех их удовольствиях. Между нами завязалась дружба, продолжавшаяся десять лет. Мне нужно было съездить в Москву. Во время моего отсутствия великий князь привязался к

Нелидовой[20]. Но прежде чем говорить об этом, посмотрим, что могло быть для меня привлекательного в дружбе, отнимавшей у меня время, которое я могла бы проводить в семейном кругу, и имевшей в глазах света вид необыкновенной милости. Великий князь искренно любил меня и старался быть полезным всем моим близким. Доверие его было безгранично, равно и постоянство в дружбе. Он смотрел на нас с мужем как на своих верных друзей. Сознавая, что мы жертвовали своими выгодами ради его, он был вполне благодарен.

Великая княгиня старалась превзойти мужа в любезности к нам, но, так как она действовала неискренно, у не выходили противоречия на каждом шагу. Ревность в ней боролась с уважением, которого я заслуживала. Своим обхождением она даже теряла право на благодарность с моей стороны… На то, что Их Высочества езжали к нам, смотрели недоброжелательно. Живя весьма скромно, мы не могли доставить им ни малейшего развлечения. Имея возможность постоянно видеть нас у себя, они непременно хотели бывать у нас в доме: приезжали то завтракать, то обедать. Все это возбуждало толки. Дружба наша была самого невинного свойства. Между тем милость эта обходилась мне весьма дорого, причиняя мне много неприятностей. До сих пор великая княгиня действовала лишь из подражания мужу. Но великий князь не упускал случая доказать нам свое уважение. Не любя шумных удовольствий, он искал общества близких ему людей и в беседе с ними был откровенен и доверчив. Я замечала в нем лишь хорошие свойства: чистоту намерений, прямоту, благородство души, великодушие, весьма приятный ум и особенную способность убеждать людей. Когда он хотел нравиться, нельзя было противиться его обаянию. Его некрасивая наружность и резкие манеры в обществе становились неприметными в дружеском кругу. В эту пору он был хорошим мужем, сыном и отцом. Необходимо было окружать его честными людьми; он легко поддавался влиянию лиц, искавших его доверия, и следовал их советам. Будучи доверчив по природе, он стал подозрительным вследствие обманов, которым подвергался. Что касается до меня, я всегда говорила ему правду. Он так привык верить мне, что, даже когда был мной недоволен, не переставал оказывать мне уважение. Не хвастаясь, могу сказать, что я удерживала его в пределах долга в отношении к его супруге, восхваляя ее достоинства. Не так действовала Нелидова, когда она попала в милость.

По возвращении моем из Москвы, где я провела два года, я нашла большие перемены в образе жизни Их Императорских Высочеств. Они принимали только особ, составляющих их

придворный штат. Великая княгиня тотчас приехала ко мне, но одна. Великого князя я встретила на бале; он обрадовался моему возвращению, упрекал за то, что я по-прежнему не навещаю их, был любезен во весь вечер и только со мною танцевал. Он говорил мне о своих домашних неприятностях, причиной которых была г-жа Бенкендорф[21], любимица его жены. Великая княгиня и ее наперсницы пришли в негодование и всячески старались выказать свое неудовольствие. Г-жа Бенкендорф начала осуждать мой наряд, который находила слишком небрежным. Я объясняла ей, что я только что с дороги, что вещи мои еще не получены и потому я всячески отговаривалась от бала. Она отошла, надувшись, и мне самой было неловко. Великий князь издали наблюдал за нами; лишь только она ушла, он подошел ко мне, пригласил меня на польский и настойчиво добивался узнать причину моего неудовольствия. Я сказала, что мне неловко быть в шляпе, когда все в нарядных чепцах, и хотела удалиться; но он не пустил меня, говоря, что я прекрасно одета, и что все завидуют моей красоте, в простом наряде в английском вкусе. Во весь вечер он не отходил от меня и прислуживал мне за ужином. С великою княгинею мне не было времени поздороваться. А великий князь приглашал одну меня, давая понять, что без меня не явится на праздник. Когда я ему заметила, что оказываемое мне предпочтение могут истолковать в дурную сторону, увеселения вдруг прекратились, и Их Императорские Высочества начали жить уединенно. До меня дошли слухи о частых размолвках, происходивших в их домашней жизни. Причиной этого была г-жа Нелидова, овладевшая умом великого князя. Весьма умная, она была отвратительно нехороша собою. Великий князь прежде не мог ее терпеть, считал ее страшно злою, и мне не раз приходилось защищать ее. Живя вдалеке от Двора, я не хотела верить этим сплетням. Мой заклятый враг г-жа Бенкендорф (у которой я не бывала, и которая не ездила ко мне) подтвердила мне верность всего слышанного мной. Она явилась ко мне с поручением передать мне обо всем, завербовать меня в приверженницы великой княгини и заставить противодействовать ее врагам. Я неспособна была к интригам и со свойственной мне прямотой искренно пожалела о великой княгине, обещая быть ей преданнее, чем когда-либо. Любя великого князя, я сначала не хотела мешаться в это дело. Однако я поговорила откровенно с г-жой Нелидовой, высказав ей свой образ мыслей. Она нисколько не рассердилась на меня, а великий князь, с которым я встречалась лишь в обществе, продолжал оказывать мне величайшее внимание. Великая княгиня начала хвалить меня, сравнивая мое поведение с поведением Нелидовой. Восхваляя

мою добродетель, она думала заслужить расположение мужа, но этим лишь восстановила его против себя, окончательно повредив мне без моего ведома. Во время моих последних родов она у меня назначала свидания г-же Бенкендорф, которую великий князь выслал из города, о чем я и не знала. Это дошло до сведения великого князя, и с этих пор он не переставал сердиться на меня. Однако, сделавшись императором, он не мстил мне, а ограничился лишь тем, что более не оказывал мне милости; но при всяком удобном случае выражал свое выгодное мнение о моем характере и изъявлял свое уважение ко мне. Со времени вступления его на престол мы стали реже видеться. Супруга его сделала фрейлиною дочь мою (дочь Ржевской – Мария Алексеевна, в замужестве Свистунова (? – 1866). – *Прим. ред.*) и пожаловала мне малый орден Св. Екатерины[22]. В обществе она отличала меня, в частной же жизни стала неприступною; а я, с своей стороны, не заискивала ее расположения.

Не желая уронить своего достоинства, я держалась в стороне. Возвращаясь с аудиенции, я встретила знаменитого Кутайсова[23]. Он радостно схватил мои руки, говоря: «Я надеюсь, что мы заживем по-прежнему». – «Как бы не так», – думала я про себя.

Так произошло наше первое свидание. Но надо отдать справедливость великой княгине. Сделавшись императрицею, она не только оказывала мне свое расположение, но и ходатайствовала перед супругом своим за мужа моего и за детей. Видно было ее желание вознаградить меня за все, что приходилось мне терпеть до той поры. Несмотря на это, она полагала нужным для сохранения достоинства своего высокого сана принимать меня стоя. Во все царствование она одинакова была в отношении ко мне. Но сама она не была счастлива. Каждый раз, когда она выражала мне свое расположение, император сердился. А когда он занимался мною, и императрица хотела принять участие в нашей беседе, он поворачивался и уходил.

Несмотря на недоброжелательство и козни завистников, обращение его со мною было иное, чем с другими. Все замечали, что он расположен был возвратить мне прежнюю милость, но я не желала этого и нехотя являлась ко двору, сопровождая дочь мою. После же ее замужества я перестала бывать при дворе.

По случаю этой свадьбы император был очень в духе, желал присутствовать при одевании невесты и велел сделать роскошные приготовления. Свадьба должна была происходить в Павловске. Фавориты императора, Кутайсов и княгиня Гагарина[24], были недовольны всем этим. Чтобы досадить мне, Кутайсов, бывший в должности обер-шталмейстера, замедлил прислать к нам в

Царское Село придворные экипажи. Зная, что император терпеть не может, чтобы опаздывали, мы сели в свои кареты и отправились, найдя придворные экипажи около дворца. Мы прибыли ко двору двумя часами позднее назначенного времени и нашли всех в тревоге. Императрица, будучи в отчаянии, всячески старалась скрыть от меня причину тревоги, а между тем все бегали, шептались, и туалет невесты не подвигался. Деликатность Императрицы в этом случае не изгладится из моей памяти. Дело было в том, что император приказал отрешить от должности моего мужа, жениха и его отца[25]. Тщетно старались умилостивить разгневанного императора. Ни император, ни императрица не присутствовали на свадьбе, и был отдан строгий приказ, чтобы никто не смел на ней присутствовать, кроме необходимых свидетелей. По прибытии в церковь не начинали службы, надеясь, что удастся укротить гнев императора. Я не ведала причины всей этой суматохи, думала лишь о решившейся участи моей дочери, молилась о ее счастии и ждала вместе с другими прибытия Их Величеств. Наконец вбежал запыхавшийся Нарышкин и объявил, что Их Императорские Величества не будут. Я, как бы проснувшись при этом известии, обратилась к нему, спрашивая, что все это значит. Он отвечал, что ему очень прискорбно, но что государь ужасно рассержен. Я сказала ему, что так как он отчасти виноват в этом, то должен немедленно объявить Императору о нашей невиновности. Потом я в первый раз в жизни заговорила с княгиней Гагариной, настойчиво требуя, чтобы она отправилась к императору и объявила ему, что я не выйду из церкви, если не будет им признана наша невиновность, что все это вредит репутации моей дочери, и что, наконец, сама я заслуживаю более уважения; словом, я высказала ей все, что было у меня на душе. Напрасно уверяла она меня, что не имеет свободного доступа к императору. На это я сказала ей, что в подобных только случаях свободный доступ ее к царю может принести ей честь, и что я знаю, что император всегда охотно выслушает истину. Наконец она решилась написать государю из церкви карандашом на клочке бумаги. Записку тотчас отправили; венчание не кончилось, когда прибыл Кутайсов, умоляя меня во имя Бога не выражать своего неудовольствия перед императором, который успокоился и приглашает меня со всем семейством к себе в кабинет: такой милости он никому доселе не оказывал. Он обошелся с нами как нельзя лучше, осыпал нас любезностями, и все мы остались весьма довольны его приемом.

Мария Алексеевна Свистунова, урожденная Ржевская (1778—1866) – фрейлина; дочь писателя А. А. Ржевского; мать декабриста П. Н. Свистунова

После этого происшествия я прекратила всякое сношение со двором. Там становилось небезопасно. До меня доходили слухи о бурях, происходивших при дворе, где громовые удары сыпались без различия на больших и на малых. Отдаление мое от двора не оградило меня от опалы. Муж мой со многими другими сенаторами, столь же пожилыми и честными, как он, без всякой вины отрешен был от должности[26]. Но ему назначили пенсион

за пятидесятилетнюю службу.

С шестнадцатилетним сыном моим Павлом[27] поступили недостойным образом. Прямо из маскарада его повезли в крепость, где он провел ночь в сыром и душном каземате из-за того только, что он в польском осмелился подойти близко к императору. Впрочем, не стану пересказывать дело в подробностях, потому что император старался вполне загладить этот поступок, как бы извиняясь в нем перед моим мужем. Он не знал сына моего и весьма сожалел об огорчении, которое причинил нам. Через четыре недели государя не стало. Последний раз я его видела за год до кончины.

Таким образом, зло, которое мне делал Павел I, всегда было необдуманно. Снисходительность его ко мне считаю за особую милость, потому что он никого не щадил. Но между тем ни один государь не может сравниться с ним в расточительности касательно наград. Он обогащал, а подчас и возводил в важные должности лиц, не имевших ни заслуг, ни особенных достоинств, являвшихся неизвестно откуда. При восшествии на престол он во все стороны раздавал громадные состояния, и не знаю, почему он обделил мою семью. Я имела немало прав на его милость. Это все сознавали, даже обогащенные им лица осуждали его несправедливость ко мне. Я никогда не искала его милостей, не желала их и не сокрушалась, будучи лишена их. Князь Безбородко[28] поместил мое имя в списке лиц, представленных к награде. Император вычеркнул его, и мне передали слова, сказанные им по этому поводу: «Она чересчур горда». Он заслуживает упрек с моей стороны. Император не обязан оказывать милости подданным, но должен быть к ним справедливым. А он был несправедлив по отношению к моему мужу в одном процессе с казною. Тяжба была давно окончена в нашу пользу, оставалось вознаградить нас за понесенный ущерб. Мы очень нуждались в вознаграждении, так как состояние наше было незначительно; кроме того, мы имели долги. Государь не хотел отвечать на многократные просьбы наши. Это был единственный случай, в котором я была огорчена его поведением, потому что мужу моему это было очень прискорбно. Вообще же я никогда не разбирала причин его поступков.

Мне было легче, чем кому-либо узнать двор, если б я желала изучить его. Но я говорила, что моим единственным желанием было избавиться от придворной жизни. Я пользовалась малейшим неудовольствием, чтобы удалиться, но меня постоянно вызывали обратно. Невольно сравнивала я свое положение с положением придворных вообще, которые, имея титулы, богатство, знатность, льнут ко двору, подвергая себя унижениям, лишь бы добиться

снисходительного взгляда монарха. Но меня удивляло, что моему положению при дворе приписывали какую-то прочность. Не будучи тщеславна, я оставалась чужда и радостям, и беспокойствам. Я как бы поставлена была выше всех почестей, пользуясь непрочным титулом друга. При дворе дружба – своего рода должность, требующая постоянного подчинения. Считая вас вполне вознагражденными отличием, которого вас удостаивают, вам отказывают в услугах, даже когда вы крайне в них нуждаетесь. Мне вменялось в обязанность быть всегда любезною. Оно нетрудно, когда все расположены признавать вас любезною: при дворе тех, кто пользуется милостию, восхваляют не по заслугам. Положение мое, заслуживая мне уважение и внимание, не приносило никаких существенных выгод, и потому у меня не было и завистников. Но мне в тягость было придворное рабство при любви моей к домашней жизни, и я более делала усилий, чтобы выйти из моего положения, нежели сколько было нужно для сохранения его, о чем я не заботилась. Всякий раз, возвращаясь домой из дворца, я позабывала обо всем, там происходившем, и лишь жалела о потерянном времени. Я оставалась всегда покойна. На поприще, где всякий подвигается ощупью, я с беспечностью отдавалась на волю судьбы. Среди развращения я сохранила чистоту нрава и всегда действовала прямо, никого не вооружая против себя. Все это истинная правда.

Перечисляя вкратце все происшествия царствования императора Павла, относящиеся ко мне лично, сделаю несколько общих замечаний, дающих повод к размышлениям. Во-первых, история г-жи Нелидовой потребовала бы целые томы, если бы описать ее подробно. Так как она происходила в моем отсутствии, расскажу лишь ее важные черты. Павел сблизился с Нелидовой, еще будучи великим князем, что было причиной изменений в домашней жизни его, не свидетельствующих в пользу Нелидовой. Произошла размолвка между супругами. Их явные ссоры повлияли на множество лиц как придворных, так и не принадлежащих ко двору. Могу основательно говорить обо всем происходившем в эту пору, будучи единственной поверенной великой княгини во время нерасположения к ней супруга ее, так как из всех ее друзей я одна отваживалась навещать ее по-прежнему, не подвергаясь личным оскорблениям, подобно другим ее друзьям. Зато при возвращении монаршей милости одну меня лишили вознаграждения за незаслуженную опалу.

При восшествии на престол императора Павла все милости оказывались через посредничество Нелидовой. Я обращалась к ней с просьбой за двух сестер моих, которым она оказала большие услуги, за что я ей благодарна. Вообще же она ко мне не

благоволила. Но что казалось странным для всех, это расположение императрицы к Нелидовой. Она доставляла ей все почести и отличия, зависящие исключительно от благоволения императрицы; это можно было приписать воле императора, но необъяснимо было то, что она сделала ее своим другом и защищала во время немилости, которой она вскоре подверглась, а по смерти государя она стала с ней неразлучна.

Упомяну о низости людской, от которой мне пришлось пострадать по смерти императрицы Екатерины.

Первой милостию Императора Павла при вступлении его на престол было пожалование во фрейлины дочери моей, из чего все заключили, что мне придется играть важную роль при дворе, вследствие чего в течение нескольких дней ко мне нахлынуло множество друзей, принимавших участие в моей судьбе. Будучи опытна, я не стала разделять их надежд. К счастию, я вскоре от них избавилась. Впоследствии я узнавала, не выходя из дому, кто в милости при дворе, и кто нет. Те, кому не везло, постоянно вертелись у меня в доме; чуть лишь судьба им улыбалась, они переставали ездить ко мне. Из этого я заключила, что меня не жалуют при дворе. О суета сует, до чего ты доводишь людей!

Я еще не упоминала о нашем юном императоре Александре I. Посвящаю ему особую главу в моих воспоминаниях в знак моей признательности.

Он вырос на моих глазах и в детстве играл вместе с моими детьми. Во время отрочества его обстоятельства отвлекли меня от двора, и нам не суждено было сблизиться.

Когда вследствие изменений при дворе великого князя я стала реже посещать его, я видела великого князя Александра лишь вскользь. При жизни императрицы Екатерины мне не приходилось иметь сношений с молодым великим князем, и я не думала в ту пору, что впоследствии он будет иметь влияние на мою участь.

Моему излюбленному, достойному и добродетельному старшему сыну Александру[29] пришлось поступить в Семеновский полк в ту пору, когда великий князь был назначен его шефом. Расположение в[еликого] князя к моему сыну отозвалось во всем семействе нашем. Он отличил его, удостоил своей дружбы, доверия, уважения и начал оказывать мне самое лестное внимание как матери своего любимца. Мы оба, сын мой и я, были от него в восторге.

Встречаясь со мной, он постоянно говорил мне об Александре, не мог нахвалиться им. Слова его радовали меня более, чем некогда дружба его августейших родителей. Он окончательно очаровал меня своим поведением во время

несчастия, случившегося с моим вторым сыном. Оно предсказывало, что подданные найдут в нем нежного отца. Сочувствие к нашим страданиям служило залогом для счастия наших детей в будущем. Из тысячи случаев приведу один, ко мне относящийся и свидетельствующий о добром его сердце. Угадав нашу горесть при арестовании сына моего Павла и не осмеливаясь открыто действовать, он дождался времени, когда император заснул и отправил к нам в первом часу ночи князя Петра Михайловича Волконского[30] и г-на Федора Петровича Уварова[31] утешать нас, обещая на следующий день всячески ходатайствовать за сына нашего. Он сдержал свое слово. Впоследствии я узнала, что, заступаясь за несчастных жертв произвола, он подвергал самого себя отцовскому гневу. Вовек не забуду, как он порадовал нас своим участием.

По смерти мужа моего император назначил мне 4000 рублей пенсии и соизволил пожаловать мне 63000 на уплату долгов. Кроме того, он исполнил мою просьбу об одном бедном семействе и вывел его из бедственного положения, также оказал помощь и другому семейству.

По мнению вдовствующей императрицы, я была виновата перед ней в том, что, не посоветовавшись с нею насчет моего замужества (речь идет о втором браке Г.И. Ржевской, с савойцем Ипполитом Петровичем (по другим источникам – Ивановичем) Маскле, переводчиком басен Хемницера и Крылова на французский язык, камергером. – *Прим. ред.*), обратилась прямо к императору. Она еще более рассердилась, узнав, что император удостоил меня своим посещением. Я вовсе этого не добивалась, а случилось это вот каким образом. Я просила аудиенции у императора через графа Толстого (вероятно, имеется в виду Николай Александрович Толстой (1761–1816), обер-гофмаршал. – *Прим. ред.*). Последний вернулся через полчаса и объявил мне, что император просит позволения приехать ко мне. Я приняла его, внутренне недовольная оказанною мне честью, предвидя гнев вдовствующей императрицы. Когда я ему изложила все причины принятого мною решения, вот в каких выражениях он мне отвечал: «Никто не вправе разбирать, сообразуется ли такое замужество с вашими летами и положением в свете. Вы имеете полное право располагать собою и, по-моему, прекрасно делаете, стараясь освятить таинством брака чувство, не воспрещаемое ни религией, ни законом чести. Так должно всегда поступать, если это только возможно. Я понимаю, что одиночество вам в тягость; дети, будучи на службе, не могут оказывать вам должного ухода. Вам нужен друг. По уважению, которое вы внушаете, в достоинстве вашего выбора нельзя сомневаться». Единственным

его вопросом было, предупредила ли я детей моих и его мать о принятом мною решении. Я отвечала, что предупредила детей моих, а касательно вдовствующей императрицы намекнула, что не миновать мне грозы, когда до нее дойдет о том слух; сказала, что равно и со стороны света ожидаю осуждений, и прибавила, что в поведении моем я обязана отдать отчет Богу да моему государю, которым я облагодетельствована, что, получив его одобрение, я смело могу надеяться на его покровительство, буде окажется в нем нужда…

Анна Владимировна Стерлигова *(1839–1879)*

Стерлигова Анна Владимировна (урожд. Дубровина; 1839 – не ранее 1878) – биографических сведений, кроме содержащихся в тексте «Воспоминаний», разыскать не удалось.

Воспоминания
Избранные главы

Счастливые годы, проведенные мной в институте, не изгладятся никогда из моей памяти, и воспоминания о них заставляют горячо биться мое старое сердце и со слезами благодарности и признательности благоговеть перед теми высокими и светлыми личностями, которые не оставляли нас своими милостями и неусыпными заботами о нашем воспитании и благосостоянии. 25 июня 1898 года будет сто лет, как покойная императрица Мария Феодоровна основала в Петербурге Екатерининский институт[32], отдав под него здание, ей принадлежавшее, Итальянский дворец[33]: так передавала нам классная дама Марья Григорьевна Аралова, которая хорошо помнила нашу высокую благотворительницу, в маленьком классе, во время ее посещений, носила за ней скамеечку и туфли и часто рассказывала нам много случаев и происшествий из прежней институтской жизни. Некоторые сохранились у меня в памяти, некоторые даже были записаны мною; но, к сожалению, мой ежедневный журнал, начатый со вступления в институт, т. е. с августа 1850 года, не весь сохранился. Покажется странным, что я с ранних лет начала думать, рассуждать и как бы расценивать людей; но горе обыкновенно и детям, и молодежи приносит опытность и развивает их ранее, чем счастливая жизнь; а у меня было много горя. Поэтому я должна объяснить причину моего замкнутого характера. Я не любила ни танцев, ни музыки, но обожала, как говорят институтки, чтение.

Я родилась в богатой семье. Отец мой В.И. Дубровин[34] имел полторы тысячи душ крестьян в Калужской губернии Масальского уезда и более десяти тысяч десятин земли, был человеком образованным и умным. Он был потомственный дворянин Псковской губернии и остался сиротою семи лет. Опекун его генерал Сергей Васильевич Непейцын[35], родственник его по его матери Анне Степановне Азанчевской, отдал его и трех старших его братьев в корпус, а единственную сестру в Смольный институт. Отец мой был недоволен воспитанием сестры и говорил, что никогда ни одну из своих дочерей не поместит в институт; но вышло иначе. Достигнув совершеннолетия, отец продал свою часть братьям, а сам сперва купил в Брянском уезде село Чернетево, продал его княгине Солнцевой и вскоре купил семнадцать деревень у графа Орлова и Новосильцовой[36]. С покупкою этого проклятого имения и начались наши бедствия.

Деревни были куплены через поверенного и главного управляющего графа Орлова и Новосильцовой – Щеткина. Отцу чрезвычайно хотелось купить еще село Пятницкое, принадлежавшее им же; но, несмотря на значительную прибавку, Щеткин отказал в продаже, объясняя нежеланием своих доверителей продать старинную родовую усадьбу, где действительно были дом, сад и постройки. Не подозревая обмана, отец в 1839 году совершил купчую в Московской гражданской палате, затем поехал в купленное имение, выбрал место под усадьбу и приступил к постройкам и разным улучшениям, назвав сельцо Владимирским. Сначала он начал строить церковь на свой счет в одном из приходов (их было три: Пятницкое, Снопот и Любунь) Снопоте, во имя Святителя Николая, с двумя приделами Иверской Божией Матери и Св. Сергия, взамен пришедшей в совершенную ветхость старой. Потом он начал строить дом, хозяйственные флигеля, больницу, училище для крестьян и другие постройки, выписал лошадей, скот, начал рыть пруды, канавы, разводить сады и сажать кругом усадьбы рощи, так что в скором времени в центре владений появилась прелестная барская усадьба, которой так много восхищались в старину в Калужской губернии (теперь же все или большая часть этих построек представляют развалины, а роскошные здания переделаны на фабрики и другие заведения вроде хлевов для скота или амбаров для ссыпки хлеба). В хозяйстве отцу помогал управляющий англичанин, не говоривший по-русски, но взятый отцом потому, что он был и доктор, устроивший больницу и аптеку и избравший двух мальчиков, будущих фельдшеров (один из них после освобождения крестьян, Пантелей, поступил в аптеку в монастырь Преподобного Сергия под Москвою, где и постригся). Переводчиком в сношениях с людьми этого управляющего в отсутствие отца была наша гувернантка, кроме которой у нас жили: учитель музыки на скрипке и фортепиано, Шпревич, и кончивший курс университета Иван Андреевич, учивший нас русским предметам и мальчиков-крестьян в школе. В помощь управляющему из всей вотчины отец выбрал бурмистра Филата и семнадцать старост, из каждой деревни по одному, которые приезжали ежедневно за приказаниями и делать наряды на работу, т. е. назначать, какие работы производить и каких и сколько назначать в усадьбу сторожей (возле риг, больницы и проч.). Отец часто наведывался и в школу, и в больницу, смотрел за хозяйством и делал в нем усовершенствования, не забывая следить и за воспитанием детей. Таким образом, отец наш зажил богатою жизнью прежнего русского помещика, а освящение церкви сблизило его со многими соседями, так что многие

желали его выбрать предводителем, что и породило вражду между ним и бывшим предводителем С. (скорее всего, речь идет об исполняющем обязанности предводителя дворянства Калужской губернии в 1846–1847 гг. титулярном советнике Константине Ивановиче Сорохтине. – *Прим. ред.*), который подговорил временное отделение (состоявшее в то время из предводителя, судьи и исправника), ссылаясь на соблюдение выгод казны, сделать опись всему имению за неплатеж казне 800 тысяч и назначить опекуна. Кто ему открыл существование запрещения, Бог весть! По предъявлении документов отец был сильно поражен этим известием. Если бы он был опытнее и менее честен, то мог бы откупиться крупною взяткой и отдалил бы на неопределенное время взятие в опеку имения; но, убежденный в правоте своего дела, отец предпочел вести дело с продавцами. Ни ум, ни энергия отца не спасли его в борьбе неравной, стоившей ему жизни.

Дело оказалось вот в чем. Крестьянин графа Орлова Марин, делая поставку провианта на армию в казну за поручительством своего помещика (иначе не могло быть по законам того времени) оказался несостоятельным, и в 1817 году было наложено запрещение на имение графа Орлова, село Пятницкое с деревнями, количество которых было написано, но названия не поименованы, конечно, в угоду знаменитому владельцу. Из числа этих деревень семнадцать – Арефино, Речицы, Кислое, Косая, Приветка, Ломакино, Стаи, Загрязная, Ивановка, Яблоново, Ясеная, Митино, Шевцы, Карпово, Ползы, Козловка и Пригорье – купил мой отец; несколько деревень купил граф Федор Федорович Келлер и сколько-то управляющий Нарышкиных Багряновский (имение было огромное). Теперь отцу стало ясно, почему так упорно отказывался Щеткин от продажи села Пятницкого.

Положив кроме трехсот тысяч, заплаченных за имение, многие деньги на постройку церкви, устройство усадьбы и пр. и надеясь выиграть процесс, справедливость которого была столь очевидна, отец протестовал против наложения запрещения, обошелся сухо с приезжавшим судебным персоналом и, не принимая назначенного опекуна, отправился немедленно в Петербург искать защиты в правоте своего дела у покойного императора Николая Павловича.

С собою он взял второго сына для окончательной подготовки его у Неймана, откуда старший сын уже поступил в Школу кавалерийских юнкеров и гвардейских подпрапорщиков[37]. Дома остались с матерью четыре девочки и брат. Все учителя, гувернантка, бонна остались при нас, также и доктор Бауцен,

который получал по тому времени большое жалованье (2 тысячи рублей кроме содержания), и его сын Виктор, наш общий любимец, учившийся с нами (с этим условием старик и выехал из Петербурга).

Московскую гражданскую палату отдали под суд; в низших инстанциях дело кончилось в нашу пользу, но когда перешло в гостеприимный Сенат, его положили под сукно, и оно лежало без движения, несмотря на энергические хлопоты отца. Грозою всех был в то время известный граф Алексей Федорович Орлов[38], и когда отец обращался к кому-нибудь, от кого зависело рассмотреть дело, то те лица дивились его дерзости, иногда молчали, а подчас отходили от него с ужасом на лице, как от зачумленного, и нередко высказывали: «Какая дерзость! Вести процесс с подобными лицами, столь высоко стоящими; удивляемся, что вы еще не в Сибири». Говорили, что многих дерзких, перечивших шефу жандармов, отправляли без суда и следствия, по одному подозрению, по Владимирке. Действительно, какая противоположность: поручик Дубровин является истцом к графу Орлову и Новосильцовой?!

По домашнему распоряжению графа Григория Владимировича Орлова селом Пятницким с деревнями владела с 1813 года жена его графиня Анна Орлова. В 1817 году наложено запрещение на имение Орлова. Анна Орлова умерла 5 декабря 1824 года. Одна часть 22 сентября 1824 года уступлена Мятлевой[39], а остальное досталось графу Владимиру Орлову, который, скупив и мятлевскую часть, по смерти своей (30 января 1831 года), передал трем дочерям: 1) Новосильцовой, которая продала Елене Дубровиной в 1838 году, 2) гр. Паниной и 3) Давыдовой. Имение было ими продано Михаилу Федоровичу Орлову[40], который, в свою очередь, продал его в 1839 году Владимиру Дубровину.

«Вид Смольного института». Художник Карл Петрович Беггеров.

> Смольный институт благородных девиц СанктПетербурга – первое в России женское учебное заведение, положившее начало женскому образованию в стране.
>
> Институт первоначально назывался «Императорское воспитательное общество благородных девиц».
>
> Это общество, как говорилось в указе, было создано для того, чтобы «дать государству образованных женщин, хороших матерей, полезных членов семьи и общества»

Ответчиками по этому делу были Новосильцова и М.Ф. Орлов; последний ссылался на то, что его обманули: имение сбыто в чужие руки, чтобы тем запутать получение убытков потерпевшим, т. е. казне. Отец в числе многих прошений и напоминаний Сенату об окончании дела просил, наконец, одной милости: взыскать только с продавцов заплаченную за имение по купчей сумму, отказываясь от убытков и затраченных денег на устройство усадьбы, постройки и инвентарь. При личной подаче письменного прошения, подкрепляя словесно убедительною и унизительною просьбою не пустить по миру всю несчастную семью, получает он от высокостоящего лица следующий ответ: «Удивляюсь вашей дерзости вести дело с лицами, имеющими такую силу; как еще вы на свободе?! Вас давно следует засадить в крепость».

Воспитатель и опекун отца, генерал Сергей Васильевич Непейцын, и другие знатные родственники советовали бросить дело и обещали отцу дать хорошее место; то же говорил и генерал Скобелев[41], комендант крепости, приятель деда, у которого я его видела. Он был без руки, а дед без ноги[42]. Как сейчас помню дедушку, каким молодцом заезжал он к нам на квартиру в Петербурге из дворца, с бархатными черными костылями, и каким смешным стариком бывал дома, сидя в каком-то ватном халате. Мы его очень любили, потому что он присылал нам свою карету с лакеем в генеральской шинели на гулянья или в театр, но никогда не позволял ездить матери в ней по делу. Его и Алексея Павловича Болотова[43], Хрущовых[44] и других более важных родственников мы узнали позже; они все у нас бывали, жалели нас, но не только пальцем не шевельнули в нашу пользу, а еще громко осуждали самонадеянность отца, не пожелавшего прекратить дело и взять место где-нибудь подальше.

Доведенный до отчаяния, истратив последние деньги, несчастный отец решился на последнюю крайность: лично подать прошение государю. Но он не подозревал, что за ним был устроен надзор, что за ним постоянно следят, опасаясь, что он пойдет на отчаянный риск и подаст лично прошение, а всем были известны рыцарская правдивость и беспристрастие обожаемого императора. В июне месяце 1847 года отец отправился в Петергоф, где всем тогда была памятна любимая дорожка недалеко от Монплезира, по которой прохаживался очень часто император. Движимый отчаянием, отец решился броситься на колени перед ним и подать прошение, имея маленький луч надежды, что он, вручив ему всеподданнейшее прошение, испросит милости прочесть самому. Все его любившие не советовали рисковать собою, но он никого не послушался, сделал надлежащие распоряжения по своим делам, не сказал ничего сыновьям, прибыл на пароходе в Петергоф, в определенный час отправился к Монплезиру и начал поджидать императора, который приходил в восьмом, иногда в девятом часу утра и, сидя на скамейке, любовался на взморье. Долго ходил несчастный отец в нервном возбуждении. Волнуемый мыслями, разнообразно толпившимися в его мозгу, отец увидал шедшего к нему чиновника средних лет с Анною на шее, в штатском платье, который приподнял шляпу и спросил: «Скажите, правда ли, что государь часто гуляет в этом месте? Я из провинции. Я давно слежу за вашим хождением взад и вперед около этого места; сам имею надобность узнать, наверное ли сегодня придет государь, и по вашему нервному возбуждению полагаю, что вам это известно. Но нельзя же так наглядно выдавать себя! Отойдемте немного в

сторону, чтобы нас не заметили и не предложили покинуть это место». С таким сильным участием были сказаны эти слова, что отец поддался их искренности и отошел в сторону. Собеседник говорил, расспрашивал, давал советы и выказал в своих рассказах много ума, такта и знания придворных привычек и происшествий в высшем кругу. Отец, увлеченный им, старался не отдаляться от заветной дорожки, но его собеседник, как видно, прекрасно знал расположение сада и отвлек его в такое место, где и на близком расстоянии, но за деревьями, можно было не заметить приближающегося человека. Урочный час прогулки прошел, а государя нет. Тогда его собеседник, вежливо раскланявшись, сказал ему: «Вы сегодня прозевали государя, вам никогда не подать лично прошения Его Величеству. Неужели вы так наивны, что не можете сообразить, что за вами устроен полицейский надзор; вас удержат, если не хитростию, то силою».

По возвращении в Петербург отец рассказал об этом эпизоде своим друзьям и сослуживцам; сыновей же он не хотел волновать. Он с этого дня как-то осунулся, а на третий день слег в постель, чтобы больше не вставать. Сильный, энергичный тридцатисемилетний мужчина скончался в конце июня 1847 года (точная дата смерти В.И. Дубровина – 22 июня 1847 г. – *Прим. ред.*). В бреду он говорил о жандармах, о преследовании, призывал государя, который оставался ему одною надеждою на лучшее будущее. Друзья его передавали матери прямо, что жандармский чиновник категорически ему объявил решение своего шефа и сделал ему окончательное внушение, что он живой не увидит государя; другие заходили в своих предположениях дальше, утверждая, что отец был отравлен. Одно скажу, что когда покойная мать в 1848 году сама лично со своею старшею сестрою, в том же саду в Петергофе и на этом же месте подала прошение Императору Николаю, он, приняв его, передал сопутствующему его адъютанту; мать же с ее сестрою Болотовою попросили в какое-то помещение, а всесильный шеф жандармов Орлов позвал их в свою канцелярию и стал делать выговор, зачем беспокоить государя, когда дело в Сенате и кончится беспристрастно. Мать, убитая горем и не успевшая попросить государя прочесть самому прошение, даже не слушала, что говорил граф Орлов; но сестра ее остановила его следующими словами: «Довольно, граф; сколько бы дело ни тянулось в Сенате, вы не успеете нас всех уморить, как уморили покойного зятя». Слова эти поразили, как видно, всемогущего графа, а его подчиненные поспешили один за другим выйти. Конечно, и это прошение не было доложено покойному императору.

На погребении отца ни деда Непейцына, ни деда

Азанчевского, ни Хрущова (скорее всего, речь идет о Михаиле Николаевиче Хрущове (1786 —?), полковнике Смоленского полка, сыне Н.Я. Хрущова и П.П. Стахеевой. – *Прим. ред.*) не было; все уехали на лето из Петербурга. Только один товарищ отца майор Подрезов (без руки) и два сына: один кавалерийский подпрапорщик и другой воспитанник Неймана (живущий ныне со мною, контуженный в голову в Севастополе, бедный, сумасшедший) провожали отца на Волково кладбище (имеются в виду Николай и Иван Владимировичи Дубровины. – *Прим. ред.*). Незадолго до его смерти сосед по имению (граф Келлер), также потерпевший, но не начинавший дела с могущественными соперниками, дал отцу триста рублей серебром; на эти деньги его и хоронили. В то время телеграфов не было, да и на почту посылали мы за 80 верст, а потому известие о смерти отца пришло к нам только через месяц. Отца я не видала более двух лет; но отчаяние и слезы матери, сожаление и участие знакомых и это печальное и трогательное происшествие со всеми его последствиями, трауром, панихидами и причитаниями людей «бедные сироты», сильно подействовали на меня, восьмилетнюю девочку, и, не отдавая себе отчета, я чувствовала всю горечь людской неправды.

Конечно, горе наше было глубокое и поражающее; но нужно было все-таки прийти к какому-нибудь решению. После долгого обдумывания мать, подкрепляемая советами родных и знакомых, решила ехать в Петербург и продолжать хлопоты отца. Тяжело было расстаться со всеми удобствами привольной деревенской жизни, со множеством прислуги, с огромным домом, с прекрасным садом и парком: в несколько лет образовалась прелестная барская усадьба со многими постройками, окруженная со всех сторон большим сосновым лесом. Забрав нас (пять человек детей), гувернантку, которая жила у нас 10 лет без жалованья, двух горничных, повара и лакея, мать отправилась сначала проститься со своею матерью Болотовой[45] в Каширское имение и оставила там на хранение некоторые вещи, а все свое личное имущество (гардероб, ненужный ей по случаю траура, некоторые экипажи и мебель) продала и, набрав пять тысяч рублей серебром, кроме бриллиантов, серебра и мехов, двинулась в Петербург. Лошадей, скот и прочий инвентарь ей не позволили продать опекуны…

Только зимою мы прибыли в столицу в восьмиместном дилижансе Серапина[46], остановились в его гостинице и прожили у него до весны, пока нашли себе квартиру у майора Марковича, в Измайловском полку, где и прожили до самого отъезда. Семейство хозяина было многочисленное; он служил в

фельдъегерях, был прекрасной души человек, вдовец, любивший страстно своих детей (из числа которых трое были идиоты, потому что были напуганы во время пожара их дома, отчего и умерла их мать).

По приезде в Петербург мать с теткой Болотовой начали свои визиты по всем родным и знакомым, имеющим связи в высшем кругу. С удовольствием и радушием везде их встречали, всюду приглашали бывать; но, узнав причину их приезда в Петербург – процесс с графами Паниным и Орловым – очевидно менялись в своем обращении, так что мать, убитая горем, отказалась их посещать. Некоторые из родных указывали на высокопоставленных особ, которые за большую сумму могли довести до сведения императора все дело; но, посетив их, мать поняла, что не имела достаточно денег, чтобы подкупить людей, могущих обойти законный ход и доклад о деле. Противники имели явный перевес над нами: деньгами, связями, положением и родством.

В поисках и недоумении, что предпринять, изводимая постоянными приглашениями: «приходите еще раз, дело еще на рассмотрении у сенаторов», мать просила многих из них, но безуспешно; многие обещали, некоторые молчали, другие объявляли (посматривая на дверь, чтоб ее скорее выпроводить), что все по закону делается, и что скоро очередь и нашему делу к докладу, теперь же еще нет некоторых справок. Я забыла сказать, что, проезжая Москву, мать со всеми нами детьми поехала к митрополиту Филарету[47], который нас не принял. Мать с отцом была и раньше у него и просила ходатайствовать у графини Орловой[48] о примирении и удовлетворении нашего иска, но получила отказ на том основании, что он не входит в мирские дела; между тем графиня Орлова во всем слушала его, и дело бы прекратилось миром.

Время шло; жить в Петербурге стоило больших расходов, гувернантка нас не оставляла; следовало ей уделять хотя сколько-нибудь в счет жалованья (остальное она получила уже по окончании процесса). Старший брат кончал учение в гвардейской школе вторым учеником, и плата за него не вносилась, но генерал Сутгоф[49] даже не напоминал о плате; также бесплатно готовил и второго брата Нейман. С глубокою признательностью мать вспоминала этих добрых немцев и, получив имение, расплатилась с ними. В горе и отчаянии мать имела одну постоянную мысль, одно желание: выполнить намерение покойного отца, подать лично прошение, вполне уверенная, что если наше дело будет известно императору, то оно благоприятно для нас кончится, и все ее горести и страдания прекратятся. Все верили в

справедливость императора, и всем было известно величие души его; но прошение, поданное Его Величеству в Петергофе, было подменено, вероятно, другим и уничтожено, как и все то, чего не желали доводить до сведения императора.

Ни одно, самое малое добро не остается без награды; так случилось и с матерью. В один из самых неудачных и печальных дней приезжает к нам с страшным выговором, что мать не дала ей знать о своем приезде в Петербург, пожилая дама, в которой мать едва могла узнать Дунечку, бывшую бедную соседку бабушки (которая помогала всей ее семье), вышедшую замуж за придворного истопника (потом смотрителя), очень разбогатевшего. Это была Авдотья Петровна Прокофьева, уже успевшая овдоветь. К ней прибегали многие знатные особы, занимая деньги; поэтому она знала почти всех придворных и, перечисляя, кто мог быть полезен матери, она не переставала придумывать, как бы помочь нам. Она была простая, без всякого образования женщина, но умная и сердечная, многим говорила, просила, езжала с матерью к некоторым лицам; но все напрасно. Наконец как-то она приезжает довольная и сияющая и объявляет, что сумела уломать своего хорошего знакомого лейб-казака Надаржинского дозволить матери пробыть в его комнате и допустить подачу прошения наследнику-цесаревичу в нижнем коридоре Аничкова дворца. Они давно об этом мечтали. Всем известна была ангельская доброта Александра Николаевича[50], его желание утешить угнетенных и страждущих, и согласие лейб-казака помочь матери давало полную надежду, что наследник-цесаревич защитит притесняемых, прикажет не тянуть с окончанием процесса и по справедливости положить законное решение. Только на одной счастливой случайности и строила мать свою надежду; все ранее подаваемые прошения в Петергофе и в Царском Селе лежали в Комиссии прошений под сукном и никому не докладывались. Извещенная Прокофьевой мать с сестрою отправилась в Аничков дворец и стала на указанном месте в коридоре в ожидании Цесаревича, ехавшего кататься со своим адъютантом, и как только он поравнялся с ними, мать упала на колени и, протянув руку с прошением, не могла ничего выговорить от волнения и слез. «Отдайте адъютанту». – «Одной милости прошу, Ваше Императорское Высочество: прочтите сами». Не договорив, она упала в обморок. Наследник-цесаревич, со слезами на глазах, растроганный, обратился к тетке и сказал: «Успокойте ее; я все сделаю, что возможно и законно». Потом он велел подать немедленную помощь матери, перенести ее в дежурную комнату, а пакет с прошениями (мать вместе со своим вложила прошение императору Николаю I, запечатанное и

надписанное покойным отцом, которое ему не удалось лично подать в Петергофе) Александр Николаевич приказал положить на свой письменный стол и не распечатывать.

Этому прошло полстолетия, но я как сегодня вижу и слышу мать и тетку, как они рассказывают. Через несколько дней после подачи прошения в дом, где мы жили, является жандарм, который у хозяина дома Марковича спрашивает, где живет Дубровина. Наслушавшись ранее всех ужасов об Орлове, о тайной его канцелярии, мы, дети, попрятались от страху куда кто мог, уверенные, что и мать и нас всех увезут и засадят в крепость; но оказалось, что мать вызывали в назначенное время явиться в канцелярию наследника-цесаревича.

В то время гофмаршалом двора Его Императорского Высочества был В.Д. Олсуфьев[51], в высшей степени честная и правдивая личность, которую встречаешь только в истинно русском человеке. Редкий был этот человек по своей правдивости, человеколюбию и простоте, с какою он обращался к просителям; он смотрел с одинаковым участием на всех богатых и бедных, обращавшихся к нему с просьбами.

«Ну, матушка, – встретил Василий Дмитриевич этими словами мать, – Его Императорское Высочество прошения ваше и вашего мужа изволил прочесть сам, но еще императору не докладывал, а велел мне вызвать вас и узнать, не нужна ли вам денежная помощь, или не желаете ли устроить детей на казенный счет. Говорите без стеснения; о доброте и великом сердце цесаревича нечего повторять, это всем известно, а то неизвестно, когда кончится ваш процесс; дело сложное по многим причинам». – «Ваше превосходительство, прошу только возвратить нам заплаченные за имение триста тысяч и взять обратно имение в прежнее владение продавцов; об убытках я не упоминаю, Бог с ними! Я продала все, что имела, на содержание себя и семьи; доходов с имения не получаю, принуждена занимать. Все знают нас за людей богатых и вполне верят в правоту нашего дела, которое тянется десять лет, нас совсем разорило, мужа уморило, и я жду того же. Доведенная до крайности, прошу вашего ходатайства испросить у Его Императорского Величества заимообразно три тысячи. Детей на казенный счет отдавать не желаю; это будет грешно, имея полторы тысячи душ и более десяти тысяч десятин земли». – «Эх, матушка, отбросьте гордость и вглядитесь хорошенько: все богатые, имеющие связи, помещают своих детей на казенный счет; мой вам совет, пользуйтесь случаем поместить детей. Принесите мне их бумаги через неделю, а я доложу к этому времени Его Императорскому Высочеству. Он по своей доброте и

денег вам даст, и детей устроит по благоусмотрению. Прощайте».

Мать во всю свою жизнь не могла без сильного душевного волнения вспоминать об этом простом, истинно хорошем человеке; он оказал много благодеяний матери своими советами и указаниями и, оставляя мать посидеть у него в кабинете, сам уходил с докладом к наследнику-цесаревичу, чтоб не заставлять ее приезжать лишний раз. Благодаря его хлопотам приказано было калужскому губернатору Смирнову[52] выдавать матери с имения ежегодно три тысячи, а пока она получила заимообразно три тысячи из канцелярии цесаревича; неуплаченные же деньги за воспитание братьев были внесены из канцелярии Его Императорского Высочества, о чем сообщил матери Василий Дмитриевич и прибавил, что наконец императору Николаю о нашем деле докладывал сам цесаревич, что графа Орлова не принимали несколько времени, и что сына Николая наследник-цесаревич изволил заместить своим пансионером в гвардейскую школу, дочь Анну, т. е. меня, государь император назначил своей пансионеркой в Екатерининский петербургский институт, сына Ивана зачислили пансионером великого князя Константина[53] в Морской корпус, дочь Елену выбаллотировали в Смольный; остались неустроенными дочь Екатерина, шестнадцати лет, и самая младшая Любовь, шести лет.

Вот я неожиданно и поступила в институт. После личного доклада императору наследником-цесаревичем дело наше пошло в ход. Государь был поражен поступками своих приближенных; говорили, что он несколько времени не принимал графа Орлова, но привычка берет свое; Орлов был так любим императором, что даже наследник потому и мешкал с докладом, что боялся встретить недоверие в том, верны ли собранные сведения и документы по делу Дубровина. Орлов, конечно, подыскал оправдания; но покойный император Александр II не имел к нему доверия, так как, проследив все дело, убедился, что богатые и знатные наследники графа Владимира Орлова устроили незаконную продажу через своего поверенного и управляющего Щеткина; а ранее, во время их владения, они бездоимочно владели деревнями и пользовались доходами: тогда никто не смел напомнить о секвестре имения и о взятии его в казну. В низших инстанциях, повторяю, дело кончено было в нашу пользу; но Сенат молчал и не разбирал дела несколько лет, пока получил высочайшее повеление рассмотреть дело Дубровиных с Новосильцовой, Паниным и Давыдовым. После долгих пререканий Сенат пришел большинством голосов к следующему решению: возвратить имение Дубровиным, сняв запрещение, которое перенести на другие имения продавцов, предоставив

потерпевшим право искать убытки за неполучение всех доходов с имения в продолжение десяти лет. Только два сенатора, Васильчиков и Оржевский[54], возвысили голос в нашу защиту, не соглашаясь с общим решением и настаивая на том, чтобы теперь же назначить сумму убытков, что вдова с детьми, лишенная процессом всех средств к жизни, останется довольна, сколько ей ни назначать; но остальные сенаторы мотивировали свое решение неизвестностью и трудностью определить и вычислить сумму и под давлением угодливости и страха постановили прежнее решение. Говорили, что честные и правдивые сенаторы уклонились от подписи и более не присутствовали в Сенате.

Мать, чрезмерно обрадованная возвращением имения, и не помыслила хлопотать об убытках; являвшиеся поверенные требовали много денег для ведения процесса об убытках, да еще вперед, а денег совсем не было у матери, и потому она решила не начинать дела.

В 1849 году, вернувшись во Владимирское, мы нашли его совершенно разоренным. Постройки были запущены; все, что можно было увезти и присвоить, было украдено опекунами, которыми назначали самых бедных дворян, вполне уверенных, что никогда имение не будет нам возвращено. Не говоря о мелочах, поставлю на вид, что триста штук рогатого скота погибло от какой-то небывалой эпидемии, и когда стало известно, что этим воспользовался опекун Данилевский, который за это подвергался ссылке, то мать, сжалившись на просьбы его и многочисленной несчастной его семьи, простила ему. Исправив кое-что, как позволяли средства, и водворив дворню, распущенную или взятую опекунами к себе в услужение, мы начали мириться с мыслию жить не прежнею богатою жизнью, но понемногу устраиваться, и не знали, как благодарить Господа и молиться за заступничество и великую помощь наследника-цесаревича, по милости которого нам возвратили нашу собственность, считавшуюся всеми навсегда утраченною.

Здание Екатерининского института в Москве, 1912 год

С лишком год прошел после нашего водворения в имение, и весною 1850 года мать получила бумагу, чтобы меня, как уже зачисленную пансионерку императора Николая, привезти в Екатерининский институт в августе месяце, десятого числа. Мы уже думали, что о приеме меня позабыто в Петербурге, и вот неожиданно начались сборы и приготовления к отъезду. Мать не могла по болезни везти меня сама и отправила меня к бабушке Болотовой, в Каширский уезд, на своих лошадях тройкою, в тарантасе, с нянькою Катериной, лакеем и кучером, людьми надежными и верными, которые, сдав меня бабушке, возвратились домой; далее же меня повезла тетка, родная сестра матери. Горько плакала я, расставаясь с матерью и со всеми любезными мне местами. Горе мое увеличивалось тем, что меня повезет тетка, которая не любила меня; ее баловнями были братья, а меня часто бранили и даже наказывали несправедливо по ее милости. Протестовать против решения матери было немыслимо, и я с тяжелым сердцем села в тот же дилижанс Серапина. Остановились в той же гостинице, близ Пажеского корпуса. С нами для услуг взят был лакей, он же и портной и парикмахер, Семен Константинов, и в продолжение трехдневного

переезда от Москвы до Петербурга он искусно завивал мне волосы, припекая щипцами папильотки, а тетке букли, гладил и чинил платья и одежду, успевал услуживать и другим пассажирам, за что ему хорошо платили. После короткого отдыха в гостинице тетка повезла меня в институт, где дежурная пепиньерка[55] провела нас в комнату начальницы, Екатерины Владимировны Родзянко[56], которая, приласкав меня, просила тетку подождать, пока меня осмотрят в лазарете доктора Блюм и Пицулевич[57], куда я отправилась с тою же пепиньеркой. По возвращении оттуда мне разрешили пробыть с теткою в приемной. Опять maman меня приласкала, а я не догадалась даже поцеловать у нее ручку, что делали при мне входившие пепиньерки и воспитанницы. Оказалось, как сказала навестившая меня на другой день тетка (привезшая мне, по заявлению начальницы, большой зеленый шерстяной платок и дюжину бумажных чулок), что m-me Родзянко, урожденная Квашнина-Самарина, была сродни Дубровиным, что, впрочем, никакой пользы мне не принесло. Экзамена мне в тот день, за отсутствием учителей, не было, а потому тетка, оставив мне немного денег у начальницы, вернулась домой.

Итак, я осталась одна, вдали от своих близких. Тяжело, невообразимо тяжело было мне привыкать и к начальству, и к порядкам и правилам института. В особенности меня преследовала мысль, что я, точно в заключении, должна пробыть пять с половиною лет. По выходе из института я благословляла день моего поступления туда. В институте, благодаря непрестанным благородным внушениям, что достоинство человека состоит в честном исполнении своего долга, я научилась молитве, поняла нашу религию, состоящую во всепрощении и любви, прониклась глубоким уважением и нелицемерною любовью к царю и Отечеству и искреннею признательностью ко всему институтскому персоналу, начиная с начальницы и кончая пепиньеркой.

Поступив в институт двенадцати лет, воспитанная иначе, чем мои подруги, в горе и несчастии, я рано стала наблюдать за различными происшествиями институтской жизни и с маленького класса начала писать свой журнал. Не могу по сие время привести себя к сознанию, ради чего я это делала; может быть, потому, что скрытная со всеми, даже с моими друзьями, я никогда никому не передавала печальной истории нашего процесса, который мне был известен с восьми лет, и находила одну отраду искренно высказаться на страницах своего дневника. Один раз, совершенно случайно, услыхала я разговор высокопоставленного лица обо мне: «Дубровина, дочь поручика, пансионерка императора! Что-то

непонятно». Обратившись ко мне, это лицо стало задавать вопросы о моей матери и родных; но я умышленно на все отвечала незнанием и в своем дневнике назвала его ослом. Страница оказалась вырвана, кем – не знаю. Можно ли было профанировать такое знатное имя!

Тетка уехала, и я осталась одна-одинешенька, с тяжестью на душе, при сознании своего одиночества. После экзамена меня привели во второе отделение младшего класса[58] и сдали пепиньерке. По своим познаниям я должна была поступить в первое отделение, и почему инспектор назначил меня во второе, не знаю. Меня посадили на лавочку еще в домашнем платье, с ученицею в казенном зеленом платье, и я дослушала последний урок Закона Божия. В пять часов зазвенел колокольчик, священник вышел, все вскочили со своих мест, и классная дама провозгласила: «Silence, mesdemoiselles!» («Тише, барышни!» *(фр.)*. – *Прим. ред.*). Большая часть девочек стали по парам и с классной дамой во главе вышли из класса. Я обратилась с вопросом: «Куда идут они?» – «Чай пить», – ответила сидевшая рядом со мною девочка и объяснила, что классным дамам родители воспитанниц платили по 30 рублей в год за стакан чая и несколько сухарей, которые давались в комнате классной дамы ежедневно вечером. Классную даму заменила пепиньерка, и сию же минуту дежурная горничная внесла в класс корзину с черным хлебом и бутыль с квасом. При виде этого горести моей не было пределов; раздача черного хлеба, нарезанного ломтями, показалась мне сильнейшим наказанием, и я, не притрагиваясь к нему, залилась горькими слезами. Ведь у нас дома наказывали так провинившихся горничных! Какой же проступок сделали мы, оставшиеся в классе? Меня обступили, начали расспрашивать, как моя фамилия, имя, кто мои родные? Я упорно молчала и только плакала неутешно, вспоминая своих и свой родной дом. Пепиньерка безучастно смотрела, работая у стола, окруженная девочками, своими любимицами. Напрасно подошедшая ко мне девочка П. утешала меня, уговаривая съесть кусочек хлеба: я со злостью ее отталкивала, не соображая, что она подвергалась одной участи со мной. Потом я очень подружилась с этою девочкою, бедною, но хорошею во всех отношениях, бывшею первою ученицею, и, подражая ей, всегда брала под свое покровительство новеньких, зная по опыту, как тяжело бывает им при поступлении; тем более, что я перегнала по учению свою утешительницу и, как хорошая ученица, могла и защитить, и оградить от насмешек, если новенькая поступала неловко или против правил института. Слезы мои должны были прекратиться с приходом дежурной пепиньерки, которая повела меня наверх в

бельевую комнату, где кастелянша (а по-институтски белевая дама) m-lle Гардер сняла с меня мерку на платье и фартуки, отобрала кипу белья, велев мне его заменить, и меня отвели назад в классную. Через пять или шесть дней меня позвали в мастерскую, и m-lle Гардер надела на меня зеленое камлотовое (сшитое из камлота, шерстяной или полушерстяной ткани, жестковатой на ощупь. – *Прим. ред.*) платье, с белыми рукавчиками (съемные рукава, подобие нарукавников. – *Прим. ред.*), пелериною и фартуком из полотна. Я долго не могла привыкнуть ни к белью, ни к твердому и жесткому платью, а более всего к кислому хлебу, от которого у меня болел рот. Часто я бывала в лазарете, а под конец, по слабости здоровья и с особого разрешения начальницы, постоянно там обедала и ночевала, потому что могла вставать позднее и пользоваться лучшим кушаньем, чем за общим столом.

Но ничто так дурно на меня не действовало, как звон колокольчика ранним утром, к которому я никак не могла привыкнуть. В шесть часов утра все должны были вставать и умыться в прихожей дортуара (общей спальни. – *Прим. ред.*), где ночью всегда спала обязательно горничная. Все спешили к двум умывальникам из красной меди с тремя кранами, над огромными тазами из дикого камня или, лучше сказать, резервуарами, перебивая одна другую; каждой хотелось поскорее умыться, а потому на место ушедшей заступала ее подруга или, как говорилось, уступала его по любви. Потом убирали голову, всех новеньких обыкновенно стригли (я очень рада была избавиться от завивки волос), и оканчивали свой туалет. Обыкновенно одевали одна другую парами, как говорилось в институте; в случае несогласия или неряшества пары назначались классной дамой, конечно, в маленьком классе. В дортуаре стояло в ряд по 15 кроватей, железных с двумя тюфячками, двумя простынями и одеялом, летом белым тканьевым, а зимой натуральной желтой шерсти с красными каймами. Между кроватями посредине был широкий проход, а с другой стороны ряд кроватей от окон и стены отступал аршина на полтора; за ними, разостлав большие платки на полу, сиживали обыкновенно мы по нескольку девиц в праздничные и табельные дни[59], и это было любимым местом, где мы беседовали между собою, читали, работали и делили гостинцы, привозимые родными. Между кроватями стояли дубовые столики с выдвижными ящиками, особенными для каждой, где лежали принадлежности туалета: ночные чепцы, кофты, полотенца; мыло, щетки и другие мелочи покупались на свой счет, но после, по приказанию императрицы Марии Александровны[60], стали давать казенные. Ящик запирался на

ключ, который мы были обязаны носить в кармане, и в случае внезапной ревизии ящиков, в порядке ли они, если ключа в кармане не оказывалось, то виновная подвергалась наказанию стоять у доски в классе до прихода учителя, чему и я подверглась один раз (единственный случай, когда я была наказана, и то в маленьком классе). Белье было не тонкое, но всегда чистое, менялось два раза в неделю; если же пачкали пелеринки или передники, то хотя и с выговором, но переменяли их в бельевой. У некоторых было свое белье; даже одевать, убирать голову и делать постели приходили горничные, за что им платили, или они делали по обожанию. Исключительно свои горничные, жившие в институте, были у Софи Трубецкой (вышедшей потом за Морни; эта крепостная женщина Стефани, как ее все звали, из подмосковной Трубецких, не оставлявшая и боготворившая свою барышню, жила с нею и в пансионе, и в Париже) да у Дунечки Родзянко (племянницы начальницы)[61]. Зашнуровав платье и передник одна другой, к половине восьмого все спешили стать в один ряд по росту в средину пустого пространства между кроватями, потому что раздавался звонок, и немного спустя выходила классная дама из своей комнаты, одна дверь которой отворялась прямо в дортуар, и осматривала по очереди каждую, начиная с больших и кончая маленькими ростом, стоявшими всегда к выходу из дортуара. Это показывание себя было также уменьем, требовавшим привычки. Зорко осматривалась очередная институтка, и ее прическа, и чистота ногтей, и чистота передника и платья, даже завязывание бантика на переднике не ускользали от внимания классной дамы.

Опять не могу не вспомнить милую П.: она меня научила, потому что была старенькая, да к тому же из bons sujets (Отличниц *(фр.)*. – *Прим ред.*), как нужно было вечером, ложась спать, сбрызнуть пелеринку, передник и рукавчики и, сложив аккуратно, положить между двумя тюфяками на постель; вынимая поутру, я находила их точно выглаженными и была поражена мудростию Marie, к которой прибегала потом за советами. Немало стоило труда и уменья в старших классах причесывать голову и завязывать бант в передниках; только некоторые славились своим искусством, и сколько приходилось им возиться в торжественные дни с нетерпеливо дожидавшимися своей очереди, чтобы завязать грациозно бант или окончить прическу.

Осмотрев туалет девиц, классная дама вызывала дежурную, которая выходила вперед на средину дортуара и читала наизусть утренние молитвы; новенькие пропускались в одну очередь, а потом исполняли по алфавиту свою обязанность. В старшем классе все четыре отделения собирались в большой приемной

зале, где одна из девиц первых отделений выходила вперед и читала молитвы как утром, так и вечером; обыкновенно назначались лучшие ученицы, читавшие ясно и громко, и более смелые, потому что на вечерней молитве не раз присутствовали высочайшие особы.

После молитвы классная дама в старшем, а пепиньерка в младшем классе вели нас в столовую пить чай. Нам давали по кружке сладкого чая с молоком, или постного, и вечный розанчик, только Великим постом заменявшийся французскою трехкопеечною булкой. В столовой мы усаживались по пяти с каждой стороны стола; горничные приносили чай, а дежурная институтка каждого отделения большого и маленького классов получала мешок с булками по числу воспитанниц. После чая нас отводили в класс, где обязательно сидела пепиньерка, конечно, в меньших классах, или ходила возле своего класса по коридору с некоторыми обожательницами. В 9 часов сменяла ее дама по звонку, и приходил учитель, который никогда не входил в класс, если не было классной дамы: это было запрещено. В половине одиннадцатого сменял другой учитель, а в 12 часов мы шли обедать в столовую, с классной дамой во главе, при окликах дам: «Silence, mesdemoiselles». Мы даже шепотом не передавали своих замечаний о кончившихся уроках, иначе были бы наказаны debout a table (Стоянием за столом *(фр.)*. – *Прим. ред*.), т. е. стояли бы до подачи первого кушанья за столом. Нас кормили хорошо, но не всегда. Мы по качеству обеда знали об отъезде из Петербурга царских особ, нас посещавших; ведь институт наш находится близ Аничкова моста. В обед всегда давали три блюда, а в ужин два; садились в том же порядке, как и за чаем. По приходе всех классов и прочтении молитвы дежурною пели: «Отче наш». Все садились, и горничные вносили оловянные миски, ставили их на стол посредине, и две средние девочки раздавали суп, каждая на свою сторону, а с оловянных блюд таким же путем раздавали жареное и пирожное; ложки были серебряные, а тарелки фаянсовые. Хлеб был вообще кислый, а квас очень плохой, и мы всегда просили дать пепиньерского хлеба, который был мягче и вкуснее. По окончании обеда и прочтении молитвы уходили тем же порядком; только старший класс по отделениям вперед, а потом маленький класс с дамами и пепиньерками. До двух часов отдыхали, брали уроки музыки, приготовляли уроки, делали, что хотели, кроме наказанных, и опять по звону колокольчика усаживались каждая на свое место, ожидая учителя. В половине четвертого его сменял другой, а в пять часов отправлялись пить чай к классным дамам. Вскоре по поступлении я тоже стала пить чай у своей классной дамы баронессы Ган; не столько желательно

было иметь свой чай, как отрадно было мне хотя несколько минут посидеть у нее в комнате, поговорить с нею: она так участливо обходилась со мной. Впоследствии, по приказанию принца Ольденбургского[62], стали и вечером давать чай всем; но мы, взяв в столовой следуемые нам розаны, уходили пить свой чай. В шесть часов по звонку садились по местам готовить уроки, репетировали слабых учениц, метили свое белье, вязали чулки, что кому следовало делать по указанию классных дам и пепиньерок. Если был праздник, то нас водили ко всенощной и обедне, где на двух клиросах пели институтки старшего класса, под управлением регента Ламакина[63] или своих регентш-девиц. В большом классе многие не имели свободных часов от 6 до 8 часов: два дня были танцы, два дня церковное пение и два дня светское пение под управлением Кавоса[64]; оставался свободным один вечер субботы, когда шли ко всенощной. Поужинав в 8 часов, возвращались в дортуары, где, помолившись Богу, умывшись и приведя в порядок свой белый передник и все аксессуары к нему, ложились спать, снимая белые чехлы с кроватей, которые убирались и приводились в порядок двумя горничными; они же мели пол, чинили платья, приносили чистое белье и собирали грязное и проч. Раздавали белье по номерам дежурные по классу, раскладывая на кровати каждой согласно ее номеру; если что забывали положить, то делали выписку и посылали в бельевую с горничной, приносившей недостающее[65].

Уложив нас, классная дама уходила к себе; но мы долго не засыпали, переговаривались между собой, перебегали одна к другой, чтоб передать что-нибудь секретное или окружали всю ночь горевший ночник, чтоб прочитать запрещенную книгу (романы нам не позволялись); и только когда выведенная из терпения классная дама, отворив свою дверь в дортуар, делала обычный окрик: «Silence, mesdemoiselles», тогда все смолкало и останавливалось, иначе подвергались наказаниям [те], которые попадались в нарушении тишины; иногда же наказывался весь дортуар. В старшем классе было свободнее: дозволили сидеть и готовить уроки до двенадцати часов, в особенности во время инспекторских экзаменов. Мы имели свечи, подсвечники и фонари, даже могли уходить в физическую и рисовальную комнату заниматься, или в просвет, где, при висячих лампах в коридорах, готовили уроки, ходя взад и вперед. Многие имели эту странную привычку учить уроки и ходить: иначе не могли твердо выучить.

Во время моего поступления в 1850 году в петербургском Екатерининском институте было только два класса с четырьмя отделениями в каждом. Выпуск производился изо всех четырех

отделений старшего класса через три года, так же как и в Патриотическом институте и в Обществе благородных девиц; следственно, из этих заведений выпускали по очереди каждый год до ста пятидесяти учениц и менее, смотря по количеству оканчивавших курс учения. На выпуск к патриоткам и смольнянкам брали лучших учениц, а также имевших сестер в этих заведениях (я была на обоих выпусках 1854 и 1855 годов), где мы знакомились с успехами в науках девиц, смотрели их рукоделья и рисунки, выставленные в зале, слушали игру на фортепиано и пение, любовались танцами, и нас угощали чаем, десертом и ужином. В свою очередь и к нам приезжали из двух институтов на выпуск 1856 года.

Во втором отделении было, как и в трех остальных младшего класса, по две классных дамы и пепиньерки, которые делили поступавших девочек на две половины. Я попала к баронессе Ган и m-lle Потемкиной. На их обязанности было репетировать с нами уроки немецкого, арифметики, географии, естественной истории, а остальные предметы репетировать взяла на себя m-lle Семенова с m-llee Волховской. Кроме того, у них хранились наши деньги, к ним надо было обращаться с просьбою о покупке тетрадей, лакомства и пр.; у них пили чай и писали под их контролем письма родителям, а равно получались ими и распечатывались адресованные девочке.

К концу года, после инспекторского экзамена, я стала одною из первых, а ко времени перехода в старший класс первою ученицей. В особенности хорошо я читала стихи, писала сочинения; главное же, я сначала побаивалась высоких гостей, а под конец совершенно свыклась и никогда не боялась отвечать пред ними; поэтому меня вызывал каждый преподаватель отвечать в трудных минутах. Ко мне относились очень снисходительно, и потому, что я была слабого здоровья, худая и бледная, m-llee Ган избавила меня от корсета; я ходила в капоте с зеленою из камлота с пелеринкою, потому что доктора находили у меня признаки чахотки. Спала я в лазарете до восьми часов, пила там желудковый кофе, а за обедом, по приказанию принца Ольденбургского, давали мне рюмку красного вина и кровяной бифштекс; если я чувствовала себя нехорошо, то уходила после классов с шести часов в лазарет, где или занималась, или ложилась спать.

Многим я обязана своей классной даме m-lle Ган, которой, вероятно, уже нет в живых! Она требовала выполнения обязанностей с каждой вверенной ей девочки строго и педантично; но сколько доброты и любви сказывалось в ней, если девочка исправлялась, училась и вела себя хорошо! Меня мирила

с Ьнститутом в мое время идеальная справедливость начальства к учащимся, что наглядно показывает наш выпуск: предпочтения не было ни знатным, ни богатым; со всеми обращались одинаково и справедливо, ценили успехи и учение каждой, что не всегда бывает и в настоящее время прогресса и гласности не только в женских, но и в высших мужских заведениях, куда невозможно поступить обыкновенным смертным. В наше время честность и справедливость царствовали в институтах отчасти и потому, что они находились под постоянным контролем принца Петра Георгиевича Ольденбургского и часто посещались императрицами.

В маленьком классе я пробыла около трех лет, и первым моим горем был мой перевод в первое отделение к другой классной даме, Марье Григорьевне Араловой, старейшей из всех институтских дам[66]. Уважаемая всеми, но со множеством странностей, она осталась институткою до смерти, потому что ни разу не покидала стен института во всю свою жизнь. Оставшись круглою сиротой, она была взята императрицей Марией Феодоровной в институт пяти лет, боготворила покойную, с умилением и слезами рассказывала о ней, говорила об ее частых посещениях и ласковом обращении с девочками и таинственно передавала некоторым, что трогательные заботы Ее Величества и полное любви сердце к девочкам подвергались насмешкам и осуждению даже в царственной семье. К ней всегда обращались за советом, если встречались какие-либо затруднения в решении вопросов в отношении этикета, приема какого-либо царственного иностранца, распределения подарков или прочих подношений, встреч и других, на вид мелочных, но необходимых подробностей. Она с гордостью и любовью сохраняла все предания и порядки в институте, сосредоточив на нем всю нежность своего сердца; ее любили, а на взгляд посторонних она иногда казалась странною. Более всего ее любили за рассказы о многих происшествиях, очень интересных, о дворе, о нарядах того времени и пр.

Другая труженица, классная дама, которая, вероятно, заслужила себе райский венец своею любовью, самоотвержением и заботами о вверенных ей детях, была m-lle Орреджио, классная дама четвертушек – так звали в насмешку четвертое отделение, вверенное ее попечению, состоявшее из самых маленьких, плохо подготовленных детей. За нею я в старшем классе постоянно следила, удивляясь беспримерному терпению, с которым она относилась к каждой девочке, ей вверенной. Я видела, как она сама умывала и одевала девочек; каждую обласкает, утешит, если та плачет, расспросит почему, принесет гостинца новенькой. Ее в насмешку прозвали нянькой; она знала это и нисколько не

обижалась, продолжая терпеливо ухаживать за детьми, и если ее четвертушка заболевала, то она навещала ее в лазарете, покупая на свой счет лакомств и игрушек.

Экзамены в институте в 1900-е гг.

В конце года бывали инспекторские экзамены в присутствии начальницы, инспектора и учителя того предмета, которого шел экзамен; редко приезжал кто-либо из попечителей, иногда министр народного просвещения Норов, граф Борх[67] или принц Ольденбургский; но в старших классах обязательно приезжали не только они, но и многие другие, даже часто. В продолжение трех лет во время обыкновенных уроков мы неоднократно удостаивались посещений высочайших особ, своих и иностранных. Первый год экзаменов маленького класса был самый пустяшный.

Все отделения маленького класса были собраны в физической комнате; начальница обратилась к нам с маленькой речью и наставлениями. Инспектриса взяла приготовленные бантики-кокарды и приколола каждой, удостоенной награды, на левое плечо, начиная с первого отделения. Я получила вторую кокарду, т. е. с белою пуговкой, и была в восторге от этого отличия. Кокарды постепенно меняли свой вид, и из банта красной ленты, получившего впоследствии смешное название петуха, образовалась уже круглая кокарда из двух белых и двух пунцовых петель, под конец постепенно переходивших в белые, и

подразделение их по различным видам (белых из четырех петель, белых с красною пуговкой или с одной, двумя и тремя белыми петлями, а остальными красными) имело большое значение и наглядно показывало степень развития и учения девочки; а в старшем классе, судя по кокардам, ясно было, кто удостоился какой награды. Я переменила все кокарды, повышаясь каждую раздачу, и в большом классе в числе десяти получила совсем белую.

Раздача этого белого незначащего бантика, сшитого самими же ученицами, имела сильное влияние на успехи по учению и поведению девиц, производя большое соревнование между ними. С каким восторгом написала я о получении мною награды матери и всем своим родным! Кокарды надевались на левое плечо во время приема родных по воскресеньям и четвергам, а также в церковь по праздникам. Родители могли знать без отметок, как учатся их дети. В старшем классе раздача кокард была обставлена торжественнее по числу присутствовавших лиц и речей.

Мало-помалу я совсем освоилась с институтским строем жизни; меня познакомили со всеми обычаями и привычками, и я, получивши награду, уже лишилась названия новенькой, а вступила в разряд bons sujets. Все классы находились в нижнем этаже. В классе, где я пробыла во втором отделении, кафедры не было, а стоял посредине стол, на котором лежали журнал с фамилиями девиц (где учителя выставляли баллы за ответы), перо и чернильница, по изяществу которых можно было судить о расположении девиц: когда любили учителя, ставили изящное и дорогое, в противном случае – казенную оловянную чернильницу и казенное гусиное перо или с простой деревянной ручкой. Как в маленьких, так и старших классах сидели по две на изящной дубовой скамейке, перед дубовым столом, разделявшимся на два пюпитра, в ящике которого каждая девочка отдельно прятала свои книги, тетради и прочие учебные мелочи и пособия; за порядком и чистотою ящиков строго смотрели. Обыкновенно лучших учениц сажали в первый ряд, больших ростом на средние скамейки, которых было пять в ряду, на двух боках – по росту, а самых маленьких – на самых крайних скамейках. Большой навык и уменье было рассадить в порядке, чтобы при входе посетителей в класс глазам высоких гостей предстала стройная группа или колонна девиц, а не торчали бы там и сям отдельные личности. При входе не только высочайших особ, но даже учителей все вставали и приседали зараз; потом садились, и урок начинался в спокойном ожидании как начальства, так и того, что если будут неожиданные посещения, то сидевшие в первом ряду ответят хорошо и толково на все задаваемые вопросы, что тетради и

записки их всегда красиво и четко написаны и в изящных переплетах и обложках. Да и мы, сидевшие на первых лавках, так привыкли в большом классе к частым посещениям различных особ, что не боялись осрамиться. Как только обозначалось, что поступившая девочка достаточно подготовлена, то классная дама назначала ей в ученицы одну или двух таких, новеньких или стареньких, которой она должна была толковать, спрашивать и говорить об ее успехах классной даме, лично проверявшей, как выучен и понят урок. Девочка-учительница называлась «maitresse», а девочка-ученица «ecoliere» (Наставница; ученица *(фр.)*. – *Прим. ред.*). Это была страшная несправедливость в отношении первых учениц, которые, учив уроки, должны были тратить немало времени на подготовку ленивых, и вся тяжесть объяснения и ответственность за плохие успехи ecolieres ложились на метрессу. В случае упрямства и отказа готовить какую-нибудь тупицу или лентяйку непослушание отмечалось в «Petit rapport» (Рапортичка *(фр.)*. – *Прим. ред.*). У стола, стоявшего в глубине класса, задом к окнам, сидела обыкновенно особая классная дама; перед ней лежала большая переплетенная книга, называемая «Grand rapport» (Рапорт *(фр.)*. – *Прим. ред.*), куда вносились выдающиеся проступки, а равно и то, что заслуживало похвалы. Этот рапорт читали все посетители, его просматривали императрицы и начальство. «Petit rapport» был домашним отчетом дам и пепиньерок для вписывания провинившихся; оба писались по-французски. Записанная несколько раз неисправимая ученица вносилась в «Grand rapport». Тут значились смешные шалости вроде опоздания в класс на несколько минут, непорядка в туалете, в особенности волос; многим приходилось мочить водою свои непослушные волосы, которые, высохнув, поднимались вихрами. «Ведь не гвоздем же мне их прибить», – сказала одна из mauvais sujets (Дурно себя ведущих *(фр.)*. – *Прим. ред.*), и ее записали за непослушание и дерзкий ответ. Проступки были все подобны приведенному. Когда же имена виновниц хотели перенести в «Grand rapport», поднимался такой плач, что им прощали. Скажу по совести, что там было более хороших отметок. Хорошие ученицы назывались bons sujets, плохие – mauvais sujets, или проще мовешки. Ничто так не преследовалось и не наказывалось, как насмешки и карикатуры на учебный персонал и воспитательниц; действительно, они были меткие и оригинальные, а карикатуры поразительно похожие. Напр[имер], одну прозвали Бог мартышка, другую, за ее крики, Pestrella de la Criarda (Пестереллой Крикуньей *(фр.)* – *Прим. ред.*), Гиеной, Нянькой и проч.; учителей – Божество во фраке, Солнце на ходулях, Кашевар, Колбасник и пр. На многих сочинены стихи. Я

на себе испытала мучение готовить девочек; только что возьмешься или прочесть интересное, или переписать набело заметки, extraits (Выписки *(фр.)*. – *Прим. ред.*) (нам читал лекции каждый учитель по своим запискам, а мы составляли свои по прослушанному уроку), как зовут: «Дубровина, ваша ecoliere ничего не знает». – «А что же я буду делать с нею?» Прослушаешь ее, объяснишь; кажется, хорошо знает, отправишь к классной даме или пепиньерке, а она стоит столбом и ни слова, ни звука. Одни не желают отвечать, другие не в состоянии по своей тупости. Сколько крови перепортили они и учителям, и дамам, но сами оставались гордо-спокойными в своем нежелании учиться, а я попадала в «Petit rapport» за то, что плохо исполняла свою обязанность и делалась козлищем отпущения чужих грехов.

Хотя и по сие время нападки продолжаются на институтское образование, но нужно знать причину этих недостатков, которая не может быть известна не воспитывавшимся в институте. Я провела почти 6 лет в стенах его, одна моя сестра пробыла 8 лет с лишком в Смольном, третья, самая младшая, получила образование в Екатерининском московском институте, и я убедилась, что причиною дурных и нелепых отзывов об институтском образовании – сами кончившие курс, и вот по какому случаю. Все институты были заведения закрытые, порядок и учение в них родителям были неизвестны; они отдавали своих детей или пансионерками царской фамилии, или на свой счет, как и теперь, радовались, что дочери их получают образование, подобающее высшей касте, будут себя держать прилично в обществе, говорить на иностранных языках, танцевать и пр., а не для того, чтобы добывать себе кусок хлеба, как в настоящее время. Но и тогда выходило из институтов много хороших и нравственных воспитательниц, как матерей семейств, так и гувернанток; тем более им чести, что они не готовились к этому, а так угодно было судьбе. Из 145 девиц, кончивших курс со мною в 1856 году, да еще взятых до экзамена домой по различным причинам, не могли же все быть одинаково развиты и способны. Меня страшно все-таки возмущал идиотизм многих воспитанниц, и я долго не могла понять, зачем их держать? На стыд, на посрамление! В наше время домой не отпускали, разве только опасно больных, с разрешения императрицы; поэтому все шесть лет мы проводили вместе, без перерыва, и я после постоянных наблюдений пришла к заключению, что в жизни вообще, как в частной, так и в общественной, все предосудительное, нехорошее выплывает наружу и подлежит нареканию, а о хорошем умалчивается. Состав выпускных институток много портило то обстоятельство, что неспособных и даже тупиц не исключали из

заведения. Это и есть корень зла. Несколько таких выпущенных с аттестатом девиц, часто принадлежащих к аристократии, распространяя славу о неразвитости и нецелесообразности институтского образования, давали повод к неверным выводам и заключениям. Помещенные в институт против их желания, это бывали уже порядочно взрослые девочки, которым родители тщетно старались дать образование дома и, видя безуспешность их, сплавляли их преспокойно, как в исправительный дом, в институт. Многих лет по 13 $^1/_2$ и более отдавали, чтоб они не мешали дома и не были наглядными доказательствами лет матери. Конечно, обе эти категории девочек принадлежали к высшему классу; они отчасти познали веселости света и были озлоблены своим помещением в институт, ничего не делали, ничему не учились и, кроме уменья говорить на иностранных языках, ничего не приобретали. Их мы называли дурами на всех языках. Были идиотки вроде Т. и Б., из богатых и знатных семей. Т. была замужем за одним директором банка в Петербурге, жила роскошно; а потому, что ее нет больше в живых, я могу привести ее ответ на вопрос: «Сколько лет продолжалась Семилетняя война?» – «Десять лет», – отвечала она. Покойный принц П.Г. Ольденбургский звал ее «Сашенькой». Она пробыла в институте девять лет и получила диплом. Такие-то особы разнесли по многим местам нашей благодатной и беспредельной матушки России славу о непрактичности институтского образования. К этой плеяде тупоумных патентованных дур институтское начальство относилось добросовестно, стараясь передать им хотя какие-нибудь познания; но ни усилия классных дам, ни старания учителей не могли ничего сделать. И все они, эти взрослые девочки, отданные по семейным причинам, только и ждали выпуска; некоторые из них поступали, с разрешения императрицы, 14 и 15 лет. К третьей категории поступающих принадлежали пансионерки казенные, или своекоштные, которых отдавали именно для того, чтобы учиться; из среды их и выходили более всего дельные девушки, но они затерялись в числе других, им не сделано надлежащей оценки. А сколько из них было достойных матерей, жен, дочерей! Сколько добрых семян рассеяли они в своих и чужих семьях!

Сколько из них поддерживали благосостояние семьи, занимаясь образованием своих и чужих детей!

Нет, на мой взгляд, не осуждать следует институтское воспитание, а благословлять императриц Марию Феодоровну, Александру Феодоровну[68] и Марию Александровну, принца Ольденбургского и других лиц, неусыпно заботившихся о нашем образовании и содержании, следивших за успехами и за

справедливостью начальства и старавшихся все упростить и улучшить. Дух времени был не тот, что теперь; поэтому ошибки воспитания того времени были незаметны. Одно только можно строго осудить: несмотря на требования начальства исключать из заведения неспособных, разрешения не давалось. Множество богатых родителей и знатных людей восставало против выключки, и начальству оставалось одно: возмущаться при виде этих неудачниц и нести ответственность за их неспособность и нежелание учиться. Сколько бы дельных девиц можно было определить на места не желающих заниматься, которых ни наказания, ни насмешки, ни усилия ни к чему не вели; они отлично знали, что их не исключат. Да, это было большое зло!

Свою начальницу мы все любили. Она была добра и справедлива, делала нам различные удовольствия, не выходившие из пределов ее власти, испрашивала высочайшего соизволения отпускать некоторых слабых девиц к родителям на известное время летом. Но и она не избегла насмешек. Одна из мовешек на вопрос постороннего лица: «Все ли у вас казенное?» – отвечала: «Конечно, все, даже мать казенная»; а другая на вопрос: «Как ваша фамилия?» – отвечала: «Разве вы не знаете военного министра? Я его племянница». Судя по ответам, видно, что ученицы не были угнетены и забиты, как говорят. Раз в неделю назначались четыре девочки по азбуке, по одной из каждого отделения маленького класса, которые ходили обедать к maman, а из старших классов туда ходили по две в неделю; иногда по своей доброте и сожалению maman лишний раз звала к себе обедать слабенькую здоровьем. Помню, с каким страхом и радостью отправилась я в первый раз туда. Наша пепиньерка заранее осмотрела меня и около пяти часов вызвала в коридор; собравши всех четырех, дежурная у maman пепиньерка повела нас в столовую, небольшую комнату, где стоял обеденный стол. Вскоре пришла maman; каждая из нас поцеловала у нее руку, и наконец нас посадили рядом и по обе стороны пепиньерки, которая сидела против maman и разливала суп. На мое счастье, посторонних посетителей не было, а была только Екатерина Михайловна, дочь хозяйки[69], немолодая девушка, которую я обожала (а потому мои похвалы покажутся восторженными), да еще Соня Клодт[70], учившиеся в старшем классе. Это были две прелестные девушки, которых многие из нас, маленьких, обожали. Обед кончился для меня, новенькой, удачно; я не сделала ни одного промаха. В первый раз я тут увидела и больших, потому что нам запрещалось ходить по нижнему коридору возле их классов и по второму возле их дортуаров; наши же дортуары находились в третьем этаже, а классы – в

противоположной стороне, возле лазаретной лестницы. Если приходилось взбираться в дортуары, то не иначе, как по боковым лестницам: с парадной средней лестницы нас гнал старший класс и не позволяли по ней ходить. На сделанные мне вопросы во время обеда я отвечала также удачно. Поцеловав руку и сделав реверанс maman, мы пошли каждая в свое отделение, где расспросам не было конца.

Кроме классных дам надзор за нами имели три инспектрисы. При моем поступлении была у нас m-lle Гогель; все институтки звали ее тетя Саша, по примеру ее племянниц; ее заменила m-me Деер[71], которую мы не любили и звали «бомбой»; она сделана начальницей в московском Екатерининском институте, и вместо нее назначили к нам m-me Фан-дер-Фур[72], с которой мы и кончили свое воспитание.

Наступил третий месяц моего пребывания в Институте; приближалось торжество, празднование 24 ноября[73]. Начались вызовы в бельевую или целого отделения, или некоторых девиц; там надевали новые платья, примеряли передники, m-me Гардер с карандашом в руках отмечала неровность в длине передника и с немецкою точностью чертила на нем карандашом заметки, сколько и где ушить, так что, когда мы становились в ряд, то нельзя было узнать, где начинался и где кончался передник у каждой из нас: такой наконец добивалась она ровности во всю длину стоящих в ряд девиц, а я по своей глупости, как новенькая, обратилась с вопросом: «Зачем так ровно?». «Wie dumm sind Sie!» («Как вы глупы!» *(нем.)*. – *Прим. ред.*), с добавлением по-русски: «Чтоб глаз не уколоть!». Я и тут не разобрала, а спросить у старших боялась насмешек; потом, прочитав свои заметки, я одумалась и поняла. Когда я стала мерить башмаки, то мне сказали, что почти все имели свои, в особенности для балов и танцев, а казенные и толсты, и тяжелы; они были вроде нынешних туфель, но без лент, из плохой кожи; по моей просьбе m-lle Ган купила мне пару хороших башмаков на мои деньги, но перчатки нашла излишним покупать, и мне дали желтые замшевые казенные, потому что я, думали, как новенькая, не рискну танцевать. Утром мы все были в церкви, где служил архиерей; потом после хорошего обеда в 12 часов (бульона с пирожком, дичи с вареньем и кондитерского пирожного) дали каждой по рюмке белого, очень вкусного вина, после которого отвели в дортуар. В церкви я в первый раз увидела принца Ольденбургского, но не могла его рассмотреть, потому что далеко стояла. Обыкновенно в церкви стояли по правую сторону от входа старшие, а по левую младшие, маленькие ростом впереди; посредине оставался проход для тех из посетителей, которые во

время всенощной прикладывались к Евангелию, а после обедни ко кресту; за начальством прикладывались старший и младший классы. По церкви ходили дамы и пепиньерки для сохранения порядка и соблюдения правильности рядов; стояли по шести в ряд. В семь часов вечера, одетых в новые платья, нас повели по отделениям дама и пепиньерка в большую залу, где бывал прием родных, учились пению и танцам, давались концерты и балы, справлялись все торжества, кроме театра. Нас разместили за колонны на лавочках, стоявших в три ряда одна выше другой, чтоб удобнее было видеть отделенных от залы перилами аршина полтора в вышину. Во время приема по четвергам и воскресеньям на них сидели родители, а в зале стояли девицы и беседовали с родными. Зала была огромная; при входе из физической комнаты с левой стороны стоял огромный портрет Екатерины II над двумя ступеньками, покрытыми красным сукном во всю длину портрета. Мы в старших классах любили сидеть на них или на окнах и смотреть на проезжающих или во двор графа Шереметева[74], что строго запрещалось. На белых колоннах были прибиты овальные синие доски, на которых золотыми буквами красовались по выпускам фамилии девиц, получивших шифр (металлический вензель царствующей императрицы; вручался на выпуске лучшим институткам. – *Прим. ред.*) (теперь эти доски, по приказанию начальницы Бюнтинг[75], вынесены на чердак; очень любопытно, отчего?). Вслед за нами пришли старшие отделения. Когда вошла maman со своими гостями, то четыре девицы старшего класса сыграли на рояли, потом Наташа Черевина[76] танцевала с бубном в руках «болеро» (сольный танец испанского происхождения. – *Прим. ред.*), очень мило и грациозно; спели что-то «итальянское». Это были все сюрпризы maman (последующие годы были более разнообразны сюрпризами). Когда рояли вынесли, то начались танцы, заиграла своя музыка; начали кадриль, и старшие брали танцевать своих сестер и обожательниц младшего класса, которые большею частью уклонялись от этой чести, боясь насмешек. Принц Ольденбургский, а также Гофман и Броневский[77] приехали до начала сюрпризов. Все они сидели спиной к портрету Екатерины II. Рядом с Его Высочеством сидела maman с какою-то полною дамой, родными и знакомыми и со всем воспитательным и учебным персоналом. Кадриль танцевали учителя со своими лучшими ученицами старшего класса; более же всего танцевали девица с девицей или, как говорили, ta chere с ta chere (русский аналог этого французского выражения – «шерочка с машерочкой». – *Прим. ред.*). Молодежи, братьям и родственникам не позволялось бывать на балах, так что ни два сына нашей maman, молодые кавалергарды, ни брат

Черевиных[78], который был в Николаевском кавалерийском училище, ни мой брат лейб-улан (речь идет о Н.В. Дубровине. – *Прим. ред.*) не допускались туда. Только приезжие родные девушки и девочки оживляли танцы и своими костюмами разнообразили зеленый и коричневый цвет наших платьев. Во время вечера роздали нам каждой по яблоку, по кисти винограда и по пачке конфект. Под конец маленькие, ободренные своими классными дамами, толклись в одном углу залы подальше от гостей. Ко мне подошла одна девочка моего отделения, а с нею старшая из первого отделения: «Вы знаете Марш?». В недоумении я посмотрела и сконфуженная отвечала: «Нет, не знаю». Оказалось, что фамилия ее была Марш, она знала моих родных; а я в простоте души солгала. Я играла на фортепианах и марши, и полонезы и подумала, что меня заставят сыграть марш. Хорошо, что вышло удачно; иначе бы меня засмеяли подруги. В 11 часов нас маленьких увели спать после ужина, состоявшего из двух тартинок с сыром и колбасой, слоеного пирожка, рюмки вина, стакана аршада (прохладительного напитка из разведенного миндального молока. – *Прим. ред.*) и стакана лимонада. На другой день мы встали позднее обыкновенного, и опять пошло все своим чередом. Были еще балы 6 декабря, 1 января, 23 апреля, 2 и 22 июля. Летом было веселее: танцевали в саду на площадках, все было иллюминировано; кто танцевал, кто сидел, кто гулял в саду.

В начале декабря меня назначили к m-me Лалаевой в рукодельную, где нас в числе восьми девочек засадили вышивать оборочки по белому батисту, а потом туфли по бархату, что сначала мы делали плохо и неумело; потом многие стали выполнять изящные работы, подносимые разным высоким посетителям и посетительницам. Там мы пробыли дня три, приходя в класс только в часы Закона Божия. В верхней мастерской, где учили шить белье и вышивать по канве, я только два раза и была из старшего класса и всегда жалела бедную учительницу, которая, как говорили, была из прислуги графа Шереметева; над ней сильно смеялись и постоянно дразнили институтки.

На уроке рукоделия

В середине декабря я заболела. Меня отвели в лазарет, также разделенный на две половины: больших и маленьких. У первых была смотрительница Мария Васильевна, у других Анна Андреевна (фамилии их никто не знал) под начальством лазаретной дамы m-me Ридигер и репетировавшей нас m-lle Флейн. Меня положили в постель, и у меня оказался круп; должно быть, я простудилась в коридоре; впрочем, и в классе постоянно открывались форточки для вентиляции. Меня привела сама m-lle Ган, и я совсем задыхалась. Анна Андреевна, до прихода докторов, сама дала мне какого-то маслянистого питья, от которого поднялась сильная рвота, и мне стало легче, так что к приходу докторов (вечером около пяти часов Пицулевича, а утром его и Блюма) я чувствовала себя легко. Мне прописали лекарство, а на другой день я не могла не улыбнуться, глядя на смешную фигуру Блюма, никогда не говорившего ничего по-русски, кроме двух слов: «Как вам?». Не понимавший ответов, переводимых ему m-me Ридигер или Анной Андреевной, тоже немкой, на его родной язык, он с заложенными за спину руками делал каждой больной тем же тоном тот же вопрос и, даже не выслушав ответа, продолжал осмотр далее с Пицулевичем и дамами. Они оба в мое время не внушали нам доверия; но мы были обнадежены тем, что при осложнении болезни или неудачном лечении вызовут докторов-специалистов. Институтское начальство не жалело денег, и содержали нас

прекрасно, не отказывая больным в их прихотях при выздоровлении, что я и испытала на себе не один раз. Нам давали улучшенную пищу, вино, фрукты, ухаживали за нами очень усердно обе смотрительницы, сами давали лекарство, а к тяжко больным нанимали сестер милосердия, в особенности при повальных болезнях, содержали в безукоризненной чистоте белье на нас и постельное, которое часто меняли. Родственницам дозволялось посещать свою больную хотя каждый день, а не имевших родни всегда вспомнит maman, всегда пришлет чего-нибудь вкусного из кушаний или лакомства от себя, придет сама, расспросит, не хочет ли чего, приласкает и утешит. С глубоким чувством любви вспоминаю я ее. У меня были всегда свои деньги, и, по моей просьбе, что нужно мне покупала m-lle Ган и присылала или приносила сама, чтобы меня навестить. После этой болезни я долгое время ходила в лазарет кушать и ночевать.

К концу года я стала свыкаться с образом жизни и со странным обращением институток. Мало-помалу я начала сходиться и дружиться. Нас было четыре девочки, соединившиеся между собою дружбою. Это соединение в кружок называлось «кучкою». Если одна из кучки была именинница, то остальные члены кучки считали себя обязанными собирать подарки и устраивать на столике, принадлежавшем имениннице, в день ее ангела в изящном порядке все сделанные подношения, украшая различными вещами и искусственными цветами. По числу подарков можно было заключить о любви подруг. В число подарков входили: букеты живых цветов, бомбоньерки, платочки разных цветов, которые носили на шее и считали шиком, кольца, несессеры[79], духи, перчатки и прочие мелочи; в большом классе бывали подарки более ценные, в особенности если дарили маленькие своих больших обожательниц; но преимущественно посылались букеты живых цветов, а от друзей кто что мог. Первый год 9 декабря я ничего не получила, на второй год получила более двадцати, а потому и просила m-lle Ган приготовить угощение для нашей кучки и друзей, делавших мне подарки, состоявшее из традиционного пирога, который подавался первым угощением. Каждую именинницу отпускали из класса; я отправлялась в комнату m-lle Ган, где с помощью ее горничной все приготавливала. К 5 часам варился шоколад, классная дама уходила на это время; я разбирала корзину с покупками, все приглашенные являлись, и начинался пир. После пирога подавали шоколад, потом различные сласти, называемые cochonneries (буквально: грязь, отбросы *(фр.);* французское жаргонное слово, обозначавшее в школьной и студенческой среде смесь орехов и сухофруктов. – *Прим. ред.*), смотря по средствам

именинницы. Но бывали очень богатые угощения и много приглашенных; тогда уже просили позволения праздновать или в столовой начальницы, или в рисовальной, или в дортуарах. Это происходило уже в старшем классе, где хотя и начиналось кулебякой с прибавлением многих холодных утонченных блюд, дичи, консервов, сыру, сардин и проч., но кончалось неизменным шоколадом с горою дорогих тортов и печений, дорогих редких фруктов и конфект. Все это привозилось родителями или присылалось из дому в швейцарскую комнату в корзинах и свертках с наклеенными надписями фамилий. Жены швейцаров относили туда, где происходило празднование. Трудно себе представить, что было на Рождество и Пасху, какие массы корзин и пакетов высились в классах и дортуарах. Ведь институток было более трехсот!

Праздник Рождества Христова начался всенощною и обедней в день Рождества. Пели превосходно, я нигде не слыхала такого стройного задушевного пения, как в институте; после обедни возвратились в дортуар, где все разбрелись по разным местам или уселись на свои места за кроватями; кто читал, кто шил костюмы, кто делал украшения на елку. Маленькие сравнительно с большими мало наряжались, ограничиваясь обходом в костюмах своих дортуаров маленького класса, не дерзая даже спускаться на второй этаж к большим, где встречали их насмешками и бесцеремонно прогоняли. Большие же целыми группами, в черных шелковых или уродливых масках, окруженные девицами других отделений, недружных с ними (чтобы нельзя было узнать), ходили везде. Здесь были и Пьеретты, и Papes de fous (пьеретта – персонаж итальянской народной комедии, тип мечтательной влюбленной; *papes de fous* – король шутов *(фр.). – Прим. ред.*), цветочницы, цыганки, маги, были и оригинальные костюмы, и чрезвычайно дорогие; некоторым присылали из Большого театра, а в 1855 году М. была замаскирована членом Адского Парламента – сатира, направленная против Англии[80], очень удачная; костюм был замысловатый и дорогой. Маски пользовались большою свободою, ходили ко всем, даже к maman, где их угощали, а они танцевали согласно их костюмам, нередко высказывали свои обиды и замечания тем лицам, которыми были недовольны. Это было безопасно, потому что никто не имел права заставить снять маску, а никто из своих не выдавал подругу. То был старинный обычай института, и нарушить его никто не смел[81].

Устройство елки было другим развлечением. Маленькие довольствовались их устройством в дортуарах; большие – в физической или рисовальной зале. Привозимое родными и купленное по записке классными дамами, пополненное

складчиною от девочек всего отделения, шло на украшение елки; каждое отделение старалось богаче ее украсить. Кроме того, каждая из нас имела право вешать на елку подарки, предназначенные своим обожательницам, которые после освещения елки снимались и подносились по принадлежности приятельницами, но не самими. После зажжения елки играли на фортепиано, танцевали, приходили приглашенные на елку, приезжали родные, которых угощали и подносили подарки.

По четвергам и воскресеньям были приемные дни. Выход девиц был торжественный. После обеда классная дама, приведя в дортуар, отбирала тех, которые ожидали посещения родных, и выводила в коридор свою партию; к ней присоединялись остальные из других отделений, и во главе с классною дамой в синем шелковом платье, в палевых перчатках, в черных кружевных или шелковых мантильках, в белом чепце из tulle illusion (узорчатый тюль *(фр.)*. – *Прим. ред.*) (кто носил) двигались мы, одетые в праздничные костюмы и также в палевых перчатках, маленькие ростом впереди; за нами замыкалось шествие пепиньеркой. Выстроившись колонною посредине залы, мы становились dos-a-dos (Спина к спине *(фр.)*. – *Прим. ред.*) и, сделав реверанс вместе, как бы по команде, направлялись к родным. Часто приезжала молодежь поглазеть на институток, в особенности с поступлением княжны Трубецкой[82]; кроме нее было множество хорошеньких. Если любопытные не удалялись, то к ним подходил наш полицеймейстер, всегда присутствовавший во время приема. Меня сначала навещал брат лейб-улан, m-r Прокофьев, и обязательно каждый четверг приносил мне коробку конфет наш парикмахер Николай Федоров, крестьянин деревни Косой, настоящий франт со шляпой в руке и при часах, так что трудно было поверить, что этот человек не comme il faut (светский человек *(фр.)*. – *Прим. ред.*).

Потом поступил в Инженерное училище мой cousin Болотов, который иногда бывал у меня, чем я была очень довольна. На Масленицу нам давали блины и икру, присылаемую от двора принца Ольденбургского, а от императрицы – мороженое, и каждый год присылались придворные кареты, в которых размещали по шести девиц; более энергичных или достойных брала с собою начальница, ехавшая в первой карете, потом инспектриса и классные дамы брали своих любимиц, а остальные, более благоразумные, под ответственностью одной из bons sujets, садились одни по назначению и записке дам. Сидевшие одни были несказанно довольнее других. Маленьким давали в это время по чашке кофе с печеньями и распускали в дортуар.

Великим постом говели на первой неделе, и учителя не

ходили. В свободное от посещения богослужений время нам читали духовные книги, а мы работали и свое, и казенное, метили белье, вязали чулки или вышивали. Духовник нас наставлял и объяснял значение исповеди. В пятницу с утра начинали исповедовать, приводили отделениями, в ожидании очереди сажали по шести в ряд на полу церкви. Первый ряд, сделав земной поклон, стоя ожидал своей очереди; сначала шла самая маленькая и так по росту до конца. В субботу, после причастия Св. Таин, в столовую приходила maman, поздравляла и говорила немного слов и наставлений; давали по чашке чая с красным вином и белым хлебом; обед был хороший. Весь пост давали постное. Пели в институте прекрасно; лучше пения «Да исправится молитва моя», по-моему, нигде не пели, как наши солистки. Выразительное, прочувствованное, полное умиления и мольбы пение сильно действовало на наши души, вызывая часто слезы. Певчие занимали оба клироса: большие стояли с правой стороны, и если maman не было (она с посетителями стояла позади), то одна из певчих давала знак прикладываться к Св. Евангелию; в большом классе я первая стояла с краю, и мы, шесть девиц, стоявшие в ряд, делали земной поклон и подходили прикладываться, за нами певчие и потом маленькие в том же порядке, обойдя аналой, чинно становились на свои места. На Пасху пение было умилительное и торжественное; ходили к заутрене и обедне не только мы, но на хорах присутствовали и наши больные в белых капотах. Нам дозволяли их навещать целую неделю в лазарете. Разговляться нам давали по куску пасхи и кулича в столовой, после чего нас, маленьких, отводили в дортуар, а большие направлялись в залу, куда приходила maman христосоваться и приносила фарфоровые и стеклянные яйца по одному каждой, присылаемые императрицею. После ухода начальства, разделясь на кучки, рассаживались мы или на кроватях, или на своих излюбленных местах за ними на полу; сюда приносились присланные гостинцы, глупо называемые «кусочками»[83]. Самая обидная брань в Институте было название «кусочница». Почему? Я, новенькая, не знала этого. Каждая кучка делила по ровным частям между своими членами присланные кусочки, и, лакомясь, мы поверяли друг другу и свои взгляды, и свои тайны, читали что-нибудь, делали свои замечания и критиковали многое и многих. Очень много и качеством, и количеством присылалось гостинцев; некоторым приносили пудовые корзины, начиная с дорогой дичи и паштетов и кончая конфетами и не менее дорогими фруктами, но предпочиталось cochonnerie: смесь орехов, изюму, миндалю, фиников, чернослива и т. п. Все имеющее специфический запах запрещалось и

конфисковалось в пользу жен швейцаров: зеленый сыр, колбаса, селедки и пр. Это и были любимые вещи, как запрещенный плод. Чтение романов, которые иногда контрабандою проникали в институт и читались с наслаждением, тоже было строго запрещено. В Институте была и своя библиотека, изобиловавшая одними «Лучами» и «Звездочками»[84], которые давали нам читать, и то редко, в старшем классе; иногда классные дамы давали своим избранным книги, более на иностранных языках.

Наступила весна 1851 года, вскоре начались каникулы, скучные потому, что определенных занятий не было, а повторялось с классными дамами все пройденное за год; занятия с бестолковыми раздражали нас, и для меня было только одно удовольствие – читать или ходить по саду, вспоминая наше гнездо и родных. Меня, как одну из слабеньких, поили каким-то декоктом (отваром лекарственных трав. – *Прим. ред.*) натощак по утрам, что производило сильную тошноту; других поили сывороткой, будили рано и заставляли ходить полчаса в саду. Сад до 1853 года был разделен на две половины; старший класс свободно прогуливался по всему пространству, а мы не только не смели гулять в саду на половине старших, но даже не имели права ходить вблизи; иначе нас немедленно выпроваживали. Мы, некоторые из младшего класса, желая украсить свою половину сада, сажали цветы, кустики, привозимые родными, и сеяли разные овощи; часто, возвращаясь в сад, находили все вырванным и потоптанным; ребятишки подвального этажа (имеются в виду дети институтской прислуги, размещавшейся в подвальном этаже. – *Прим. ред.*) в дурную погоду истребляли посаженное. Посредине сада на круглой площадке, усыпанной песком, красовались pas de geant (гигантские шаги (*фр.*). – *Прим. ред.*) и двое качелей. К стороне Литейной улицы был отгорожен садик с фонтаном для maman и находилась оранжерея с прекрасными цветами, которыми мы любовались. Другая половина до беседки, разделявшей отгороженный садик, носила громкое название ботанического сада, не имевшего ни одной былинки для этой цели, кроме нескольких яблонь с кислыми плодами, подвергавшихся нападениям мовешек, отчаянно рвавших яблоки из окон беседки – большой комнаты, уставленной тиковыми (обитый тиком, плотной хлопчатобумажной тканью, как правило, в широкую полоску. Тик производится до сих пор; идет на матрасы. – *Прим. ред.*) диванами, с обилием пауков-крестовиков. Гордость и украшение всего сада составлял громадный каштан пред окнами первого садового отделения (первое отделение называлось так потому, что размещалось в помещениях, выходивших окнами в сад. – *Прим. ред.*) старшего класса. Как он

был величествен в своем цвету! Была перед террасой и клумба очень плохих цветов. Летом высочайшие особы посещали нас чаще, и по прошению maman разрешалось нам сходить в Летний сад посмотреть памятник Крылову и еще в домик Петра Великого[85]. Для этого и сшили нам шляпы особенного покроя и типа из серого батиста вместо розовых. Иногда в табельные дни выводили нас на балкон посмотреть иллюминацию или торжественную процессию.

В конце 1852 или начале 1853 года произвело большие толки в маленьком классе поступление княжны Трубецкой. Весть, что приехала какая-то новенькая красавица, облетела всех. Ее зачислили в первое отделение; но мы все увидели ее только в следующую субботу, когда инспектриса Фан-дер-Фур привела ее в рисовальную комнату, куда собраны были все отделения младшего класса, чтобы идти ко всенощной. Это была девочка лет 14, высокая, стройная, одетая в черное платье с белым отложным воротником и рукавчиками; а длинные белокурые косы ее, заложенные на затылке, были украшены двумя черными бархатными шу (пышный бант из насборенной ленты. – *Прим. ред.*), с длинными, почти до колен и широкими концами. Нежный розовый цвет лица, большие черные глаза, изящество манер, «toute sa tenue» (совершенная манера (*фр.*). – *Прим. ред.*), как выражались мы, произвели на нас очарование. Я узнала, что новенькая Трубецкая – пансионерка императора Николая I. Сколько раз в старшем классе я была с нею в одном отделении, даже учила ее по-русски Закону Божию. Я услышала от нее, что принцесса Матильда, княгиня Сан-Донато-Демидова[86], желала ее удочерить и спрашивала на это разрешения императора, который предложил этот вопрос решить самой девочке; но та избрала возвращение в Россию под покровительство русского мператора, и из Парижа, где она воспитывалась в пансионе с 1848 года, она вдвоем с горничной Степанидой, никогда ее не покидавшей, возвратилась в Петербург. Родных у нее было множество в знатном и придворном кругу. Мать ее не любила, а отец был разжалован в солдаты. Я иногда надписывала для нее к нему адрес на конвертах в Петровск; думаю, что многие помнят про его карточку, посланную родным: «Сергей Трубецкой, урожденный князь Трубецкой». Ее навещало много родственников, и она пользовалась особыми удобствами.

Вскоре после ее поступления пришло приказание от Ее Императорского Величества привезти несколько девиц с княжной Трубецкой[87] в Зимний дворец. За нами присланы были придворные кареты; начальница и инспектриса нас сопровождали. Нам было и весело, и страшно. Одели нам лучшие

форменные зеленые платья, самые тонкие передники, окутали шарфами, надели мантошки с капюшонами, и мы тронулись. По приезде нас раздели, осмотрели наш туалет и повели через множество комнат и зал на половину императрицы Александры Феодоровны. Каждую дверь отворял камер-лакей, а в зеркальной зале арабы в красных великолепных мундирах, в башмаках и чулках; везде изображения черных физиономий отражались в зеркалах и устрашали нас. Наконец мы вошли в сравнительно небольшую комнату; посредине ее стоял круглый стол, везде цветы и зелень, мебель была простая, старинная; там встретила нас фрейлина Бартенева[88] и сказала обождать; было между 12 и первым часом. Потом ввели нас в комнату побольше, где мебель была обита синим бархатом; перед диваном в углублении стоял стол, кругом стен были выставлены высокие, цветущие деревца, от которых мебель была отодвинута; в одном простенке на столе стояло деревянное блюдо с искусно выточенными вишнями и другими ягодами (это я успела рассмотреть до прихода Ее Величества). Потом каждая из нас не спускала глаз с императрицы, с благоговением запоминая ее величественные черты лица. «Bonjour, Votre Majeste Imperiale», – приветствовали мы ее, делая глубокий реверанс. «Bonjour, mes enfants» («Здравствуйте, Ваше Императорское Величество»; «Здравствуйте, дети» *(фр.)*. – *Прим. ред.*), – отвечала она нам и милостиво протянула руку, которую мы с восторгом поцеловали. Одета она была в синей шелковой юбке и черной бархатной, по талии сшитой, кофточке; на голове был чепчик кружевной с оранжевыми лентами; бант немного отпоролся, и как мы желали, чтобы он упал, и мы спрятали бы его на память. Милостиво расспросив нас, она стала говорить с княжной Трубецкой; не успели еще мы осмотреться, как вошел император: «Здравствуйте, дети!» – «Здравствуйте, Ваше Императорское Величество», – весело отвечали мы, окружили и стали ловить его руку, чтобы поцеловать; но он не дал, подняв кверху, потом одних погладил по голове, других поцеловал.

Я еще в 1848 году часто видала императора; еще дома, по приезде в Петербург, мы с гувернанткой часто ходили на единственную тогда железнодорожную станцию, поджидая приезда Его Величества из Царского Села; нас никогда не отгоняли, зная, как император любил детей. Он всегда был, видимо, доволен, если нас собиралось много, и, сбросив, бывало, с плеча свою традиционную шинель, сам же натянет ее опять и, постояв несколько секунд, скажет: «Прощайте, дети!». Однажды повели нас на парад в том же 1848 году, происходивший, кажется, на Царицынском лугу[89]; мы выбрались вперед, и какой-то

свитский офицер поставил нас очень близко от императора, который был в казацком мундире; возле него стояли два кадетика в шинельках и фуражках без козырька; нам сказали, что это внуки императора: цесаревич Николай и великий князь Александр[90]. Первый стоял тихо, а второй что-то говорил, дергая императора за полу; брат, стоявший ближе, передавал мне потом, что он говорил: «Дедушка, возьми на руки». Император отсылал его к воспитателю, но тот не слушался и все просил его. Наконец мы увидали его на руках августейшего деда и по окончании парада удостоились слышать: «Прощайте, дети!».

«Пойдемте, я покажу вам зимний сад!» Мы пошли за ним и были поражены величиной деревьев, множеством цветов и летающих птиц. Государь сел на скамеечку; мы окружили его. Он делал каждой вопрос по-русски, а потом, обратившись к княжне Трубецкой, сказал: «Дети, переведите ей мои слова, что если она не выучится по-русски, то я ее и в солдаты не возьму». По возвращении императора на половину императрицы он обнял ее за талию и спросил: «Приготовлено ли детям угощение?». Нас вызвали к круглому столу в соседнюю комнату, где мы ожидали, и предложили шоколад с печеньями и по коробке конфет каждой из восьми девиц. Государя мы не видали более, а императрица, сказав фрейлине: «Montrez les appartements aux enfants» («покажите детям комнаты» *(фр.)*. – *Прим. ред.*), подозвала княжну Трубецкую, с которою неизвестно о чем изволила говорить. Нам показывали весь дворец. Более всего мне памятна на половине императрицы спальня императора: за ширмами простая железная кровать, покрытая белым тканьевым одеялом, и сафьянная зеленая подушка лежала в головах. На ширмах с наружной стороны висели портреты августейших родственников в небольших размерах. Ванная императрицы – белая мраморная, маленький сад с фотом, в котором бил фонтан; его пустила фрейлина Бартенева, и за брызгами мы не могли выйти из грота. Мы видели столько невиданных, роскошных вещей и такое множество зал и различных комнат, что у нас все смешалось и перепугалось; ведь, по правде сказать, мы только пробежали по дворцу! Я совсем иззябла в одной пелеринке, как и все мы, и m-lle Бартенева накрыла меня, по своей доброте, полою своей бархатной мантильи (испанской кружевной накидки. – *Прим. ред.*) и так ходила со мной.

Жилой флигель Смольного института

Класс первого садового отделения был первый в коридоре налево, если выходили из швейцарской, против двери которой широкая и светлая парадная лестница вела в верхние этажи. Поэтому, кто бы ни входил из высокопоставленных особ, к первым попадал к нам. Нам объясняли ранее, что при посещении кого бы то ни было перерыва в занятиях и уроках не должно быть, за исключением посещения Их Величеств и цесаревича с цесаревной, и никаких извещений о посещении не было. Если же удостаивали нас посещением вышеназванные царственные особы, то швейцар звонил в особенный колокольчик с мягким звуком, извещавший об их прибытии, и все должны были собираться по своим классам. С переходом в старший класс мы всегда должны были быть готовы встречать в должном порядке высоких гостей.

С новыми классными дамами m-lle Араловой и Петровой началось наше учение более сложное и трудное: учителя сменились профессорами, курс учения пошел серьезно и дельно, требовал внимания и усиленных занятий; нас избавили от всяких ecolieres; из каждого предмета хорошая ученица вела свои записки, extraits, по которым училось большинство; учебных книг совсем почти не было, кроме Закона Божия: составляли и записывали лекции учителей сами девицы, которые просматривались и дополнялись учителями на так называемых

feuilles volantes (отдельных листках *(фр.)*. – *Прим. ред.*). В первых отделениях программа преподавания была пространнее, и профессора были разные; только один законоучитель и духовник оставался один и тот же во всех отделениях и классах. Это был Дмитрий Максимыч Максимов[91], человек образованный и исполненный чрезмерной снисходительности и любви к своим духовным детям. У каждой из нас была тетрадь заметок, где я вписывала все, что рассказывал батюшка, его разные замечания и объяснения на непонятные нам славянские слова. По-славянски мы читали, но грамматики не знали. В старшем классе мы прочли жития многих русских святых, к изучению коих приступили после неудачного экзамена воспитанниц Николаевского сиротского института: инспектор заставил нас в короткое время приготовить многое, потому что цесаревна на экзамене могла заметить нам то же самое: «Отчего мы не знаем житий святых русских?». Каждая прилагала все усилие, чтобы не осрамиться у батюшки, и на экзаменах все отвечали хорошо; а ведь в старшем классе приезжали нас слушать и экзаменовать такие светила духовного мира как Макарий, протопресвитер Бажанов, Лебедев[92] и др. Наш духовник замечательно рассказывал. Многие иноверки оставались его послушать; он не задавал ни одного урока, не рассказав и не объяснив. Всякий раз казалось, что он говорит новое: так красноречиво передавал он уже пройденное нами. У католичек в здании нашего института была своя церковь, а лютеранок с классною дамою-лютеранкою возили в кирку. Для занятий с ними Законом Божиим приходили ксендз и пастор.

Преподавателем русского языка был в маленьком классе Петр Иванович Боголюбов[93]. Он строго относился к лентяйкам; да и нельзя было не возмущаться, с какими грубыми ошибками писали многие девочки. Он приносил свои заметки, мы их списывали, по ним учили и отвечали. Мне было легко у него учиться: свои листки он передавал или мне, или своей дочери. В старшем классе преподавал сам инспектор Платон Григорьевич Ободовский[94]. Его лекции были интересны, особенно когда он читал сочинения поэтов и писателей, читал блестяще-увлекательно; он это делал в награду, если хорошо отвечали. Он увлекался и часто вместо своего предмета предлагал неподходящие вопросы. Например, читает «Три пальмы» (баллада М.Ю. Лермонтова. – *Прим. ред.*); мы все с замиранием сердца стараемся ловить каждый звук. Вот он кончил и обращается с вопросом к вызванной ученице: где растут пальмы, какая страна, жители, нравы, обычаи, правление, современные государи? И выходит не урок русской словесности, а экзамен по всем отраслям наук. К ответам своего предмета он относился строго;

требовал, чтобы его лучше готовили, и задавал большие уроки; в особенности мучил он нас греческой литературой, не оставлял и индейскую и др. У Платона Григорьевича мы писали сочинения на темы довольно трудные и делали разборы. Учились также по его запискам, или каждая из лучших учениц после его лекции записывала с его слов. Писать приходилось много по всем предметам. Тема задавалась одна всему классу; но для проверки вызывали к доске (которых было две в классе) и заставляли писать на незнакомую тему: тогда и выяснялись способность и умение вызванной девицы писать правильно. Это делалось изо всех предметов. Подсказать было невозможно, а передать листок еще труднее, несмотря на уменье это сделать через poste votante (Летучую почту *(фр.)*. – *Прим. ред.*). Меня в обоих классах постоянно вызывали: я хорошо читала стихи, писала без ошибок и сочиняла порядочно. На экзамене в последний год маленького класса я отвечала басню «Три мужика» (басня И.А. Крылова. – *Прим. ред.*), за что получила большие похвалы и не в очередь обедала у maman.

Древнюю историю начал с нами Аникиев[95], учивший и в Смольном. Это был хороший старичок, очень снисходительный, приносивший нам из Смольного письма сестер и передававший наши туда. Мне кажется, что часто они долго лежали в его боковом кармане и по нескольку раз бывали в стенах того и другого заведения, не попадая в руки адресатов. Он чертил на большой классной доске, показывая постепенное заселение Земли различными народами, всегда рассказывал задаваемый урок, но придерживался того, чтобы мы учились по книге изданной им истории и заучивали слово в слово, что было почти всем очень трудно и совершенно противоположно тому, как стал читать свои лекции Тимаев, сын инспектора Смольного[96], в старшем классе. Делая записки с его слов, мы прошли с ним древнюю, среднюю, новую и русскую историю пространно. Предмет этот в старшем отделении стал очень интересен, благодаря рассказам г-на Тимаева; но, поставленный в известные рамки и увлекаясь изложением исторических фактов, он вдруг краснел, заикался и переходил на другое. Мы вызывались к доске и по порядку писали восшествие на престол Рюрика и его преемников и современников, царствовавших во всех известных в то время странах; тут иногда смешные несообразности отвечающих и писавших возбуждали искренний смех.

Географию в большом классе преподавал Вержбилович[97]. При первом приходе его в класс мы были поражены его наружностью. Высокий, худой, длинный, узкий в плечах, со странными манерами, он поразил нас своею уродливостию; но все

насмешки затихли, когда он стал говорить. Он прекрасно чертил карты, заставлял нас делать то же, в особенности местности губернии, нашей родины; рассказывал нам многое из осады Севастополя. Щеголев был его воспитанник, и многие происшествия войны нам были известны более из его рассказов, чем из газет, которые читали нам ежедневно классные дамы. Он чертил на доске план северной и южной сторон Севастополя, прямо говорил, что посланные туда войска идут на бойню, что оборона невозможна. Я с сильным вниманием вслушивалась, соображала и много мучилась его разоблачениями, так как в Севастополь перевелся мой брат; да я полагаю, что и многие, у кого были там близкие, разделяли со мною мои чувства.

Естественную историю начали мы учить с Феодором Дмитриевичем Студитским. Он приносил нам исписанные им самим листы, но столь неразборчивые, что я только одна и могла их прочесть, за что он ко мне благоволил. Он приносил картины для ознакомления нас с животными и растениями и минералы различных пород. После его первого урока, когда он стал вызывать повторить слышанное, я встала; но меня удержала опытная соседка по классу, объяснив потом, что я бы получила ото всех нелестное название «сувалки» (институтская брань: суешься, куда не следует). На первом экзамене я совершенно случайно отличилась. Maman, бывши на экзамене с инспектором, обратилась с вопросом к отвечавшей: «Из чего мы получаем хлеб?». О ужас! Этого многие не знали. В старину, в мое время, было стыдом ходить на скотный двор, смотреть на работы крестьян; поэтому нельзя было и осудить это незнание. Студитский вызвал меня, и я рассказала весь процесс посеянного зерна, объяснила, что значит пахать, боронить, сеять, жать, косить, молотить, молоть и названия земледельческих орудий. В большом классе мы проходили естественную историю вторично уже на французском языке с г-ном Менетрие, немолодым глухим учителем, наполовину не слышавшим, что ему отвечали, но занимательным рассказчиком всего виденного им (он путешествовал по всему свету). Часы в его классе проходили незаметно. Часто мы с ним уходили в физическую комнату для опытов, для осмотра электрических и других машин. Физику и естественную историю проходили мы по книгам его сочинения на французском же языке, но все-таки не обходились без заметок и объяснений.

Математику мы как начали с Францем Ивановичем Буссе, так и кончили. Это был немолодой, седой профессор, директор мужской гимназии, очень строгий и нелюбимый многими. Его привычкою было уходить в конец класса, садиться на последнюю

лавочку, оттуда задавать вопросы и смотреть, как решают задачи вызванные к двум черным большим доскам четыре девочки. Это имело свою стратегическую цель: не было возможности передать что-нибудь по poste volante, и ни одна бумажка с решением задач не ускользала от его внимания. Он редко спрашивал первых учениц, только при объяснении нового урока, заставляя их повторить, ссылаясь на то, что они всегда знают и хорошо отвечают, почти никогда не вызывал последних, говоря, что их никогда ничему не выучишь, и занимался исключительно со средними, что было совершенно верно.

Средние очень поправлялись и занимались охотнее. Один раз он до того осерчал, вызвав одну из тупиц, которой задал самый пустяшный вопрос, что сказал: «Кто глупее осла?» – «Немец!» – отвечала та без запинки. В маленьком классе он всегда прибегал, объясняя дроби, к числу лиц, составлявших кучки, потому что знал все обычаи, названия и выражения институток.

По-французски учил нас m-r Bernard. Кроме чтения, списывания с книги переводов и грамматики он заставлял нас рассказывать, хотя и с ошибками, что нас окружало, что делали, что носили, чем были больны, что кушали и проч.; потом, исправив наши фразы, заставлял учить на память. Мы сделали у него большие успехи; он никогда не говорил по-русски, как и Леврие в старшем классе.

Немецкий язык всегда был нелюбимым нашим предметом, кроме немок, конечно. В маленьком классе преподавателем его был г-н Эрнст, гораздо умнее и дельнее преподавателя старшего класса, г-на Эйринга. Многие говорили хорошо по-немецки, но писали плохо, вероятно потому, что выписанные из Риги бонны едва ли сами умели писать правильно. Эйринга мы невзлюбили при самом переходе. Это был скорее актер, который мог бы подвизаться успешно во всякой шутовской роли. Он был толстяк, с красными руками и оттопыренными пальцами, в поношенном платье и измятой сорочке; он старался игриво и по-детски обращаться со старшим классом. От него все брезгливо сторонились; он не имел привычки читать лекции с кафедры, а обыкновенно ходил тихо и медленно по классу, перед скамейками учениц. Перед каждою ученицей на пюпитре лежали книги и тетради, могущие понадобиться; крышки пюпитров строго запрещалось открывать во время урока. Я сидела четвертая от окна и, как все сидевшие в первом ряду, расстилала белую бумагу, чтобы Эйринг не опирался своими противными руками на наши книги и тетради, объясняя это классной даме необходимостью заметок. Совершенно случайно попал кусок col a bouche (Клейкой бумаги *(фр.)*. – *Прим. ред.*) (я подклеивала что-то

в тетрадях). Когда Эйринг в страшном возбуждении размахивал руками, поднимал их кверху, опирался на разложенную бумагу, закрывал глаза и жалостным голосом рассказывал одну из немецких трагедий («Эмилию Галотги» Г. Э. Лессинга.), к поднятым его рукам прилип лист. Все рассмеялись. Эйринг рассвирепел; подозревая меня в намеренно устроенной шалости, он сбавил мне балл и, несмотря на мое старание и успехи, ставил средние отметки. Жаловаться никогда не было в обычае на старший класс; мы могли отомстить или плохими ответами, или наивным обличением неправды пред начальством. На второй год нашего перехода в большой класс принц Петр Георгиевич Ольденбургский, часто посещавший институт и знавший по фамилиям лучших учениц, на мое счастье, приехал к нам на урок немецкого языка; заняв, по обыкновению, место рядом с классною дамой за столом, перед окном и посмотрев отметки, он сказал m-lle Араловой, дежурной в классе, вызвать четырех девиц, сам задал тему на сочинение и заставил нас писать на доске. Мне, как более слабой по отметке, задал он написать письмо к родителям о болезни. Я скоро написала; он просмотрел, поправил (строго относился к непоставленным знакам препинания), сделал мне несколько вопросов из литературы и собственноручно поставил 12 баллов (В 1853 г. в учебных заведениях была введена 12-балльная система оценок (ранее оценки выставлялись без баллов, одним определением: отлично, удовлетворительно и т. п.). 12 баллов – высшая оценка. – *Прим. ред.*). Его Императорское Высочество настолько был милостив и внимателен, к тому же имел прекрасную память, что, посетив московский Екатерининский институт во время ответа сестры моей в его присутствии, передал ей якобы от меня посланный поклон, чего я не дерзнула бы сделать; а некоторым из воспитанниц передавал поклоны от их братьев-правоведов и обратно.

В младшем классе Иогансон учил чистописанию, а рисованию в обоих классах учились: рисовать цветы у г-на Мухина[98], а головы и фигуры у г-на Мохначева, причем чередовались, рисуя то с одним, то с другим учителем.

Танцам учила нас в маленьком классе актриса[99], а в старшем заменил ее актер Шелихов; в маленьком классе я редко танцевала, но все-таки выучилась танцевать менуэт, гавот и польский; эти три танца танцевали все воспитанницы на выпуске. Хотя я дома порядочно знала музыку (мать была хорошая музыкантша), но в институте уроки стоили дорого у лучших преподавательниц, во главе которых стояла m-lle Бендер. Одна ее громадная фигура производила на меня неприятное впечатление. Она была англичанка, с пронзительным голосом и наводила на

меня ужас, который увеличивался рассказами об ее строгостях: она била по рукам карандашом почтенных размеров так, что пальцы распухали. Однажды был случай с ее ученицей М., которая готовила урок на фортепиано, заданный Бендер на этот день. Погруженная в правильное исполнение звуков, она не слыхала, как дверь отворилась, и две дамы, стоявшие за ней, спросили: «Где же все ученицы?». Она встала по правилам института, сделала реверанс и вежливо отвечала, что в столовой, но что она не имеет права проводить их, репетируя урок музыки, да еще заданный Бендер, которая спуску не даст. Не окончила она своих жалоб, как раздался мягкий звук колокольчика. М. собрала свои ноты и помчалась по парадной лестнице в столовую, чтоб занять свое место по росту. Большие ростом сидели за первым столом, где во главе стола с краю стояло всегда пробное кушанье для царских особ и высоких посетителей. Когда М. вошла в столовую, то за ней показались две дамы, пред которыми распахнулись обе половинки двери; новенькая М. не видала еще ни разу наследницы-цесаревны. Мы приветствовали Ее Императорское Высочество восторженным приветствием: «Bonjour, Votre Altesse Imperiale!» («Здравствуйте, Ваше Императорское Высочество» *(фр.)*. – *Прим. ред.*). Ее Высочество с фрейлиной Долгоруковой[100] вошла, улыбаясь, в столовую, узнала девицу, откровенно ей отвечавшую, села возле нее на скамейку и милостиво с ней говорила. В другой раз она изволила прибыть так же неожиданно и проследовала в класс в половине пятого, во время урока Закона Божия. Назначенные обедать у maman уже отправились в столовую; m-lle Аралова сняла свои палевые перчатки и положила на стол, зная по традициям института, что в неурочное время высокие посетители не бывают. Священник в старой рясе уже кончал вызывать девиц, как послышалось смятение в коридоре, раздался звон царского колокольчика, обе половинки двери отворились, и взошла нежданная высокая посетительница с фрейлиною. Все с восторгом ее приветствовали; она прошла к столу, села на стул классной дамы, взяла журнал и вызвала нескольких девиц. Отвечали прекрасно, в особенности отличилась Дружинина, которой пришлось отвечать об обязанностях к государю и Отечеству. Высказав благодарность законоучителю, Ее Высочество, в сопровождении всего институтского персонала, обошла все классы, посетила лазарет, где я лежала больная в постели, села ко мне на кровать, расспрашивала подробно: что болит, чем кормят, довольна ли я уходом, и все по-русски. Потом она погладила меня по голове, а я поцеловала ей руку, осчастливленная, что видела ее так близко и удостоилась разговора. Узнав, что я из

первого садового отделения, она сказала, что дети очень хорошо отвечали свой урок, и что она довольна ответами. Затем, встав с постели и обратившись ко мне, изволила прибавить: «Выздоравливай скорее!». К приходу цесаревны все убрали, переменили белье, и без того всегда чистое, а m-me Ридигер и ее помощницы суетились, хлопотали, приводя все в порядок, и получили несколько благодарных слов от Ее Высочества. Иногда случалось, что ее посещения, всегда неожиданные, совпадали с свободными от занятий часами; тогда все собирались или в сад, или в рекреационную залу. Она имела обыкновение ходить взад и вперед, окруженная девицами всех классов, приказав предварительно распустить их на свободу и не держать колоннами по отделениям. Девицы все стремились, перебивая и подталкивая одна другую, приблизиться к Ее Высочеству, и когда, при конце аллеи или в конце залы, она изволила обращаться назад, то шедшие назади становились впереди и шли задом до следующего неожиданного поворота Ее Высочества. Иногда она останавливалась, подзывала какую-нибудь девочку и спрашивала ее о многих предметах; следствием этих расспросов была выдача нам даром некоторых вещей: тетрадей, карандашей, перьев, гребней, щеток, мыла и других мелочей, покупавшихся нами. Случайно она получила правдивый ответ от маленькой девочки на вопрос, когда были в бане, ответ, совершенно противоположный ответу начальства. Она изволила выразить свое неудовольствие и сказала нам: «Дети, говорите одну правду, я только этого и требую; берегитесь лжи». Исполняя это ее приказание, мы часто высказывали истины, не нравившиеся начальству, и оно не преследовало той, которая их говорила, так как боялось, что может дойти до сведения цесаревны. Так, в один из обедов, в присутствии принца Ольденбургского, сидевшего во главе стола и пробовавшего кушанья из мисок и блюд, подали пробную миску с габер-супом[101], которого мы терпеть не могли; да если б кто и вздумал из нас выловить чернослив и изюм, то подвергся бы презрению всего класса; раз навсегда было положено никогда не дотрагиваться до него. Видя, что тарелки стоят нетронутыми, принц заметил: «Pourquoi est-ce que vous ne mangez pas?» – «Nous ne l'aimons pas, votre Altesse Imperiale». – «Et pourquoi pas? L'est tres bon. Je l'aime bien moi». – «C'est si naturel, Votre Altesse Imperiale; c'est Votre soupe nationale» («Почему вы не едите?» – «Мы это не любим, Ваше Императорское Высочество». – «Но почему? Это очень вкусно. Мне очень понравилось». – «Это естественно, Ваше Императорское Высочество, это ваш национальный суп» *(фр.)*. – *Прим. ред.*). С этих пор супа не подавали, и нам за это не досталось. Сколько раз заставляли нас

краснеть маленькие! Однажды четвертушка Пекер потеряла в саду свой башмак во время толкотни в толпе. Башмак, по несчастию, попался на дорожке принцу Ольденбургскому; он поднял его на саблю, и владетельница злополучного башмака получила его от Его Высочества с глубоким реверансом. Покойная императрица Мария Александровна удивляла нас знанием русского языка, а еще более Закона Божия и жития русских святых. Говорят, что Николаевские институтки были оставлены еще на год за плохие ответы по этим предметам; это мы слышали от своего инспектора Ободовского. Императрица Александра Феодоровна удостаивала нас редким посещением; обыкновенно знали заранее об ее приезде. Она входила в класс, садилась на скамейку рядом с институткою и, подобно Марии Феодоровне, какая-нибудь счастливица снимала с нее теплые сапожки и надевала изящные туфельки, подаваемые фрейлиною. Не могу утверждать, но я слышала, что она не носила других туфель, как подносимых институтками; я могу только подтвердить, что от одного нашего института (а их сколько в России!) вышивалось более трех пар; это был верх изящества, роскоши и вкуса. Она обходила все классы, лазарет, проходила в сад, и мы все толпою ее окружали; она изволила обращаться к нам с вопросами на французском языке. Но в мое пребывание она не присутствовала ни на одном уроке, ни на одном экзамене, и мы сомневались, понимала ли она по-русски[102].

«Курсистка». Художник Н.А. Ярошенко. 1883 г.

В феврале 1854 года мы были все заняты одним вопросом: кто поедет на выпуск к смольнянкам, а в 1855-м к патриоткам[103]. Выбирались лучшие ученицы, и обязательно ездили сестры. В назначенный день выпуска, обыкновенно в феврале, присылались придворные кареты, и девиц 20 избранниц, одетых в белые изящные платья с пунцовыми лентами и кушаками, отправлялись с начальницей, инспектрисой и классной дамою к ним в гости. После угощения чаем хозяйки приглашали нас в залу осматривать выставленные работы и подарки императорской фамилии, а равно и рисунки выпускных, назначенные также на подношение. На каждой работе и рисунке приколота была записка с фамилией, чья работа и кому назначалась. Эта выставка роскошных, дорогих работ и изящных рисунков повторялась во всех трех наших первоклассных институтах; весь порядок выпускных, публичных и царских экзаменов был один, с программой музыки, пения и танцев. Ведь подарки и рисунки готовились в продолжение трех лет. В Смольном нам и патриоткам любезно все показывали хозяйки-смольнянки, пока нас не усадили на скамейки за колонны в зале слушать музыку и пение выпускных девиц, смотреть на танцы, которые кончались традиционным pas de chale (Танец с шалью *(фр.)*. – *Прим. ред.*), изображавшим громадную букву имени царствующей императрицы. По окончании торжества я просидела с сестрою, бывшею в голубом классе[104], до ужина и говорила с ее милыми подругами. То же самое повторялось и на выпуске патриоток и нашем.

Во все время пребывания моего в институте инспектор и учителя не позволяли себе делать никаких замечаний девицам; но зато выговоры и замечания слышали мы в изобилии от инспектрис, классных дам и пепиньерок, и иногда за такие пустяки, о которых не стоило и говорить, что только озлобляло виновную, а не исправляло ее. Все отделение провинившейся собирали в класс или дортуар, и начинались выговоры, укоризны и увещания. Если классную даму любили, ценили ее правдивость и беспристрастность, то ее слушали и стыдили девочку. Многие из воспитательниц делали великие ошибки и часто непоправимые: вместо того чтобы пожурить виновную наедине, они выставляли ее на посмешище подруг. Это делалось большею частью невольно, по беспечности, по незнанию характеров; но это не забывалось и не прощалось, в особенности если классную даму не любили, заподозривали в пристрастии, и тогда ее речи были для всех пустыми звуками и втихомолку подвергались

насмешкам; провинившуюся девочку не наказывали презрением, а сожалели, и классная дама не могла приобрести прочного влияния на своих воспитанниц. Проступки были следующие: плохо причесана голова, говорила во время урока, сидела сгорбившись и в пелеринке, забыла ключ в дортуаре от стола, запачкала чернилами руки, опоздала встать и лежала после звонка на кровати и т. д. Наказывать без обеда и снимать передник с провинившейся было запрещено принцем Ольденбургским. За особенные дерзости или за какой-нибудь проступок, из ряда выходивший, не пускали к родным во время приема, или не пускали кататься на Масленицу, или исключали из числа обедающих у maman; но эти наказания были очень редки.

Кроме музыки и уроков рисования некоторые брали уроки английского и итальянского языков. Французский и немецкий языки проходили все девицы, за исключением Софи Трубецкой, которой разрешено было не знать по-немецки; но ее заставляли усиленно заниматься русским языком, так что к концу выпуска она выучилась говорить и писать, а приехала со знанием двух слов: мужик и розги. Эта прелестная девушка была вдобавок ласкова и сердечна; ее обожали десятками и большие, и маленькие институтки. После выпуска ее сделали фрейлиной, и она вышла замуж за герцога Морни, а по смерти его – вторично, за испанского гранда герцога Сесто. Кроме концертов, елок и масок дозволялось играть на театре, который находился в третьем этаже, на конце дортуаров маленького класса, всегда запертый. По разрешению начальства его убирали, ставили декорации между арок, очень удобно устроенных для постановки пьес, которые выбирались с дозволения начальства, вроде «Bosieres de la Salency» («Бозьер из Соленси» *(фр.)*. – *Прим. ред.*) – в большом классе. Меня также выбрали играть в какой-то пьесе, не помню название, где высмеивали англичанку, говорившую по-французски. Эту роль играла наша первая ученица очень типично, так как она знала и по-английски. Декорации мы поправляли сами, т. е. разрисовывали их; сами шили костюмы или брали у родных; сами писали афиши и билеты, стараясь их получше разрисовать. На представление собиралось много родных, начальство, учителя, попечители института и очень редко принц Ольденбургский. В антрактах играли на фортепиано наши лучшие музыкантши. В старшем классе посылали нас, по приказанию императрицы, в образцовую кухню, по одной из отделения, и каждая из нас радовалась, когда приходила ее очередь. Чистая немка, в белом чепце и фартуке, готовила все сама, рассказывая нам, как что делать. Каждая из нас носила

пробное кушанье к maman, изготовленное якобы нами; мы были очень счастливы, что могли помогать в стряпне, но не вынесли никакого существенного знания в кулинарном искусстве; мне пришлось там быть всего раза два. Иногда и в кухню заглядывали важные особы, недалеко ушедшие в знании по этому предмету.

Слух о Восточной войне давно беспокоил нас и тяготил: ведь у каждой из нас болело сердце за близких родных или знакомых. Неудачи огорчали и оскорбляли наши чувства, и мы старались по мере сил быть полезными: щипали корпию (нитки, нащипанные из полотняной мягкой ветоши; перевязочный материал, заменявший в XIX в. вату. – *Прим. ред.*), шили рубашки для раненых, устроили лотерею из своих работ и жертв и собрали до тысячи рублей, отосланных им в помощь. Слухи одни других печальнее доходили до нас. В особенности поражены мы были известием о выходе гвардии из Петербурга: значит, дела наши были плохи! Быть может, много распространялось прибавлений и неверных критических замечаний, но мы с жадностью ловили голословные заявления; верили безусловно многим родным и знакомым, близко стоявшим к высшей администрации, и г-ну Вержбиловичу, сообщавшему нам много интересного и называвшего Севастополь бойнею, куда посылаются наши молодые силы. Суждения его были резки и правдивы, я могла их впоследствии проверить с рассказами двух моих братьев, участвовавших в войне: один (младший) был переведен в Севастополь из улан, во Владимирский пехотный полк, отличился с охотниками, был контужен в голову и грудь, вследствие чего вскоре лишился рассудка и теперь живет у меня. Второй (старший) прошел туда из гвардии. Часто толковали они при мне о составлении правдивых сказаний о войне, и я знаю, что старшим были подробно написаны заметки о том; но когда он хотел их напечатать, то ему их возвратили с письмом его знакомого генерала Г., и теперь еще находящегося в живых, следующего содержания: «Любезный товарищ, ваши записки превосходны, но несовременны; много действующих лиц еще живо». А когда императору Александру III, тогда еще наследнику-цесаревичу, как и его святой покойной матери императрице, захотелось узнать одну правду, хотя и предосудительную, о Восточной войне и собрать все сведения о ней, а в особенности об обороне Севастополя, то старший брат умер, а куда девались его записки, неизвестно.

Мы переносили все гонения за то, что в назначенный день не говорили по-французски, и с гордостью носили вырезанный из картона язык, надеваемый на шнурке на шею в наказание; наказывали презрением француза и англичанку Бендер и за их

жалобы терпели выговоры и замечания. В один из таких печальных дней, когда m-lle Аралова поутру читала нам вслух реляции князя Горчакова[105] и со своею всегдашнею наивностью в числе убитых прочла имена двух братьев девушки первого садового отделения Нади Попандопуло[106], мы все обернулись в ее сторону и увидали ее горько плакавшею; она едва сквозь слезы проговорила: «Слава Богу, что они умерли за царя и отечество». Мы почти все бросились ее утешать, сознавая, что и мы не избегнем той же участи. В этот день за обедом у maman (где кроме двух нас, очередных, ежедневно обедали ее племянница, Соня Трубецкая и Наташа Черевина) были и важные особы; конечно, без разговоров о войне не обошлось. Дунечка Родзянко, более решительная и правдивая, вмешавшись в разговор, заметила: «Сколько в истории восхваляют героинь Греции и Рима, а в настоящее время сколько их найдется у нас по нашей пространной России; возьмите пример хотя в нашей подруге Попандопуло: у нее убито два брата, единственная поддержка семьи, горе ее безысходное, а с каким героизмом сказаны были ею слова: «Слава Богу, что братья умерли за царя и отечество! «». Наверно не знаю, кто (говорят, maman) довел об этом до сведения императрицы, пожелавшей увидеть Надю и наградившей ее подарком, а после наведенных справок оказалось, что остался у нее один старик-отец без средств; ему по высочайшему повелению выдали пенсию в тысячу рублей, которая после его смерти перешла к дочери. Maman всегда старалась быть полезною; к тому же она была очень добра и справедлива, ласкала и утешала, если у кого было горе или несчастие, и посылала в лазарет больным то одного, то другого лакомства. Это была исключительно русская барская натура. Она предлагала богатым родным платить за музыку или другие уроки, если девочка не имела средств, а имела желание или необходимость, и делала это так внушительно, что не получала отказа. Да и приглашение обедать к себе много помогло нам после выпуска в умении держать себя в обществе. С ее кончиной, говорят, в числе многих нововведений честь обедать у maman уже не выпадает более на долю институток.

В большом классе потрясло нас событие, из ряда выходящее: это смерть классной дамы Семеновой. Нас водили прощаться с ней в церковь, во время чтения псалтыря каким-то необыкновенно странным человеком, у которого одна сторона лица нервно дергалась; долго боялись мы его и ночью от страха будили одна другую. Говорят, что она умерла от огорчения; у нее пропали деньги, которые она скопила в Институте; кто их похитил, никак не могли открыть. Мы еще с переходом в старший класс стали

замечать, что то у одной, то у другой из нас пропадают вещицы поценнее; хотя мы не смели иметь денег, но у большей части они были и тоже пропадали. В нашем классе была одна девочка, очень богатая, у которой была мания – присвоения чужой собственности: карандашей, тетрадей, наперстков; у кого что пропадало, прямо обращались к ней, она отдавала назад; или сами брали из ее ящиков. Но ценных вещей она никогда не трогала. Когда пропало у maman из столовой серебро (уже после нашего выпуска), открылось, что вором был наш институтский слесарь Штейн. Он поддельным ключом отпирал шкапы в классе и шкатулки девиц с хранившимися там ценными вещами, а также столы в дортуарах, и выбирал, что ему нравилось. У него во время обыска нашли много мелочей: колец, брошек, крестов, цепочек, черепаховых гребней, несессеров и проч. Я также поплатилась: у меня пропала в день выпуска золотая цепочка с крестиком и три золотых кольца. Скорее всего, они были украдены во время обеда.

С разрешения начальства бывшие институтки венчались у нас в церкви, и мы с любопытством поджидали прохода по коридору свадебного кортежа. Мне памятнее всего свадьба Веры Владимировны Панаевой с Толстым[107]; многие ее обожали. Это была чудная, красивая девушка и прелестна в своем белом свадебном платье.

В продолжение трех лет старшего класса нами приготовлялись работы для подношения царственным особам, нашим и иностранным, которые, посещая институт, всегда присылали гостинцы. Более всего мне памятны присылки конфект и мороженого от императриц, принца Ольденбургского и персидского шаха, прислaвшего несколько пудов конфект с чудными картинками и вещицами. Мне в числе конфект досталась одна с брошкой. Ему за это поднесли прелестно вышитую подушку. К концу нашего выпуска императрице Александре Феодоровне готовили прелестный серый капот из мягкой шерстяной материи, вышитый широким узором под цвет шелками, суташем (шелковый рельефный шнур или тесьма для отделки. – Прим. ред.) и тесемочками; императрице Марии Александровне – шитый белый батистовый капот, а более прелестно вышитое платье великой княжне Марии Александровне (broderie anglaise)[108]. Богатую из золотого глазета салфетку, с наложенными из бархата цветами, прикрепленными шелками и блестками, поднесли мы великой княгине Елене Павловне. Кроме этих подарков приготовлено было несколько пар изящно вышитых по бархату шелками и золотом туфель, подушек. В белошвейной мастерской, кроме тонкого белья, которое шилось

нами и отдавалось неизвестно кому, в продолжение трех лет вышивался ковер в спальню императрицы; за составление узора для него было дорого заплачено одному знаменитому художнику; ковер состоял из 12 и более кусков, чтобы удобнее было вышивать нескольким девицам с обеих сторон. Из нарисованных картин лучшие выбирались и подносились в подарок высокопоставленным лицам, как светским, так и духовным. Мою картину (Христос в терновом венце) назначили митрополиту Никанору[109], а Св. Варфоломея – кому-то из архиереев. На каждой работе обозначалось на приклеенном билетике, кто работал или кто рисовал, и кому назначалось.

В 1855 году усиленно начались и научные занятия: мы сильно боялись инспекторских экзаменов, где производилась действительная оценка познаний, а публичные и царские экзамены были только исполнением торжественных обычаев, на коих присутствовали царские особы, родные и знакомые. Но репетиции к ним нас изводили: как встать, как подходить, отходить, брать билеты, делать ровно и грациозно реверанс и прочие мелочи. Репетиции начались с 8 января вскоре после окончания инспекторских экзаменов, на которые соединяли оба отделения. На этих экзаменах, продолжавшихся три дня, присутствовали только принц Ольденбургский, министр народного просвещения, генерал Броневский, граф Борх, а на Законе Божием – духовные светила церкви. Институток вызывали по алфавиту к столу по десяти в ряд, и они отвечали по вопросам или по билетам.

В феврале 1855 года стали говорить о болезни императора[110]. Зная его сильную натуру, мы ничего не подозревали, как 18 февраля утром было получено ужасное известие, что здоровье его плохо. В 10 $^{1}/_{2}$ час[ов] утра весь институт собрался в церковь слушать молебен и просить Всевышнего о ниспослании исцеления обожаемому монарху. Непритворные слезы лились у многих; не только мы, дети, любили и умели ценить его, но кто же не любил этого с виду сурового, но всегда справедливого государя за его нравственные качества? Даже у нас, таких юных и незрелых в деле житейском, потихоньку говорилось, что венценосный страдалец умер вследствие того, что узнал о многих злоупотреблениях своих приближенных, которые обманывали его, почти все мудрые распоряжения его или искажали, или не выполняли, а доносили ему все в превратном виде. Это поняли и мы, девочки, и еще более жалели государя. Эти вести доходили к нам от братьев и от многих знакомых и родных наших институток, которые прекрасно знали все, что делается в придворных сферах, а некоторые даже

сами стояли высоко при дворе, но говорили тихо, опасаясь, чтобы их не коснулись подозрения.

В половине второго часа maman сама пришла к нам сказать, что императора не стало[111]. Повсюду поднялись страшные рыдания, горе было всеобщее, потрясающее, неожиданное, единодушное и искреннее. Нас увели в дортуары, где мы, заливаясь слезами, рассказывали одна другой про все слухи о его болезни и про разные происшествия на театре войны. Письма, посылаемые оттуда, не отдавались нам и большей частью пропадали, что я испытала на себе; ведь нераспечатанное письмо никогда не отдавалось воспитаннице. Мы понимали, в какое время скончался император. К тому же ходили слухи, что фабричные и народ бунтуют, приписывая смерть такого здорового, полного сил монарха отраве, которую будто поднес ему лейб-медик Мандт[112], взяв за это огромную сумму с англичан; что толпа требовала выдачи Мандта, отправилась к его дому с целью его убить, но будто бы его спрятали в Зимнем дворце. Все находившиеся со мною в одно время в институте не откажутся в том, что это все говорилось и выдавалось за истину.

Нам сшили траур, передники из черного кашемира, дали черные платки и объявили, что пансионерок покойного императора повезут в крепость прощаться. А сколько из нас придумывали средства бежать из института, чтоб в последний раз посмотреть на незабвенные черты, помолиться и поклониться его праху! Конечно, это были одни мечты; была ли возможность уйти из института? И так только одни пансионерки его удостоились этого печального счастья. И опять, как всегда, в придворных каретах в назначенный час нас повезли в крепость. Мы были потрясены и горько плакали: торжественно-печальная обстановка сильно на нас действовала; тихое чтение священника, на возвышении гроб, покрытый белой кисеей, везде черный бархат с горностаями и глубокий траур. На ступеньках, ведущих к гробу, стояли офицеры с саблями наголо. Лицо его было закрыто кисеей или белым батистом; мы его не видали, целовали икону через покрывало и руку покойного. Стоявшая у изголовья графиня Баранова[113] нам указала, куда прикладываться. В изголовье на маленьких табуретках, покрытых золотою парчою, лежали регалии покойного, и здесь же стоял горько плакавший седой генерал; нам сказали, что это Ермолов[114]. Мы не успели даже оглянуться, как нас поспешили увести, так как начиналась придворная панихида.

В продолжение этого печального года мы кончили весь курс наук и готовились к выпускным экзаменам. В промежутках нас посещало много придворных лиц; более всех на меня сделала

впечатление своим траурным костюмом графиня Баранова; ее прислала императрица Мария Александровна присутствовать на каком-то уроке. Одета она была в длинное с шлейфом черное суконное платье с белым полотняным воротничком и рукавчиками, а на голове батистовый белый чепец с широкой оборкою, нагофренною кругом лица. Моя бабушка всегда носила подобные, и я с умилением на нее смотрела.

Наконец, после Рождества, начались и самые экзамены. Экзамен Закона Божия продолжался три дня, и хорошо отвечавших maman звала к себе завтракать вместе с гостями. Это было верхом их счастья, потому что почти все обожали архиерея Макария (позднее митрополита Московского). Он дивно был божествен в службе, и его бледное, худое лицо, окруженное черною бородой, и выразительные глаза делали его святым. Сколько спрятано было у многих на память лоскутков бумажки, где он отмечал ответы девиц или брал в руки записки фамилий отвечавших или больных. Мне на экзамене досталось написать на тему: «Освящение храма и чувства каждого христианина в это время»; по-французски «Si j'etais petit oiseau»; по-немецки «Morgen im Dorfe» («Если бы я была птичкой» *(фр.);* «Утро в деревне» *(нем.). – Прим. ред.*).

Окончив инспекторские экзамены, мы были совсем покойны в ожидании царских и публичных: здесь уже не предстояло опасности провалиться; заранее каждая знала, у кого что будет отвечать. На это обыкновенно составлялись советы учителей, которые делили девиц, долженствовавших отвечать у каждого из них. Иногда не обходилось и без споров между ними: каждому учителю хотелось, чтоб у него отвечала лучшая. На публичных экзаменах посторонние вопросы редко предлагались, но на царских очень часто сама императрица или приехавшие с ней особы царской фамилии и другие почетные лица, с ее разрешения, делали вопросы, совсем неожиданные, на которые следовало отвечать с толком, чего сильно боялись учителя, так что они подчас старались нас задабривать, ставя лишний балл, а иногда как будто не замечая невнимания хорошей ученицы, занятой перепискою тетради или чтением книги, что строго запрещалось и наказывалось, если учитель приносил жалобу классной даме.

Все выставленные рукоделия и картины смотрели родители и посетители, которых не пускали иначе как по билетам, выдаваемым институткам по их просьбе с надписью, кому они назначаются. Всех выпускных было 145 девиц, но многие были взяты до экзамена больные или не желавшие экзаменоваться. Посетители сидели за колоннами; но так было много желающих

смотреть и присутствовать на выпуске, что приемная зала была полна, и молодежь стояла большими толпами за лавочками. В нашем выпуске, скажу без прибавления, было много красавиц, и молодежи интересно было посмотреть на хорошенькие свежие лица, изящные фигуры, так стройно выполняющие танцы в своих белых, воздушных, одинаковых платьях с пунцовыми лентами. В особенности безукоризненно исполнили последний танец, финал, где самые большие ростом танцевали с белыми воздушными шарфами из газа, средние с овальными большими венками и самые маленькие, из четвертушек, с корзиночками цветов в руках. Все это окончилось изображением начальных букв имени императрицы.

Эти два месяца, январь и февраль, мы жили точно в чаду: приезды родных, примерка платьев, белья и прочих предметов; только и видишь портних, входящих со свертками в дортуары или комнаты дам и обратно выходящих. Везде движение, суета, хлопоты, что-то необыкновенное творилось в стенах спокойного и всегда чинного института, по всем коридорам слышались смех, говор, и никто уже не смел возвысить голос «Silence, mesdemoiselles». Мы, выпускные, как будто на свободе, все ждали, когда императрице угодно будет назначить выпуск и, главное, царский вечер.

Наконец получено уведомление от двора, что 18 февраля назначен приезд всех выпускных в Зимний дворец, где бала не будет по случаю годовщины смерти императора, а будут экзамены, потом музыка, пение и танцы, одинаково с программой публичного экзамена. 18 февраля еще только рассветало, а мы уже все поднялись, толкуя о предстоявшем счастии ехать во дворец. Все были страшно возбуждены: вдруг не поедем во дворец или выпуск отложат? С нетерпением ждали мы этого памятного дня; но когда он наступил, у большей части выпускных появилась на лицах задумчивость и даже грусть! Жаль было и родных институток, и классных дам, и начальство, и maman.

В дортуаре

Наконец горничные разложили наши выпускные платья, каждой по номерам на постель; зеленые мантошки на вате, теплые калоши и красные шарфы разложены были в зале. Фасон платьев выбирался всегда самою императрицею, для чего обыкновенно три или более девушки за несколько времени до выпуска, в сопровождении maman, ездили во дворец, где Ее Величество удостаивала сама осматривать фасоны платьев, которые всегда и у всех трех первоклассных институток[115] были белые с различными лентами. У нас были прелестные кисейные платья, с затканными внизу юбки полосами и с пунцовыми лентами на плечах и поясе, у смольнянок – голубые, у патриоток – белые. Платья, конечно, были decolletees et manches courtes (Декольте и с короткими рукавами *(фр.)*. – *Прим. ред.*), на шее белый газовый шарф. За платье мы вносили в казну десять рублей.

Еще не все были одеты, как пришла инспектриса осмотреть наш туалет и объявить, что пора собираться в залу, где каждой выпускной, ехавшей за даму, вручен был листок с фамилиями девиц, которые отправлялись во дворец в одной карете с нею. Наконец в пятом часу кареты с придворными лакеями присланы. Вызвали по фамилиям девиц, ехавших с начальницей в первой карете, с инспектрисами, с классными дамами, а потом девиц, ехавших позади. Все по очереди выходили в швейцарскую, где

после данного знака нашим институтским полицеймейстером, что все уселись, двинулись ко дворцу. По указанию камер-лакея, я со вверенными мне девицами взошла в назначенную нам комнату, довольно обширную и ярко освещенную, во всю длину которой стояли столы, накрытые белою скатертью, и на них множество маленьких и больших серебряных чайников с чаем и кипятком, с грудой различных печений, с молочником сливок и блюдцами с лимоном. Каждая девица наливала себе сама и кушала что и как хотела; но все были в таком возбуждении, что было не до еды. Здесь перед зеркалами разложено было все, что могло потребоваться из принадлежностей туалета. Когда мы поправили свои прически и платья, то нас отвели в залу, где мы ожидали в страшном волнении раздачи наград. Нас заранее учили, как подходить, как становиться на левое колено, чтоб императрице было удобнее приколоть шифр к левому плечу. В семь часов раздался голос инспектрисы: «Mesdemoiselles les chiffrees, avancez. Sa Majeste l'lmperatrice vous demande» («Барышни, награждаемые шифром, проходите. Вас требует Ее Величество Императрица» *(фр.)*. – *Прим. ред.*). Десять шиферниц вышли со всех концов залы и пошли за нею; проходили много комнат, но шли так скоро, и от волнения и ожидания я не могла ничего вспомнить: все смешалось в голове. Но вот остановились мы в большой зале, где находились начальница и инспектор. Вся мебель золотая была обита красным бархатом или какой-то материей; комната была разделена на две половины золотыми столбами, задрапированными красною материей, не доходившею до потолка. Посредине стояла огромная ваза из малахита с тропическими растениями, около окна на возвышении столик с золотыми ножками, на котором лежал альбом, поднесенный Ее Величеству кавалергардами, в числе которых были два сына maman[116], и она обратила наше внимание на этот альбом, почему это и осталось у меня в памяти. Во всю длину комнаты лежал пушистый ковер, на который после раздачи наград споткнулась maman, падая, ударилась о малахитовую вазу или стол и сломала себе руку, так что ее немедленно отвезли домой. Это случилось в то время, когда десять шиферниц оставались еще на половине императрицы Александры Феодоровны; поэтому я не была свидетельницей происшествия, а пишу понаслышке.

Императрица Мария Александровна взошла в залу вся в белом и с белыми цветами на голове, величественная, обожаемая нами; мы все с восторгом ее приветствовали. Она передала нам, что императрица Александра Феодоровна как начала свое царствование раздачей шифров институткам Екатерининского института, то и хочет окончить нашим выпуском, а потому нас

десять и повели в апартаменты императрицы-матери. Остальные же девицы получили золотые и серебряные медали из рук Марии Александровны.

Нас привели в комнату, сравнительно небольшую; в глубине стоял диван, обитый синим, перед ним овальный стол, с правой стороны было два окна, спинами к которым нас поставили, и мы сделали низкий реверанс всем присутствующим. Александра Феодоровна сидела на кресле, выдвинутом вперед стола, на котором на серебряном подносе лежали шифры; под ее ногами стояла скамеечка, мягкая, обитая синим же, и кругом масса цветов и растений; на диване сидела великая княгиня Мария Николаевна с дочерью Мариею Максимилиановною, и стояли дамы, а также и великие князья Михаил и Николай Николаевичи[117]. Мне показалось, что это была та же гостиная, в которой я была прежде с княжною Трубецкою. По своему обыкновению, императрица нас обычным образом приветствовала: «Bonjour, mes enfants». Мы не имели счастия ее видеть более года и нашли Ее Величество сильно изменившеюся: глаза были тусклые, голова заметно тряслась, и она сильно похудела. Обратившись к нашему инспектору, она приказала читать фамилии награжденных девиц, а принц подавал шифры, и каждая из десяти по очереди подходила, становилась на левое колено на скамеечку и подставляла левое плечо императрице, которая прикалывала собственноручно булавкой, подаваемой ей фрейлиной; после чего каждая, поцеловав ручку Ее Величества, отвечала на вопросы, а потом, сделав низкий реверанс, отходила задом на свое место к окну, где и была удостаиваема милостивыми разговорами присутствующих особ царской фамилии. А великие князья, как ученики нашего инспектора Ободовского[118], изволили благосклонно обращаться к нам с вопросами о нем, об его преподавании, строгости, и, несмотря на присутствие иИмператрицы и этикета, мы не могли не улыбаться шуткам Их Высочеств.

Начальница и инспектор классов удалились по раздаче шифров, чтобы продолжать раздачу наград прочим девицам императрицею Марией Александровной. Великие князья подвинули кресло с императрицей к окнам, т. е. к нам, и она изволила милостиво говорить с нами, спрашивать про семейства, куда кто уедет жить и пр. Мы оставались несколько времени с одною императрицею и фрейлиною, пока она не обратилась к нам: «Adieu, mes enfants; ta faiblesse ne me permet pas d’assister a votre soiree et voir vos succes» («Прощайте, дети. Слабость здоровья не позволяет мне присутствовать на вашем вечере и видеть ваши успехи» *(фр.)*. – *Прим. ред.*). Мы поцеловали

протянутую руку с большою грустью, вполне уверенные, что более ее не увидим.

Раздача наград окончилась. Десять получили золотые, десять серебряные медали и две браслеты, которые давались девицам, поступившим в старший класс, учившимся прекрасно, наравне с шиферницами, но бывшим менее трех лет в институте, а потому не имевшим права на шифр. Нас отвели в залу, уставленную рядами стульев; посредине стояли рояли, на которых исполнялись те же пьесы и теми же воспитанницами, что и на публичном экзамене, а равно и пение и танцы, после которых надлежало быть балу, отложенному по случаю дня кончины императора Николая.

Здесь присутствовала почти вся царская фамилия. Наследник-цесаревич и великий князь Александр были в кадетских мундирчиках, как мы часто их видели и прежде, а великие князья Владимир и Алексей Александровичи были одеты по-русски, в белых шелковых рубашках, подпоясанных серебряным поясом. Было множество генералов и придворных обоего пола. Здесь мы удостоились видеть в первый раз великую княгиню Александру Петровну[119]. Потом нас угостили роскошным ужином; сидели только за одним столом и ужинали одни институтки, осчастливленные присутствием великой княжны Марии Максимилиановны, которая также сидела с нами за ужином, а великая княгиня Мария Николаевна изволила долго разговаривать с княжною Трубецкой. Потом нас угощали различными фруктами, разносимыми в огромных вазах в конце ужина камер-лакеями, и заставляли брать больше тех, которые стеснялись; но масса бутылок с винами на столе так и осталась нетронутой, в пользу придворной прислуги.

Каждая из нас получила по бомбоньерке с конфектами, и мы тем же порядком возвратились в институт. Рядом, в другой зале, ужинали все начальствующие лица и учителя института.

Наконец настал и день выпуска, день желанный и памятный всем. После молебна мы все переоделись в собственные платья и ходили прощаться с maman, инспектрисами, классными дамами и со своими обожательницами в младший класс. Но когда началось уже окончательное прощание друг с другом, тогда повсеместно послышались рыдания и уверения в дружбе, обещания не забывать друзей, писать и пр.

Одно скажу, и скажу истину, что где и когда бы мне ни случалось встретиться с институтками моего выпуска, я, кроме радости, внимания и участия, ничего не встречала с их стороны. Хотя многие по своему общественному положению стояли очень высоко, но всегда старались помочь и советом, и ходатайством

своим товаркам, а многим помогали и деньгами и отысканием мест.

Елизавета Николаевна Водовозова *(1844–1923)*

Водовозова Елизавета Николаевна (урожд. Цевловская; 1844–1923) – детская писательница, педагог. Дочь небогатого смоленского помещика Н.Г. Цевловского, умершего, когда Елизавете было 4 года.

В 1855–1861 гг. обучалась в Смольном институте. Ее пребывание здесь совпало с реформой женских учебных заведений, которую в Смольном осуществлял известный педагог К.Д. Ушинский. Еще в институте Елизавета Николаевна стала невестой своего учителя словесности В.И. Водовозова (1825–1886), а сразу по выпуске вышла за него замуж.

Журфиксы («вторники») Водовозовых в 1860–1880-х гг. посещали многие народнически настроенные педагоги, литераторы, журналисты (А.В. Слепцов, П.И. Якушкин, С.В. Максимов, К.Д. Ушинский, Г.З. Елисеев и др.).

С 1863 г. Водовозова регулярно писала для детей и на педагогические темы, сотрудничала с журналами «Детское чтение», «Народная школа», «Голос учителя» и др. Овдовев в 1886 г., вновь вышла замуж за известного историка В.И. Семевского (1848–1916). С 1880-х гг. часто обращалась к мемуаристике (К.Д. Ушинский и В.И. Водовозов. Из воспоминаний институтки // Рус. старина. 1887. № 2; Дореформенный институт и преобразования К.Д. Ушинского // Рус. богатство. 1908. № 7–11, и др.), составила в итоге книгу «На заре жизни» (СПб., 1911). Вторая часть мемуаров Е.Н. Водовозовой «На заре жизни», включенная в сборник, печатается по этому изданию.

На заре жизни
Избранные главы

Дореформенный институт [120]

Смольный монастырь. – Прием «новеньких». – Начальница Леонтьева. – Ратманова. – Бегство Голембиовской

Институт в прежнее время играл весьма важную роль в жизни нашего общества. Институтки в качестве воспитательниц и учительниц, как своих, так и чужих детей, очень долго имели огромное влияние на умственное и нравственное развитие целого ряда поколений. Однако, несмотря на это, правдивое изображение института долго было немыслимо. В прежнее время в печати можно было либо говорить только о внешней стороне жизни в институте, либо восхвалять воспитание в нем. Это тем более странно, что цензура уже давно начала довольно снисходительно относиться к статьям, указывающим недостатки учебных заведений других ведомств. Но лишь только касались закрытых женских учебных заведений и в них указывались какие-нибудь несовершенства, такие статьи пропускали только в том случае, когда выражения «классные дамы», «начальница», «инспектриса», «институтка» были заменены словами «гувернантки», «мадам», «пансион», «пансионерка» и т. п.

В этом очерке я говорю исключительно о Смольном, этом древнейшем и самом огромном из всех подобных образовательных учреждений. Он долго служил образцом для устройства не только остальных институтов, но и многих пансионов и различных женских учебных заведений. Мне кажется, небезынтересно познакомиться с результатами воспитания в Смольном, в основу принципов которого его основателями (Екатериною II и Бецким) были положены передовые идеи Западной Европы.

В числе способов обучения устав этого воспитательного среднеучебного заведения требует ««паче всего возбуждать в воспитываемых охоту к чтению книг, как для собственного увеселения, так и для происходящей от того пользы». Он вменяет в обязанность «вперять в них (детей) охоту к чтению» и ставит непременным условием иметь в заведении библиотеку. Кроме того, устав возлагает на воспитателей обязанность «возбуждать в детях охоту к трудолюбию, дабы они страшились праздности, как

источника всякого зла и заблуждения». Он указывает на необходимость научить детей «соболезнованию о бедных, несчастливых и отвращению от всяких продерзостей». Мало того, для сохранения здоровья предписывается увеселять юношество «невинными забавами», чтобы искоренять все то, что «скукою, задумчивостью и прискорбием назваться может». Путем такого гуманного воспитания императрица Екатерина II думала создать в России новую породу людей.

Что эти мечты Екатерины II не могли осуществиться в ее царствование, когда Россия была погружена в беспросветный мрак невежества, – это понятно, но посмотрим, что представлял собой институт почти через сто лет после своего основания.

В одно ясное, солнечное, но холодное октябрьское утро я подъезжала с моею матерью[121] к Александровской половине Смольного (Смольный институт, основан в 1764 году): до начала в нем нововведений, то есть до 1860 года, он состоял из двух учебных заведений – Общества благородных девиц, или Николаевской половины, и Александровского училища, или Александровской половины. На Николаевскую половину принимали дочерей лиц, имеющих чин не ниже полковника или статского советника, и потомственных дворян; на Александровскую половину – дочерей лиц с чином штабс-капитана или титулярного советника до полковника или коллежского советника, а также детей протоиереев, священников, евангелических пасторов и дочерей дворян, внесенных в третью часть дворянской книги[122]. Оба эти огромные заведения состояли под главенством одной начальницы и одного инспектора. Лишь через сто лет после основания Смольного состоялось отделение Александровской половины от Николаевской, то есть полное обособление одного института от другого. С этого времени Александровская половина Смольного получила особую начальницу и своего инспектора. Это разделение произошло по желанию императрицы Марии Александровны, обратившей внимание на неудобства совместного существования двух огромных институтов. Я описываю преимущественно воспитание на Александровской половине Смольного перед эпохой реформ и во время ее *(прим. Е. Н. Водовозовой.)* с тем, чтобы вступив в него, оставаться в нем до окончания курса. Но высокие монастырские стены, которые с этой минуты должны были изолировать меня на продолжительное время не только от родной семьи, но, так сказать, от всех впечатлений бытия, от свободы и приволья деревенского захолустья, откуда меня только что вывезли, не смущали меня. Матушка много рассказывала мне об институте, но, не желая,

вероятно, волновать меня, недостаточно останавливалась на его монастырской замкнутости: все ее рассказы оканчивались обыкновенно тем, что у меня будет много-много подруг, что с ними мне будет очень весело. В детстве я страдала от недостатка общества сверстниц, и это известие приводило меня в восторг. Мое настроение было такое бодрое, что меня не смутил и величественный швейцар в красной ливрее, который распахнул перед нами двери института.

Не успели мы еще снять верхнюю одежду, как в переднюю вошли дама с девочкой приблизительно моего возраста. Как только мы привели себя в порядок, к нам подошла дежурная классная дама, m-lle Тюфяева, по внешности особа весьма антипатичная, очень старая и полная, и заявила нам, что инспектриса, m-me Сент-Илер[123], не может нас принять в данную минуту: «Вы не только опоздали на три месяца привезти ваших дочерей, но и сегодня вас ожидали к девяти часам утра, как вы об этом писали. К этому времени приглашены были и экзаменаторы. Теперь одиннадцать часов, и учителя заняты…».

Моя матушка и m-me Голембиовская начали извиняться, но m-lle Тюфяева, не слушая их, попросила нас всех следовать за нею в приемную; при этом она, не переставая, ворчала на наших матерей, и ее однообразная воркотня раздавалась в огромных пустых коридорах как скрип неподмазанных колес.

Когда классная дама вышла из комнаты, мне захотелось поболтать с новою подругою, но это не удавалось: она стояла около своей матери, то прижимаясь к ней, то нервно хватая ее за руки, то припадая к ее плечу и жалобно выкрикивая: «Мама, мама!», а слезы так и лились из ее глаз.

Мать и дочь Голембиовские были чрезвычайно похожи друг на друга, но так, конечно, как может походить тридцатипятилетняя женщина на десятилетнюю девочку. Обе они были брюнетки, с большими черными глазами, бледные, худощавые, с подвижными лицами и правильными, красивыми чертами лица, обе одеты были в глубокий траур, то есть в черные платья, обшитые белыми полосами, называемыми тогда плерезами.

Не получив поощрения со стороны моей будущей подруги Фанни для сближения с нею, я стала прислушиваться к разговору старших. Вот что я узнала. M-me Голембиовская была полька-католичка, как и ее муж, который умер несколько недель тому назад. Оставшись с дочерью Фанни без всяких средств, она переехала из провинции в Петербург и поселилась в семье своего родного брата, который зарабатывал хорошие средства, но имел большую семью. Г-жа Голембиовская занималась у него

хозяйством и обучала его детей иностранным языкам, которые она хорошо знала. Ее брат выхлопотал для Фанни, своей племянницы, стипендию у какого-то магната, которая и дала возможность поместить ее в институт.

Прозвонил колокол, и к нам вошли пепиньерка (воспитанницы педагогического класса назывались пепиньерками. Кроме слушания лекций в институте, они должны были дежурить в кофейном, то есть младшем, классе во время болезни классных дам и спрашивать в это время уроки у маленьких. Пепиньерки одевались лучше и красивее всех остальных воспитанниц: их форменное платье – серое с черным передником, с кисейною, а по праздникам и с кружевною пелеринкою. В праздничные дни они пользовались правом уезжать по очереди домой. – *Прим. Е. Н. Водовозовой)* и учитель русского языка: первая должна была заставить меня ответить молитвы и проэкзаменовать нас обеих из французского языка, а учитель – из русского. Экзамен был совершенно пустой и благополучно сошел для нас обеих. Через несколько минут m-lle Тюфяева повела нас, новеньких, одеваться в переднюю. Мы должны были явиться к начальнице вместе с нею и отправились по бесконечным холодным и длинным коридорам. Туда же обязаны были явиться и наши матери, но им приходилось сделать эту дорогу не коридорами, которыми ходили лишь люди, так или иначе прикосновенные к институту, а по улице, и войти к начальнице с подъезда Николаевской половины.

Мне так хотелось увидеть поскорее моих будущих подруг, что у меня моментально вылетел из головы грубый прием m-lle Тюфяевой; не обратила я внимания и на официальное выражение ее лица и непринужденно начала засыпать ее вопросами:

– Где же девочки, тетя?

– Я тебе не тетя! Ты должна называть классных дам – mademoiselle…

Сердитый окрик заставил меня замолчать. Но вот и приемная.

Елизавета Николаевна Водовозова (урожденная Цевловская, по второму мужу Семевская; 1844—1923) – русская детская писательница, педагог, мемуаристка; в первом браке жена педагога В.И. Водовозова

Начальница Смольного, Мария Павловна Леонтьева[124] (урожденная Шилова, Мария Павловна получила образование в Смольном. Вскоре после окончания ею курса императрица Мария

Федоровна назначила ее фрейлиной к своей дочери, великой княгине Екатерине Павловне, вышедшей впоследствии замуж за принца Георгия Ольденбургского. Затем Мария Павловна Шилова вышла замуж за генерала Леонтьева, но когда ей было 45 лет, она овдовела и была пожалована императрицей Александрой Федоровной гофмейстериной ко двору своей дочери, великой княгини Марии Николаевны, бывшей замужем за герцогом Лейхтенбергским. В 1839 году Леонтьеву назначили начальницею в Смольный, где она прослужила тридцать шесть лет и умерла на своем посту восьмидесятидвухлетней старухою. Таким образом, сорок пять лет своей жизни Леонтьева провела в институте, из них девять лет как воспитанница, а тридцать шесть лет как его начальница. – *Прим. Е. Н. Водовозовой*), была в это время уже старухой с обрюзгшими и отвисшими щеками, с совершенно выцветшими глазами без выражения и мысли. Ее внешний вид красноречиво говорил о том, что она прожила свою долгую жизнь без глубоких дум, без борьбы, страданий и разочарований. Держала она себя чрезвычайно важно, как королева первостепенного государства, давая чувствовать каждому смертному, какую честь оказывает она ему, снисходя до разговора с ним.

Она действительно была немаловажною особой: начальница старейшего и самого большого из всех институтов России, она и помимо этого имела большое значение по своей прежней придворной службе, а также и вследствие покровительства, оказываемого ей последовательно тремя государынями; она имела право вести переписку с их величествами и при желании получать у них аудиенцию. К тому же Леонтьева имела огромные связи не только при нескольких царственных дворах, но и вела знакомство с высокопоставленными лицами светского и духовного звания. Своего значения она никогда не забывала: этому сильно помогали огромное население двух институтов и большой штат классных дам и всевозможных служащих той и другой половины Смольного, которые раболепно пресмыкались перед нею. Забыть о своем значении она не могла уже и потому, что была особою весьма невежественною, неумною от природы, а на старости лет почти выжившею из ума. От учащихся она прежде всего требовала смирения, послушания и точного выполнения предписанного этикета, а классные дамы, согласно ее инструкциям, должны были все свои педагогические способности направить на поддержание суровой дисциплины и на строгое наблюдение за тем, чтобы никакое влияние извне не проникало в стены института. Порядок и дух заведения строго поддерживались ею; перемен и нововведений она боялась как

огня и ревниво охраняла неизменность институтского строя, установившегося испокон века. Нашею непосредственною начальницею была инспектриса, m-me Сент-Илер, которую мы называли «maman», но мы часто видели и нашу главную начальницу, Леонтьеву: ежедневно, по очереди, двое из каждого класса носили ей рапорт о больных, каждый большой праздник воспитанницы должны были являться в ее апартаменты с поздравлениями, она присутствовала на всех наших экзаменах, от времени до времени приходила на наши уроки или в столовую во время обеда, и, кроме всего этого, мы каждую субботу и воскресенье видели ее в церкви. За все время моего пребывания в институте я никогда не слыхала, чтобы она кому-нибудь из нас сказала ласковое, сердечное слово, задала бы вопрос, показывающий ее заботу о нас, чтобы она проявила хотя малейшее участие к больной, которая, как ей было известно из ежедневно подаваемых рапортов, пролежала в лазарете несколько месяцев в тяжелой болезни. Она посещала и лазарет, но разговаривала с воспитанницами не иначе, как строго официально. Являясь к нам на экзамены, Леонтьева никогда не интересовалась ни умственными способностями той или другой ученицы, ни отсутствием их у нее. Принимая от нас рапорты, она спрашивала, какое Евангелие читали в церкви в последнее воскресенье или по поводу какого события установлен тот или другой праздник. На экзаменах она поправляла только произношение отдельных слов, и не потому, что оно было неправильно, а потому, что у нее было несколько излюбленных слов, произношением которых ей никто не мог угодить. Как бы воспитанница ни произнесла «святый боже», ««божественный», «тысяча», «человек», она сейчас заставляла ее повторять эти слова за собою. Когда мы отвешивали ей реверанс при ее появлении, она непременно замечала по-французски: «Вы должны делать глубже ваш реверанс!». А когда мы сидели, она каждый раз считала долгом сказать: «Держитесь прямо!».

В церкви мы стояли стройными рядами, но как только входила начальница, она начинала все перестраивать по-своему: воспитанниц маленького роста ставила в проходах, а более высоких – к клиросу (место для певчих в церкви: возвышение перед алтарем по правую и левую руку от царских врат. – *Прим. ред.*); в другой же раз вытягивала на средину больших ростом, а маленьких выставляла у проходов, и так далее до бесконечности. Если на следующий раз дежурная дама ставила в церкви воспитанниц так, как угодно было начальнице поставить их в последний раз, та все-таки переставляла их по-своему. Этим и ограничивались все «материнские» заботы начальницы

Леонтьевой относительно воспитанниц Александровской половины. Одним словом, нашею начальницею, без преувеличения можно сказать, была не женщина, а просто какой-то каменный истукан, даже в то рабское, крепостническое время поражавшая всех своим бездушным, деревянным отношением к воспитанницам. Однако эта особа умела превосходно втирать очки кому следует. Ее письма и отчеты государыне дышат необыкновенною добротой к детям, снисхождением и всепрощением ее любвеобильного сердца. В 1851 году Леонтьева пишет императрице: «Дети всегда послушны, за редкими исключениями, когда их волнует живость, простительная в их возрасте». Через несколько лет, возвращаясь после летнего отдыха из деревни, она пишет: «Велика моя радость снова увидеть мою милую, многочисленную семью!».

По установившимся традициям и кодексу весьма своеобразной институтской морали, нередко, впрочем, не имевшей ничего общего с здравым смыслом, начальница, несмотря на свой престарелый возраст, должна была иметь величественный вид, даже и в том случае, если природа не наделила ее для этого никакими данными. Для достижения этой цели Леонтьева прибегала к незамысловатым средствам: она всегда туго зашнуровывалась в корсет, ходила в форменном синем платье и в высоком модном чепце. Разговаривая с подчиненными, она смотрела не на них, а поверх их голов, до смешного растягивала каждое слово, все произносила необыкновенно торжественно, не давала возможности представлявшимся ей лицам вдаваться в какие бы то ни было объяснения, а тем более подробности, и допускала лишь лаконический ответ: «да» или «нет, ваше превосходительство», имела всегда крайне надменный вид и застывшую улыбку или, точнее сказать, гримасу на старческих губах, точно она проглотила что-нибудь горькое.

Когда мы, новенькие, в первый раз подходили к приемной начальницы, мы встретили здесь наших матерей и вошли вместе с ними в сопровождении m-lle Тюфяевой. В огромной приемной, обставленной на казенный лад, у стены против входной двери сидела на диване начальница Леонтьева, а подле нее на стуле ее компаньонка Оленкина[125].

– Мама! Мама! – вдруг закричала Фанни, бросаясь в объятия матери. Этот крик раздался совершенным диссонансом среди гробовой тишины.

Начальница чуть-чуть приподняла голову, что для Оленкиной, видимо, послужило сигналом узнать фамилии новоприбывших, так как она быстро подошла к нашим матерям, а

затем начала что-то шептать на ухо начальнице.

– Потрудитесь подойти! Сюда! Ближе! Я прежде всего попрошу вас покончить с этою сценой… Можете садиться! – И Леонтьева величественным жестом указала Голембиовской на стул против своего стола. Фанни подбежала к матери и крепко вцепилась в ее юбку.

– Видите ли, – снова обратилась начальница к Голембиовской, – каких недисциплинированных, испорченных детей вручаете вы нам!

– Испорченных? – переспросила Голембиовская с изумлением, в своей провинциальной простоте не понимавшая ни величия начальницы, ни того, как с нею следует разговаривать. – Уверяю вас, сударыня, что моя Фанни послушная, ласковая, привязчивая девочка!.. А то вдруг «испорченная»! Как же это можно сказать, не зная ребенка!

В ту же минуту над ее стулом наклонилась компаньонка Оленкина и шепотом, который был слышен во всей комнате, произнесла, отчеканивая каждое слово:

– Должны называть начальницу – Ваше превосходительство. Вы не имеете права так вольно разговаривать с ее превосходительством! Извольте это запомнить!

– Извините, ваше превосходительство, – заговорила переконфуженная Голембиовская. – Я вас назвала не по титулу… Я ведь провинциалка! Всех этих тонкостей не разумею… Все же о своей девочке опять скажу вам: золотое у нее сердечко! Будьте ей матерью, ваше превосходительство! Она ведь у меня сиротка! – И слезы полились из глаз бедной женщины.

– Мне страшно, мама! – вдруг со слезами в голосе завопила ее дочь.

– Сударыня! Моя приемная не для семейных сцен! Извольте выйти в другую комнату с вашей дочерью и ждать классную даму.

Тогда к начальнице подошла моя мать и начала рекомендовать себя на французском языке, которым Голембиовская не сумела воспользоваться, хотя свободно говорила на нем. В то время знание французского языка облагораживало и возвышало каждого во мнении общества, тем более громадное значение оно имело в институте. Вероятно, вследствие этого начальница благосклонно кивнула ей головой, но когда моя мать выразила свое удовольствие по поводу того, что ее дочь принята на казенный счет и получит образование, которого она за отсутствием материальных средств не могла бы дать сама, Леонтьева возразила ей не без иронии: «Если бы вы понимали, какое это счастие для вашей дочери, вы могли бы в назначенное время доставить ее сюда!» – и, кивнув головой в

сторону m-lle Тюфяевой, она показала этим, что аудиенция окончена.

Мы шли обратно так же, как и пришли: матери отдельно, мы – в сопровождении Тюфяевой. Общее молчание нарушалось на этот раз только всхлипываниями Фанни. Когда мы вошли в комнату, в которой экзаменовались, наши матери уже сидели в ней. Фанни не замедлила броситься со слезами в объятия своей матери. M-lle Тюфяева резко заметила:

– Прошу прекратить этот рев!.. Через несколько минут, когда я приду за девочками, мы уже сами позаботимся об этом, а теперь это еще ваша обязанность!

– Ах, милая mademoiselle Тюфяева, – с мольбой обратилась к ней Голембиовская, – скажите ей хоть одно ласковое словечко… хоть самое маленькое!.. Ведь у нее от всех этих приемов сердчишко, точно у пойманной птички, трепыхает…

– Трепыхает! Это еще что за выражение! «Молчать!» – вот что вы должны сказать вашей дочери! Вы своими телячьими нежностями и начальницу осмелились обеспокоить, а тут опять начинаете ту же историю! – И она направилась к двери.

– Покорись, дитятко! Перестань плакать, сердце мое! – покрывая дочь страстными поцелуями, приговаривала Голембиовская, не обращая внимания на то, что классная дама остановилась и смотрит на них. – Что же делать, дитятко! Тут уж, видно, и люди так же суровы, как эти каменные стены!

– А! – прошипела Тюфяева. – Я сейчас доложу инспектрисе, какие наставления вы даете вашей дочери!

Моя мать, испуганная за Голембиовскую и понимая, как это может повредить ее дочери, подбежала к Тюфяевой и начала умолять ее:

– Сжальтесь… Сжальтесь над несчастной женщиной! Она в таком нервном состоянии!

M-lle Тюфяева грубо отстранила мою мать рукой; в эту минуту Фанни вскрикнула и без чувств упала на пол. Тюфяева быстро вышла за дверь, а затем к нам вбежало несколько горничных и бесчувственную Фанни понесли в лазарет. За ними последовала и ее мать. Я наскоро простилась с моею матерью, и так как передо мной уже выросла Тюфяева, я отправилась за нею. Она привела меня на урок рисования. Я как-то машинально проделывала все, что мне приказывали, и очнулась от рассеянности только тогда, когда прозвонил колокол. Девочки задвигались и стали подбегать ко мне с вопросами.

– Молчать! Становиться по парам! – кричит классная дама Петрова и устанавливает воспитанниц по росту пару за парой – маленьких впереди, девочек более высокого роста – позади. То

одна воспитанница выдвинется несколько вбок, то другая подастся вперед, – классная дама сейчас же равняет таких: немедленно подбегает к ним, одну толкает назад, ее соседку двигает вперед, кого ставит правее, некоторых дергает влево и, наконец, в строгом порядке ведет в столовую, выступая впереди своего отряда. По институтским правилам требовалось, чтобы воспитанницы, куда бы они ни отправлялись, выступали как солдаты, представляя стройную колонну, и двигались без шума. Если предводительница этой женской армии прибавит шагу, – и воспитанницы должны идти скорее, не расстраивая колонны; при этом они обязаны молчать; если одна из воспитанниц произносила хотя слово, такое преступление редко оставалось безнаказанным, особенно в кофейном классе.

Трудно представить, как много времени уходило на установку по парам. В столовую водили четыре раза в день (на утренний и вечерний чай, к обеду и завтраку), следовательно, туда и назад по парам строились восемь раз; то же делали, когда отправлялись на прогулку и возвращались после нее; таким образом, тратили более часу времени, а по субботам и праздникам, когда приходилось отправляться в церковь, и еще того больше.

В то время, которое я описываю, начальство института уже не имело права давать волю рукам: оттрепать по щекам или избить чем попало по голове, высечь розгами, как это бывало раньше, в мое время не практиковалось даже и в младшем классе, но толчки, пинки, весьма чувствительное обдергивание со всех сторон, брань, бесчисленные наказания, особенно в младшем классе, были обычными педагогическими воздействиями.

К молчанию и безусловному повиновению институток приучали весьма систематично. Впрочем, на женщину в то время вообще смотрели как на существо, вполне подчиненное и подвластное родителям или мужу, – институт стремился подготовить ее к выполнению этого назначения, но чаще всего достигали совершенно противоположных результатов. От нас требовалось или молчание, или разговор полушепотом, и так в продолжение всего дня, кроме перемен между уроками, когда громкий разговор не вызывал ни окрика, ни кары. Наиболее суровые классные дамы ограничивали и суживали даже ничтожные привилегии «кофулек» (воспитанниц младшего класса), которым по праздничным дням вечером дозволялось бегать, играть и танцевать. Как только они поднимали шум и возню даже в такие дни, классные дамы кричали: «По местам! Вы не умеете благопристойно держать себя!». Дети послушно садились на скамейки и, получая постоянно нагоняй за резвость,

все реже предавались веселью.

Как ни была жива и шаловлива девочка при поступлении в институт, суровая дисциплина и вечная муштровка, которым она подвергалась, а также полное отсутствие сердечного участия и ласки быстро изменяли характер ребенка. Если девочка свыкалась с институтским режимом, а наклонность к шаловливости еще не совсем пропадала в ней, ее неудержимо влекли к себе глупые и пошлые шалости.

Когда я в первый раз вошла в столовую, меня удивило огромное число наказанных: некоторые из них стояли в простенках, другие сидели «за черным столом», третьи были без передника, четвертые, вместо того чтобы сидеть у стола, стояли за скамейкой, но мое любопытство особенно возбудили две девочки: у одной из них к плечу была приколота какая-то бумажка, у другой – чулок. Когда после пения молитвы мы уселись за завтрак, я больше уже не могла выносить молчания и стала расспрашивать соседку, можно ли разговаривать; та отвечала, что можно, но только тихонько. И меня с двух сторон шепотом начали просвещать насчет институтских дел. Когда у девочки приколота бумажка, это означает, что она возилась с нею во время урока; прикрепленный чулок показывал, что воспитанница или плохо заштопала его или не сделала этого вовсе, а за что наказаны старшие воспитанницы (белого класса) – нам, кофейным, неизвестно.

После завтрака нас повели в дортуар, где мы должны были надеть гарусные капоры[126] и камлотовые салопчики, чтобы отправиться в сад на прогулку. Институтский туалет в дореформенный период отличался необыкновенным безобразием: только платья шили более или менее по фигуре, а верхнею одеждою и бельем воспитанницы должны были довольствоваться что кому попадало. Нередко девочке весьма полной доставался салоп от худенькой, и она еле натягивала его на себя. Воспитанницы старших и младших классов, одетые в салопы допотопного фасона и в гарусные капоры, скорее походили на богадельных старушонок, чем на детей и молоденьких девушек.

Воспитанницы гуляли в саду по получасу, и притом только по мосткам, как всегда, по парам, под предводительством классной дамы и нередко под аккомпанемент ее воркотни и распеканий. Она находила для этого много поводов: то ей досаждал «дурацкий смех» кого-нибудь из воспитанниц, то пилила она тех, которые отставали от других или чуть-чуть выходили из пары, то за то, что кто-нибудь на минуту соскакивал с мостков. Воспитанницы ненавидели эти прогулки и были бесконечно счастливы, когда их находчивость помогала им сослаться то на

ту, то на другую несуществующую болезнь, чтобы избавить себя от этой неприятной повинности. Через полчаса после прогулки мы возвращались в том же порядке.

Меня, как новенькую, отправили к кастелянше, которая оказалась женщиною добрейшей души. Вообще нельзя сказать, чтобы в институте совсем не было хороших людей. Кроме нее, обе лазаретные дамы, а также и доктор[127] были весьма добрые существа. Но замечательно, что все эти личности не играли ни малейшей роли в институте и только в экстренных случаях сталкивались с воспитанницами. К тому же все они жили своею особою жизнью, обособленною от институтского мира, что и давало им возможность сохранить душу живу.

– Что же ты так грустна, милая девочка? – ласково спросила меня кастелянша. Это было первое ласковое слово, которое я услыхала в стенах института, и вместо ответа я припала к ее плечу и залилась слезами. Она дала мне выплакаться, напоила меня кофеем и усадила к столу.

– Жаль, что тебя не привезли к общему приему, тремя месяцами раньше: тебе было бы легче привыкать вместе с другими новенькими.

На мой вопрос, почему классные дамы такие сердитые, она отвечала:

– Потому что у них своих крошек не было. Запомни, детка: как можно меньше с ними разговаривай, – они и придираться меньше будут к тебе.

Доброе отношение милой женщины успокоило меня, и, примеривая то одно, то другое, я выражала свое удивление:

– Какая рубашка! Ведь она свалится с плеч! А эта у меня до полу доходит.

– Меньше нет: все белье шьется у нас по безобразным образцам. Зато в длинной рубашке теплее будет спать. Ночью у вас холодно: ваши одеяла ветром подбиты, спите вы без ночных кофт, – длинной рубашкой хоть ноги себе обмотаешь.

Наконец я превратилась в казенную воспитанницу. На мне надето было плохо сидевшее камлотовое платье коричневого цвета – символ младшего класса; оно было декольте и с короткими рукавами. На голые руки надевались белые рукавчики, подвязанные тесемками под рукавами платья; на голую шею накидывали уродливую пелеринку; белый передник с лифом, который застегивался сзади булавками, довершал костюм. Пелеринка, рукавчики, передник были из грубого белого холста и по праздникам заменялись коленкоровыми.

Повседневные платья воспитанниц институтов благородных девиц шили из камлота. Гимназистки приготовительных классов (от пяти до семи лет) носили кофейные или коричневые платья; от восьми до десяти – голубые или синие; от одиннадцати до тринадцати – серые. Старшие гимназистки носили белые платья. Платья были закрытые («глухие»), одноцветные, самого простого покроя. С ними носили белый передник, белую пелеринку и, иногда – белые рукавчики

Форма чрезвычайно меняла наружность новенькой: даже грациозная миловидная девочка казалась в ней неуклюжей. Камлотовое платье было настолько коротко в младшем классе,

что выставляло напоказ жалкие кожаные башмаки, которые скорее можно было назвать туфлями или шлепанцами, и грубые белые нитяные чулки. Пока новенькая не умела приноровиться к своему форменному наряду так, чтобы ее безобразные туфли не падали с ног, чтобы рукавчики не сползали, чтобы платье не расстегивалось позади, она ходила, тяжело ступая, и имела крайне неуклюжий вид. В первый раз на свидании с родными новенькая обыкновенно поражала их своею переменой, и они, не стесняясь, повторяли на все лады: «Какой смешной наряд! Как он тебя безобразит!..». К тому же этот наряд совсем не был приноровлен к условиям жизни: холщовая пелеринка, накинутая на плечи, не защищала от зимнего холода, когда термометр в классе показывал десять и даже девять градусов (Температура в институте измерялась по Реомюру. По Цельсию –11–12°. – *Прим. ред.*), а во время уроков приходилось сидеть с обнаженными плечами (При Водовозовой рукавчики и пелеринки полагалось снимать во время уроков; после реформы 1860-х годов этот обычай был отменен. – *Прим. ред.*).

Не успела я еще переодеться в форменное платье, как в комнату кастелянши вошла пепиньерка с замечательно симпатичным лицом и заявила, что поведет меня в приемную залу, где меня ожидает моя сестра.

Нужно заметить, что в Петербург со мною приехала не только матушка, но и обе мои сестры: старшая, Нюта[128], которая была уже вдовою, несмотря на свой девятнадцатилетний возраст, и Шура. Им очень хотелось присутствовать на моем приемном экзамене, но матушка побоялась, что это не будет дозволено институтским начальством. Однако Шура не могла утерпеть, чтобы не посетить меня в тот же день.

Какой это был для меня приятный сюрприз! Когда я увидала Сашу, я бросилась в ее объятия. Горячие поцелуи и слезы сказали ей без слов о тяжелом впечатлении, произведенном на меня институтом.

– Дурная, дурная ты у меня девочка, – нежно журила она меня. – Чуть что нехорошо, тебя сейчас точно камнем придавит, а что получше, того ты не замечаешь! От матушки я уже знаю, что было у вас утром… Что же делать! Но не все же дурно? Я только что вошла сюда и сейчас же нашла, что и тут есть сердечные люди! Я ведь не рассчитывала, что мне удастся увидеть тебя сегодня: думаю – узнаю хоть от швейцара, что ты теперь поделываешь… Вхожу и встречаю ту прелестную молодую девушку – пепиньерку, которая тебя привела сюда, объясняю ей, что моя семья останется в Петербурге лишь полторы недели, прошу ее посоветовать мне, у кого бы похлопотать о возможности

видеться с тобою ежедневно в это короткое время. Что же ты думаешь! Она потащила меня за собой и говорит: «Я поведу вас к инспектрисе, я ее родная дочь, и уверена, что она устроит для вас все, что возможно». И знаешь, я просто была очарована вашей инспектрисою!5 Хотя она сегодня совсем больна, но меня поразила ее красота, изящество, ее привлекательные манеры! Она позволила нам всем посещать тебя ежедневно в продолжение полутора недель.

Свидание с любимою сестрою совершенно изменило мое настроение: все тяжелое, что я испытала и перечувствовала в тот день, исчезло без следа, и я отправилась в дортуар (спальню) уже к своей классной даме (в дореформенное время воспитанницы Александровской половины делились на два класса: на младший – кофейный[129], и старший – белый, в зеленых платьях. В том и другом из них они оставались по три года. Каждый класс делился на два отделения, а каждое отделение – на два дортуара; один из них находился под руководством одной, другой – под руководством другой классной дамы. Воспитанницы одного дортуара спали в одной спальне и были связаны между собою теснее, чем с подругами другого дортуара, хотя они и были с ними в одном отделении, сидели в одной общей классной комнате, – учились у одних и тех же учителей. Так как в каждом отделении было по два дортуара, а следовательно, и по две классных дамы, то они дежурили в классе по очереди и одна из них в свободное время могла уезжать из института. – *Прим. Е. Н. Водовозовой.*). Нужно заметить, что, поступив в дортуар к той или другой, даме, воспитанница вместе с нею переходила из одного класса в другой, одним словом, была под ее руководством во все время своего воспитания. Так устроено было для того, чтобы классная дама могла хорошо изучить характеры вверенных ей тридцати, а то и более воспитанниц, привязаться к ним всею душой, сделаться для них истинною наставницею, руководительницею, матерью. Но при мне эти родственные узы проявлялись в одном: если воспитанница была накануне наказана не своею дамою, она обязана была заявить об этом на другой же день своей дортуарной даме. Узнав об этом, дама обыкновенно находила необходимым наказать во второй раз ту, которая была уже наказана накануне. Я поступила к классной даме m-lle Верховской, в то время когда в другом отделении классною дамою была Тюфяева.

– Покажи-ка, как тебя нарядили? – спросила меня m-lle Верховская.

– Башмаки с ног падают… – пожаловалась я.

– А ты еще крепче рассердись, тогда тебе уже наверное

пришлют изящные ботинки, – мило пошутила m-lle Верховская.

Воспитанницы, обрадованные веселым настроением своей дамы, громко засмеялись.

– Ах, тетечка, – вдруг закричала я в восторге от того, что поступила к такой, как мне показалось, веселой и доброй даме. – Какая вы добрая! Какая вы красавица! – И я бросилась к ней на шею и расцеловала ее в губы. Воспитанницы, поступившие в институт за три месяца до меня и уже успевшие освоиться с институтскими нравами, с ужасом наблюдали эту сцену. Поцеловать классной даме руку или плечо не только дозволялось, но считалось похвальною почтительностью, поцеловать же ее в губы было верхом неприличия и фамильярности; впрочем, это случалось только с новенькими, да и то в редких случаях.

– Ну, милейшая моя племянница, это, знаешь ли, чересчур нежно. Здесь это не принято, – отстраняя меня, сказала m-lle Верховская. – К тому же, ты должна всех классных дам называть «mademoiselle», а не «тетечка». Через неделю-другую, когда ты будешь уже не новенькая, а старенькая, ты должна будешь это твердо помнить.

Все это, однако, было сказано очень мило. Затем мы по очереди должны были подходить к ней и читать по-русски и по-французски. Наконец она ушла в свою комнату.

Когда мы остались одни, девочки окружили меня и стали закидывать вопросами. Но когда я выразила радость по поводу того, что поступила не к Тюфяевой, которая мне очень не понравилась, а к Верховской, воспитанницы потянули меня к двери дортуара, на противоположном конце которого находилась комната нашей дамы, говоря, что тут будет менее слышен наш разговор. Перебивая друг друга, они сообщали мне о том, что Верховская нередко поступает с ними еще хуже, чем Тюфяева. Но меня это не взволновало: я подумала, что девочки сами сильно шалили. А мне чего же бояться? Я собиралась быть очень прилежной и послушной, чтобы по окончании курса получить золотую медаль, как я это обещала моей любимой сестре и матушке.

– А ты зачем подлизывалась? Зачем полезла целовать Верховскую в губы? – накинулась на меня одна из подруг, по фамилии Ратманова. Я очень переконфузилась, не зная, что ответить. Но тут все девочки стали меня защищать, оправдывая мой поступок тем, что я новенькая, и просили меня показать им вещи, привезенные из дому. Меня схватили с обеих сторон за руки, и мы все вместе побежали к табурету (к соединению прикроватной тумбочки и сиденья. – *Прим. ред.*), в ящике которого уже стояла моя шкатулка. Для удобства мы опустились

на колени и начали вынимать из шкатулки различные сверточки: карандаши, вставочки для пера, перочинные ножички и другие классные принадлежности.

– Ну, это не интересно! – отрезала Ратманова. Это была худощавая, высокого роста девочка, с смеющимися глазами навыкате, портившими ее миловидное нервное подвижное лицо, придавая ему насмешливое, иногда даже наглое выражение.

– Почему же не интересно? – в обиде за меня перебила ее Ольхина, болезненная бледная девочка с синими глазами. – Ратмановой всегда нравится только то, что дорого стоит и нарядно!

– А ты любишь только гадость!.. Недаром ты постница и богомолка! – бросила ей Ратманова.

– Перестаньте браниться! Пусть новенькая покажет нам все, что у нее есть, – кричали со всех сторон.

Я сняла верхнее отделение своей шкатулки, которое кроме классных принадлежностей было занято конфетами с картинками. Каждой девочке я дала по конфетке и одну из них протянула Ратмановой.

– Я не нуждаюсь в такой дряни! – запальчиво закричала она, бросая назад поданное ей. – Если хочешь мне что-нибудь подарить, дай мне вот эту конфетку, – и она указала на самую лучшую. Но она так нравилась мне самой, что я сильно поколебалась и, чувствуя, что краснею, в замешательстве наклонилась над шкатулкой.

– Ишь, жаднюга! – насмешливо воскликнула Ратманова.

– Нет, нет! Это я только так… Возьми! – и я испуганно подала ей то, что она просила. – А вот тут у меня такая прелесть, такая прелесть, – говорила я девочкам, окружавшим меня, и вынула со дна шкатулки большую коробку, наполненную мелкими стружками, среди которых симметрично разложены были птичьи яички. – Это яичко жаворонка… воробушка… голубиное… воронье…

– Вороньи яйца!.. Эко диво! Ах ты деревенщина! – захохотала Ратманова и со всей силы ударила рукой по ящику, из которого вывалились и разбились все мои яички, мое сокровище, которое я берегла столько лет. Я отчаянно зарыдала.

– Какая ты злая, гадкая! – бросила Ольхина по адресу Ратмановой, которая нисколько не была сконфужена этими эпитетами. С торжествующей улыбкой на губах, точно после геройского подвига, направилась она в другой конец дортуара.

Мне не только жаль было крошечных яичек, к которым я всегда чувствовала нежность, но они дороги были мне и потому, что будили воспоминания о горячо любимой няне, с которою я

собирала их в лесу, когда у нас рубили деревья, падавшие вниз с птичьими гнездами. К тому же меня неприятно поразила такая грубость, такая мальчишеская выходка в институте.

Маша Ратманова играла большую роль в нашей жизни, а потому я и хочу познакомить с нею, какою она была не только в младшем, но и в старшем классе. Ее мать овдовела, когда дочери было около года. Не имея никаких средств к жизни, она была рада, что представилась возможность поселиться с ребенком на бесплатной половине вдовьего дома[130] Смольного. Жиличками этого учреждения были жены умерших офицеров, а также средней руки чиновников военного и гражданского ведомства. В громадном большинстве случаев это все были старые, необразованные женщины, которые, как собаки, с утра до вечера грызлись между собой, уличали друг друга бог знает в каких преступлениях и скандалах, подобранных, вероятно, от таких же жалких существ, какими они были сами. Таким образом, Маша Ратманова свое раннее детство провела среди бранчливых, пошлых старух, полувыживших из ума от непрекращающихся интриг, дрязг и ссор. После жизни во вдовьем доме, которая могла заложить в душу ребенка лишь дурные склонности и безнравственные привычки, она на девятом или десятом году жизни поступила в институт. Институтское воспитание того времени не могло благоприятно повлиять на кого бы то ни было, Ратманову же оно испортило еще более. Вечные окрики классных дам, наказания за всякое проявление живости, муштровка и суровая дисциплина все более ожесточали ее сердце, но не могли окончательно подавить живость этой на редкость подвижной натуры, остроумной и от природы весьма неглупой девочки. Она со страстью бросалась на игры и беготню по праздникам, но и это возбуждало неудовольствие классных дам. А между тем ее неугомонная натура требовала шума, крика, возни. И эту потребность она начала удовлетворять исподтишка, когда из класса на время уходила дежурная дама. Тогда из одного конца коридора в другой раздавались ее раскатистый хохот, крик, визг, перемежавшиеся фырканьем, слышался шум от ее беготни. Ее то и дело ловили на месте преступления, с нее срывали передник, толкали в угол, к доске, сыпалось на ее бесшабашную голову и множество других наказаний. Шаловливая, нервная, невоспитанная, резкая, невоздержная на язык, обозленная до невероятности, Маша Ратманова стала грубить напропалую и получила наконец эпитет «отчаянной», который неотъемлемо остался за нею во все время институтского воспитания.

Она досаждала, однако, не только классным дамам, но и подругам, симпатиею которых тоже не пользовалась. Вечно

изощряясь в школьничестве, она бросала в пюпитр одной мокрую тряпку и портила книгу или начисто переписанную тетрадь, другой потихоньку засовывала за лиф булавку или кусок жеваной бумаги. В старшем классе ее мальчишеские шалости сменились другими: во время урока она то и дело оборачивалась к воспитанницам, сидевшим сзади нее, делала гримасы или посредством мимики своего подвижного лиха в комическом виде изображала учителя, классную даму, подругу. С такой же индифферентностью и бессердечием она высмеивала не только комичные стороны, которые легко схватывала, но и физические недостатки подруг, – особенному высмеиванию подвергала она дурнушек. Еще более отталкивала от нее подруг ее привычка делать намеки на то, чего тогда не ведал еще никто. В разговоре или споре с товарками она вдруг произносила какое-нибудь слово или фразу, что-то показывала руками и как-то при этом особенно нагло фыркала в лицо, обзывая каждую дурой и тупицей. Я глубоко убеждена в том, что в то время никто из нас не понимал, в чем дело, но каждая инстинктивно чувствовала, что это должно быть что-нибудь скверное, постыдное, и здоровый инстинкт заставлял нас, несмотря на любопытство, столь присущее женскому полу, не приставать к ней с расспросами о том, что она хотела сказать тем или другим намеком или жестом.

Она была очень щедра, но и это проявляла довольно грубо: почти все свои гостинцы она раздавала подругам, исключая «парфеток». «Парфетками» институтки называли тех из своих подруг, к которым благоволили классные дамы за их послушание и отменное поведение, проявлявшееся нередко в наушничанье на своих подруг. Маша Ратманова всеми силами своей души ненавидела этих «парфеток» и называла их не иначе, как «подлипалками», «подлизалками», «подлянками», «мовешками» и т. п. Если она входила с гостинцами в то время, когда воспитанницы сидели в дортуаре, она швыряла их кому на кровать, кому прямо в лицо. Смеялись и брали, а тем, которые при этом благодарили ее за них, она высовывала язык или делала почтительный книксен с придачею отвратительной гримасы, а потому впоследствии уже никто не совался к ней с своею благодарностью. Однако мне пришелся не по душе этот способ угощения, и я каждый раз швыряла ей назад дары тем же способом, каким получала их. Это заставило ее переменить относительно меня способ угощения. Она начала засовывать для меня гостинцы куда попало: ложась в кровать, я иногда находила под подушкой то яблоко, то несколько леденцов.

Теперь таких субъектов, как Маша Ратманова, называют психопатками. И всею своею последующею жизнью она вполне

доказала, что была таковою, но тогда этот термин еще не был изобретен. Тем не менее, подруги в душе считали ее вконец испорченной, но боялись высказывать это вслух, чтобы это не дошло до нее, и все старались держаться подальше от нее. Я бы прибавила еще, что ее общество приносило подругам гораздо больше вреда, чем пользы, если бы не одна редкая и замечательно хорошая черта ее характера. Маша Ратманова будила в нас общественные инстинкты, если можно так выразиться о нас, девочках, в то время совсем неразвитых.

За тяжелые провинности, с точки зрения классных дам, они наказывали тем, что запрещали воспитанницам разговаривать с провинившеюся. Ратманова первая начала возмущаться повиновением подруг такому нелепому распоряжению и, несмотря на строгое запрещение, начала разговаривать с наказанною, а затем нападать на тех, которые подчинялись этому требованию дам. Хотя она ни с кем из подруг не дружила особенно, но всю нежность своей души, все внимание проявляла к каждой наказанной, а тем более к той, которая особенно сильно дерзила классной даме. За наказанную она распиналась сколько хватало сил. Одна из наиболее распространенных кар в институте состояла в том, что нас заставляли стоять за обедом или завтраком. Есть стоя было очень неудобно; к тому же не только классные дамы, но и подруги высмеивали воспитанниц, которые ели во время такого наказания. Маша Ратманова, когда подросла, как ястреб начала следить за тем, чтобы воспитанница, наказанная таким образом, получала от соседок все кушанья, но так как суп при этом пропадал, то она, обращаясь к наказанной, говорила так, чтобы слова ее доходили до ушей классной дамы: «Отчего ты супа не ешь? Если бы было дозволено наказывать нас без еды, сколько бы народу у нас подохло от голоду!». Сильно нападала она на тех, которые издевались над подругами за еду во время наказания: она осыпала их градом бранных, грубых слов из своего собственного лексикона, который у нее был весьма обширен. В старшем классе она беспощадно казнила предательство: сплетниц и доносчиц она не только изводила неистовым издевательством, но неожиданно и исподтишка толкала их и щипала так жестоко, что у тех оставались надолго синяки на руках и шее; и это проделывала она вплоть до самого выпуска, когда уже была взрослою девушкой.

Если институт испортил такую богато одаренную натуру, с живым общественным инстинктом, с огромною энергией и жизнеспособностью, какою была Маша Ратманова, то других он губил и физически.

Уже прошло более трех месяцев с тех пор, как Фанни

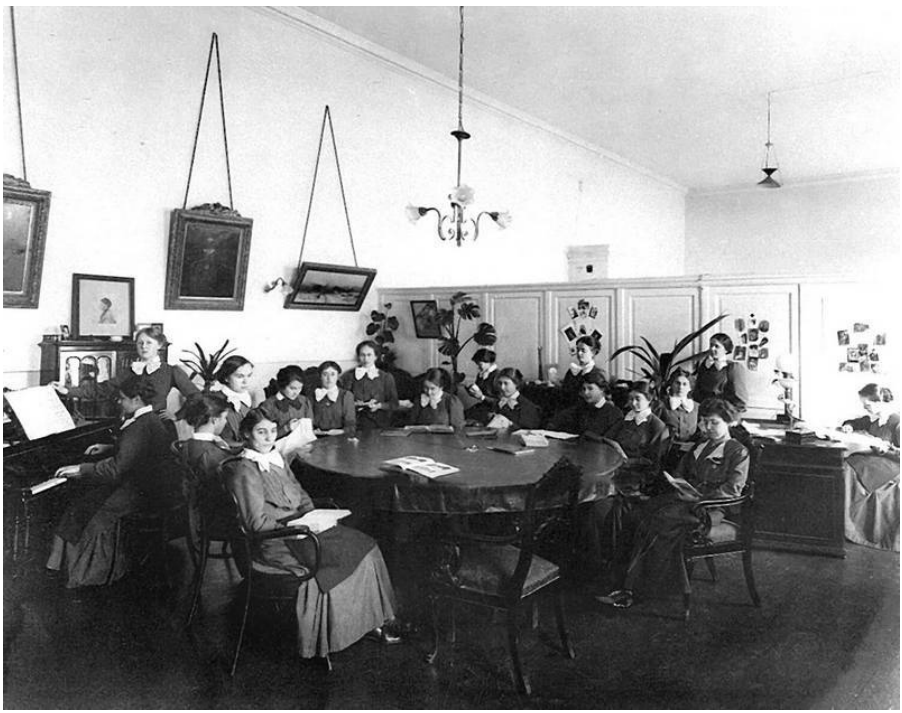
Голембиовская поступила в институт, а между тем она не появлялась ни в классе, ни в дортуаре m-lle Верховской, воспитанницею которой числилась. Она продолжала оставаться в лазарете. Что была за болезнь, которою она страдала, мы не знали, но наш доктор объяснял ее тоскою.

Однажды утром после звонка на урок немецкого языка вошли инспектриса, а за нею и Голембиовская. Боже, как она изменилась за это время! Ее длинные, худенькие пальчики нервно теребили передник, ее длинная шея казалась ниточкой, скреплявшей грациозно посаженную головку, ее узкие плечи нервно передергивались, щеки провалились, и ее большие глаза, казалось, сделались еще больше и растерянно бегали по сторонам. Немец спросил ее, выучила ли она заданный урок. Она отвечала, что не учила уроков во время болезни. Когда она бегло прочитала указанную ей страницу, учитель спросил, не говорит ли она по-немецки. Она отвечала утвердительно, и он заставил ее переводить, что она исполнила совершенно легко, заслужила 12 с плюсом и большую похвалу от учителя.

На уроке французского языка опять присутствовала m-me Сент-Илер. Француз тоже заставил Фанни читать и переводить, а затем попросил ее сказать на память какое-нибудь стихотворение или басню. Она начала декламировать стихотворение «Молитва», помещенное в то время во всех французских хрестоматиях. В ней ребенок обращается к богу, умоляя его продлить дни своей матери. Голос ее дрожал все сильнее, она произносила стихи с таким чувством и увлечением, как это обыкновенно не удается детям, а тем более в институте. Но вот в ее декламации послышались рыдающие звуки, она остановилась, не кончив фразы, точно спазм сдавил ей горло. Француз с изумлением посмотрел на инспектрису, а затем спросил Фанни, не может ли она написать что-нибудь, хотя какое-нибудь маленькое письмецо. Дрожащими руками девочка взяла мел и быстро написала несколько строк. Учитель громко прочитал написанное. Это оказалось письмо к матери, в котором Фанни умоляла ее взять из института, заявляя, что иначе она умрет. Должно быть, это было выражено очень трогательно, – у «maman» текли слезы по щекам. Француз, который, вероятно, с восторгом думал о том, какой козырь судьба посылает ему в руки в лице Фанни, и мечтал уже, как будет он гордиться ею при высоких посетителях, начал утешать ее, указывая на несообразность мысли о смерти в ее годы, пророчил ей блестящее окончание курса, первую награду и т. п. Когда Фанни возвращалась на свою скамейку, инспектриса, наклоняясь к ней, нежно сказала: «Дитя мое! Вы превосходно подготовлены! Что же нам делать, чтобы вы не тосковали?».

После окончания урока мы строились в пары, чтобы идти в столовую, а Фанни шла в лазарет, где она ввиду своего слабого здоровья должна была обедать, завтракать и даже проводить ночь. Мы в один голос кричали ей: «Первая, самая первая по классу!». Конфузливо улыбаясь, она с угловатыми манерами девочки-подростка торопливо пробиралась между парами.

Фанни менее чем кто-нибудь из нас должна была бы чувствовать ненормальные условия институтского существования: она спала в теплой комнате лазарета, питалась больничного пищею, которая была несравненно лучше общей, пила молоко, виделась с матерью по два раза в неделю, все в лазарете баловали ее и стали баловать еще более после ее блестящего дебюта в классе, когда инспектриса просила доктора, чтобы для нее было сделано все, что только возможно: она могла спать в лазарете до восьми часов утра, укрываться так, чтобы ей было тепло, доктор постоянно снабжал ее «девичьею кожею» – это любимое лакомство институток, которое было в большом запасе в нашей казенной аптеке.



Воспитанницы Смольного института готовят уроки

Однако эти неслыханные для того времени привилегии, которыми она пользовалась, видимо, мало утешали ее. Хотя окрики и брань классных дам были обыкновенно направлены не

на нее, она все-таки при этом вздрагивала, бледнела и по-прежнему имела удрученный вид. Ее хрупкое здоровье, нервная организация, до болезненности страстная привязанность к матери, нежное домашнее воспитание не могли дать ей энергии, силы и устойчивости для сопротивления окружающей грубости и солдатчине, – и она в полном смысле слова увядала, не успевши расцвесть. С подругами она мало сближалась и на их расспросы вяло, нехотя давала односложные ответы и только, болезненно пожимаясь, говаривала: «Как у вас холодно! Как у вас скверно!» – «Что ты все говоришь – у вас да у вас? У нас, то же, что и у тебя, госпожа принцесса-недотрога!..» – насмешливо глядя на нее, выпаливала Ратманова. «Злая, грубая!»– отвечала Фанни и заливалась слезами. Не могла она переносить холода и в классе, хотя и в этом отношении она пользовалась привилегиею не снимать пелеринку даже во время уроков. В продолжение нескольких недель, во время которых она приходила в класс, она редко когда учила заданный урок, а сидела на своей скамейке и всегда что-то писала в свободное время. Инспектриса, когда встречалась с нею, всегда ласково спрашивала ее о здоровье. Верховская, ее дортуарная дама, после ее блестящего дебюта в языках тоже относилась к ней весьма любезно, но m-lle Тюфяевой, этой истинной злопыхательнице, было не по душе отношение к Фанни окружающих, и она то и дело ворчала на нее или кидала в ее сторону злобные взгляды. Однажды, когда та, по своему обыкновению, что-то писала, Тюфяева схватила исписанные ею листики и с этими трофеями поплелась к своему столику.

– Это что такое?..

– Маме письмо.

– Это что за небылица! Какие могут быть у тебя письма к матери, когда ты видишь ее по два раза в неделю? А если к матери пишешь, то с кем же изволишь посылать их?

– Когда мама приходит, я и отдаю их ей сама.

Тюфяева отложила в сторону чулок, который она вечно вязала, надела очки и начала разбирать написанное.

– Как, ты изволишь переписываться по-польски? Я не только скажу об этом инспектрисе, но сама отнесу твои письма начальнице, попрошу ее объяснить мне, смеют ли воспитанницы писать своим родителям на языке, которого кроме полек никто здесь не понимает? Смеют ли они отдавать письма родителям, не прочитанные предварительно классного дамой? С тех пор как я служу, еще никого не баловали так, как тебя. А за что? Не за то ли, что ты лижешься с своею матерью, которая, не успев переступить порог заведения, наделала всем массу неприятностей, даже начальнице; не за то ли, что она оставила

здесь свое чадушко, которое только киснет, нюнит и в обморок падает?

Эта речь была прервана истерическими рыданиями Фанни.

– Дрянь! Плакса! – бросила в ее сторону Тюфяева и, точно после блистательно одержанной победы, победоносно вышла из класса. Мы окружили Фанни, подавали ей воду, смачивали виски, но она так расстроилась от слез, что ее увели в лазарет.

Прошла неделя-другая, а Фанни все еще не показывалась в классе. Как-то утром, когда мы только что встали, мы услыхали беготню в коридорах и стремглав бросились посмотреть, что такое случилось. Мимо нас сновали горничные, больничная прислуга, классные дамы.

– Не сметь выходить из дортуаров! – кричали нам, и мы, как мыши, прятались в свои норы. В ту же минуту в наш дортуар вбежала пепиньерка и заявила m-lle Верховской, что инспектриса просит ее немедленно явиться к ней. Мы, кофульки, пожираемые любопытством, опять выбежали на «разведки». Когда мы загородили дорогу горничной, пробегавшей мимо нас, умоляя ее сказать нам, в чем дело, она остановилась и решительно произнесла: «Как же это возможно? Когда у нас происходит даже не такое важное, да и то нам запрещают вам рассказывать… А тут такое, такое!..» – и, растолкав нас, чтобы проложить себе дорогу, она быстро исчезла.

И в этом случае, как всегда, наше любопытство удовлетворила Ратманова. Она спустилась в нижний коридор к истопнику, который, как человек менее ответственный за несоблюдение институтских тайн, не устоял перед обещанным пятиалтынным и рассказал Ратмановой все без утайки. Тайна, которую от нас скрывали, – побег Фанни Голембиовской. Надев утренний капот, имевшийся у каждой воспитанницы для вставания, и накинув на голову платок прислуги (она рассчитывала, что ее примут за горничную и подумают, что она бежит в лавочку), она рано утром выбежала из лазарета на улицу, но была поймана в нескольких саженях от институтского подъезда швейцаром, который узнал ее и немедленно водворил в лазарет.

Мы не успели опомниться от этого ошеломляющего известия, как к нам вошла пепиньерка и вместо Верховской повела нас в столовую, куда тотчас же вошла инспектриса и взволнованным голосом, не объясняя в чем дело, произнесла:

– Надеюсь, дети, что об этом печальном происшествии вы не будете разговаривать ни между собой, ни с своими родственниками.

– О чем нельзя разговаривать? Что такое произошло? – как

только вышла инспектриса, начали спрашивать те из воспитанниц, которые не успели еще узнать институтской новости.

– Как, вы этого не знаете? – закричала Тюфяева. – Ах вы фокусницы, сквернавки! Вас из грязных закоулков и трущоб подобрали сюда из милости, холили, лелеяли, а вы вот как отблагодарили ваших благодетельниц! Извольте зарубить себе на носу, чтобы с этой минуты вы не смели и близко подходить к лазарету, а тем более к комнате, в которой лежит эта тварь.

Несмотря на строгое запрещение разговаривать между собою о небывалом еще у нас инциденте, мы то и дело говорили о нем. «Отчаянные» как старших, так и младших классов пускались на всевозможные предприятия, чтобы что-нибудь выведать об этом деле. Прячась за углами и колоннами, они подсматривали и подслушивали у дверей лазарета, наблюдали, кто в него входил и выходил, расспрашивали лазаретных служащих, не считавших нужным делать из этого тайну, и таким образом по нескольку раз в день, даже в лицах, передавали новости друг другу.

Как только Фанни привели в лазарет, ее уложили в постель. Она вся дрожала, как в лихорадке. Через час-другой после этого к ее кровати уже подходили: инспектриса, m-lle Верховская в качестве ее дортуарной дамы, начальница Леонтьева и m-lle Тюфяева, которая, как старейшая из классных дам, считала своею обязанностью совать нос во все дела. Когда Фанни увидала особу, которую она ненавидела, она вскрикнула и потеряла сознание. Леонтьева приказала позвать врача и привести ее в чувство. Но тут в комнату вошли, уже извещенные о событии, дядя девочки и ее мать, которая, рыдая, бросилась на колени перед постелью дочери. Наша начальница, со всеми разговаривавшая очень надменно, на этот раз вложила все высокомерное презрение в свои слова и, торжественно протягивая руку по направлению к больной, произнесла: «Сию минуту прошу избавить меня от вашей позорной дочери!». Голембиовская как ужаленная вскочила с колен и, глядя в упор на начальницу, наговорила ей с три короба неприятных вещей, вроде того, что для ее дочери-ребенка нет никакого позора в том, что она, не стерпев институтской муштровки, выбежала из ворот, а для заведения действительно позорно, что из него приходится бегать. Что же касается того, чтобы она немедленно взяла свою дочь, находящуюся в глубоком обмороке, то этого она не сделает, пока врачи, приглашенные ею, не удостоверят ее в том, что это не представляет опасности для жизни ее ребенка. Начальница, как говорят, стояла в это время, подняв глаза к небу, то есть к потолку, как бы призывая бога в свидетели, что ей при ее высоком положении немыслимо

отвечать на это что бы то ни было.

– Как вы смеете так говорить с нашею обожаемою начальницею? – вскричала m-lle Тюфяева, грозно подступая к Голембиовской. – Знаете ли вы, жалкая, несчастная женщина, что к нашей начальнице с благоговением относится даже вся царская фамилия?

Продолжение этой сцены прекратил доктор, который просил у начальницы дозволения сказать ей несколько слов с глазу на глаз. По-видимому, он заявил ей, что девочку пока никак нельзя трогать с места, так как начальница в этот день уже не входила в комнату больной.

Фанни пришла в сознание не надолго: скоро у нее явился жар, а потом и бред, и она около месяца пролежала в лазарете. Ее мать неотступно сидела у ее постели. От времени до времени дверь комнаты больной открывалась, и в нее входила начальница, за которою неизменно следовали Верховская и Тюфяева, – им она предварительно давала знать о своем посещении. Фанни, уже перед этою болезнью сильно исхудавшая, теперь таяла, как свечка. У нашей инспектрисы, которая сама была любящею матерью, нередко текли слезы при виде несчастного ребенка. Но в таких случаях она хваталась за голову и жаловалась на нестерпимую мигрень, а m-lle Тюфяева при этом, с презрением глядя на нее, бросала несколько слов о вреде баловства. Малейшая ласка, всякое доброе слово, сказанное инспектрисою или какою-нибудь классною дамою воспитаннице, терзало сердце Тюфяевой, не знавшей ни жалости, ни пощады. Впоследствии, ближе познакомившись с характером инспектрисы, я была уверена, что она в то время болела душой за несчастную Фанни, преждевременно загубленную суровым институтским режимом, но по слабости своего характера она ничего не могла заметить m-lle Тюфяевой, наветов которой, видимо, она страшно боялась.

Как только в положении Фанни наступила перемена к лучшему, ее мать заявила тотчас же, что берет ее из института.

После этого происшествия не прошло и месяца, как в наш дортуар вошла пожилая дама, родственница Фанни, и просила возвратить ей шкатулку девочки, оставшуюся у нас. Она сообщила нам, что Фанни несколько дней тому назад скончалась от скоротечной чахотки.

Жизнь институток

Суровая дисциплина. – Холод, голод и посты. – Преждевременное вставание. – Охлаждение к родителям. – Презрение к бедным родственникам. –

Традиционное обожание и причина этого явления. – «Отчаянные» и их значение. – Произвол классных дам

Теперь даже трудно себе представить, какую спартанскую жизнь мы вели, как неприветна, неуютна была окружающая нас обстановка. Особенно тяжело было ложиться спать. Холод, всюду преследовавший нас и к которому с таким трудом привыкали «новенькие», более всего давал себя чувствовать, когда нам приходилось раздеваться, чтобы ложиться в кровать. В рубашке с воротом, до того вырезанным, что она нередко сползала с плеч и сваливалась вниз, без ночной кофточки, которая допускалась только в экстренных случаях и по требованию врача, еле прикрытые от наготы и дрожа от холода, мы бросались в постель. Две простыни и легкое байковое одеяло с вытертым от старости ворсом мало защищали от холода спальни, в которой зимой под утро было не более восьми градусов. Жидкий матрац из мочалы, истертый несколькими поколениями, в некоторых местах был так тонок, что железные прутья кровати причиняли боль, мешали уснуть и будили по ночам, когда приходилось повертываться с одного бока на другой.

В первую ночь я долго лежала без сна: холод насквозь пронизывал мои члены. Но вдруг меня осенила счастливая мысль: я развернула салоп, лежащий у моих ног, закуталась в него и уже начинала дремать, когда была разбужена m-lle Верховскою, обходившею дортуар. «Для первого раза, так и быть, оставь салоп, – сказала она, – но помни, что у нас это строго запрещено».

Как только утром в шесть часов раздавался звонок, дежурные начинали бегать от кровати к кровати, стягивали одеяла с девочек и кричали: «Вставайте! Торопитесь!».

Со многими суровыми условиями институтской жизни воспитанницы в конце концов осваивались, хотя и с трудом, но к раннему вставанию редко кто привыкал. Каждый раз с утренним звонком раздавались стоны и жалобы воспитанниц. И действительно, мучительно было так рано подыматься с постели в окончательно остывшей спальне и зимой настолько еще темной, что приходилось зажигать лампу.

Вся институтская жизнь распределялась по звонку: звонок будил нас от сна, по звонку шли к чаю, по звонку мы должны были рассаживаться по партам и ждать учителя, с звонком его урок оканчивался и начиналась рекреация (перемена, от *лат.* recreatio), звонок извещал о необходимости идти в столовую, – одним словом, звонок определял все минуты жизни воспитанниц, служил указателем, что делать, что думать. Звонок и крик классной дамы: «По парам!» – вот что мы слышали с утра до

вечера.

Хотя утренняя молитва происходила в семь часов, следовательно, на наш туалет полагался целый час, но этого времени едва хватало; институтки носили ни с чем не сообразную одежду, с которою лишь очень немногие умудрялись справиться самостоятельно. Застегнуть платье назади, заколоть булавками лиф передника, аккуратно подвязать рукавчики под рукава, заплести косы в две тугие косички (в младшем классе), подвесить их жгутами на затылке, пришпилить бант в самом центре – на все это требовалась чужая помощь. Во многих семьях девочка к десяти годам усваивала полезную привычку одеваться и причесываться самостоятельно, но в институте в большинстве случаев она утрачивала ее. Особенно трудно было причесываться самой. Одна прическа существовала для младшего, другая – для старшего класса. Если волосы были непослушны, слишком густы и волнисты, то из них трудно было устроить гладкую прическу, и воспитанница наживала себе массу неприятностей, пока наконец с помощью подруги не умудрялась сделать то, что от нее требовали. Классные дамы утверждали, что за прической они особенно строго наблюдают, чтобы искоренять кокетство, но этим лишь развивали его. По вечерам, когда дама уходила в свою комнату, воспитанницы старшего класса изощрялись в изобретении причесок, без конца толкуя о том, какая из них кому идет. Институтское начальство никак не могло усвоить мысли, что девочка не может сделаться кокеткой только из-за того, что она причесывается по своему вкусу: если в ней с детства развивали интерес к чтению, она в свободное время будет с подругой разговаривать о прочитанном, а не о прическе.

Одуряющее однообразие институтской жизни, лишенной каких бы то ни было освежающих впечатлений, детских удовольствий и здорового веселья, нарушалось лишь три-четыре раза в год, но большая часть и этих развлечений была устроена так официально, что наводила лишь скуку. На масленой неделе воспитанниц возили кататься вокруг балаганов, но лишь в старшем классе, да и то не всех. Два раза в год устраивали балы, в рождество – елку на счет воспитанниц и, наконец, раз в год водили гулять в Таврический сад. К несчастию, на балах должны были присутствовать все воспитанницы без исключения, но тут они встречали все тех же подруг и то же начальство и в продолжение трех часов танцевали исключительно между собой, как они выражались, «шерочка с машерочкой». Похохотать на таком балу, пошутить, устроить какой-нибудь комический танец было немыслимо: во весь вечер с них не спускали взора классные дамы, инспектриса и начальница, сидевшие на стульях,

поставленных у стены в длинный ряд, обращенный лицом к танцующим. «Дурнушки» и девочки, бывшие не в фаворе у начальства, старались танцевать на другом конце зала, подальше от взоров классных дам. Эти балы, не нарушая томительной монотонности институтской жизни, вознаграждали за свою непроходимую скуку только тем, что воспитанницы получали по окончании их по два бутерброда с телятиной, несколько мармеладин и по одному пирожному.

Более любимым удовольствием была летом прогулка в Таврический сад. Хотя во время торжественного шествия туда из Смольного воспитанницы были окружены своими классными дамами, швейцаром и служителями, разгонявшими всех встречающихся по дороге, но все-таки эту прогулку воспитанницы любили уже потому, что они, хотя раз в год, в продолжение нескольких часов не видели своих высоких стен и у них перед глазами были аллеи и лужайки не своего сада. Кроме институтских служащих и подруг, институтки и здесь никого не встречали: в этот день посторонних изгоняли из Таврического сада.

Томительно-однообразная жизнь и отсутствие чего бы то ни было, что хотя несколько шевелило бы мысль, привлекало глаз, постепенно вливали в душу леденящий холод и замораживали ее. У будущих воспитательниц молодого поколения, которые должны были нести ему живое слово, совершенно была подавлена душевная жизнь и проявление самостоятельной воли и мысли. Всегда и всюду требовалась тишина, каждый час, каждая минута жизни распределялись пунктуально, по команде, по звонку. Результатом этого была развинченность нервов, что чаще всего сказывалось паническим, безотчетным страхом, который иногда вдруг овладевал сразу всеми воспитанницами. Когда вечером после молитвы классная дама уходила к себе, мы, нередко уже раздетые, босые и в одних рубашках, кутаясь в одеяла, размещались на кроватях нескольких подруг и начинали болтать. Но о чем могли разговаривать существа, умственно неразвитые, изолированные от света и людей, лишенные какого бы то ни было подходящего чтения? Мы болтали о разных ужасах, привидениях, мертвецах и небывалых страшилах. При этом чуть где-нибудь скрипнет дверь, послышится какой-нибудь шум – и одна из воспитанниц моментально вскрикивала, а за нею все остальные с пронзительными криками и воплями, нередко в одних рубашках, бросались из дортуара и неслись по коридору. Вбегала классная дама, начинались расспросы, допросы, брань, толчки, пинки, и дело оканчивалось тем, что нескольких человек на другой день строго наказывали.

Таким образом, через сто лет после основания института совершенно был забыт устав, данный ему Екатериною II, в котором так много говорилось о том, чтобы для «целости здравия увеселять юношество невинными забавами», приучать к чтению и устраивать библиотеки, которых у нас не было и в помине. Совершенно противно уставу Екатерины II, все условия института были направлены к тому, чтобы не было нарушено однообразие закрытого заведения. Наше начальство находило это необходимым для того, чтобы воспитанницы сосредоточивали все свои помыслы на развитии нравственных способностей, чтобы приучить их довольствоваться скромною долею. Но достигали диаметрально противоположных результатов. Слишком рассеянная жизнь, несомненно, делает учащихся мало усидчивыми, заставляет их легкомысленно относиться к своим обязанностям, но еще более вредное влияние оказывало убийственное однообразие: оно стирало все индивидуальные особенности, оригинальность и самобытность, притупляло способности ума и сердца, охлаждало живость впечатлений, губило в зародыше восприимчивость и наблюдательность.

Кроме раннего вставания и холода, воспитанниц удручал и голод, от которого они вечно страдали. Трудно представить, до чего малопитательна была наша пища. В завтрак нам давали маленький, тоненький ломтик черного хлеба, чуть-чуть смазанный маслом и посыпанный зеленым сыром, – этот крошечный бутерброд составлял первое кушанье. Иногда вместо зеленого сыра на хлебе лежал тонкий, как почтовый листик, кусок мяса, а на второе мы получали крошечную порцию молочной каши или макарон. Вот и весь завтрак. В обед – суп без говядины, на второе – небольшой кусочек поджаренной из супа говядины, на третье – драчена или пирожок с скромным вареньем из брусники, черники или клюквы. Эта пища, хотя и довольно редко дурного качества, была чрезвычайно малопитательна, потому что порции были до невероятности миниатюрны. Утром и вечером полагалась одна кружка чаю и половина французской булки. И в других институтах того времени, сколько мне приходилось слышать, тоже плохо кормили, но, по крайней мере, давали вволю черного хлеба, а у нас и этого не было: понятно, что воспитанницы жестоко страдали от голода. Посты же окончательно изводили нас: миниатюрные порции, получаемые нами тогда, были еще менее питательны. Завтрак в посту обыкновенно состоял из шести маленьких картофелин (или из трех средней величины) с постным маслом, а на второе давали размазню с тем же маслом или габер-суп (овсяный суп). В обед – суп с крупой, второе – отварная рыба, называемая у нас

«мертвечиной», или три-четыре поджаренных корюшки, а на третье – крошечный постный пирожок с брусничным вареньем.

Институт стремился сделать из своих питомиц великих постниц. Мы постились не только в рождественский и великий посты, но каждую пятницу и среду. В это время воспитанницы чувствовали такой адский голод, что ложились спать со слезами, долго стонали и плакали в постелях, не будучи в состоянии уснуть от холода и мучительного голода. Этот голод в великом посту однажды довел до того, что более половины институток было отправлено в лазарет. Наш доктор заявил наконец, что у него нет мест для больных, и прямо говорил, что все это от недостаточности питания. Зашумели об этом и в городе. Наряжена была наконец комиссия из докторов, которые признали, что болезнь воспитанниц вызывается недостаточностью пищи и изнурительностью постов. И последние были сокращены: в великом посту стали поститься лишь в продолжение трех недель, а в рождественском – не более двух, но по средам и пятницам постничали по-прежнему.

В столовой Смольного института благородных девиц

Конечно, воспитанницам, имевшим родственников в Петербурге, приходилось меньше страдать от голода. Они просили приносить им не конфеты, а хлеб и съестное, и получали деньги, которые потихоньку (это было строго запрещено) хранили у себя.

Воспитанницы возвращаются в свой класс после обеда. «Богачихи», подкрепив себя пищею, полученною из дому, и заткнув уши пальцами, неистово долбят уроки. Голодные же бродят, как мухи в осенний день, решительно ничего не делают и слоняются из угла в угол или сидят кучками и разговаривают о том, как бы *промыслить* себе «кусок», у кого бы для этого призанять деньжонок. «Полякова будет сейчас брать десятый урок музыки, следовательно, мать принесла ей денег для расплаты, – вот мы к ней и подъедем», – сообщает одна воспитанница другой, и обе стремглав бросаются к подруге. На просьбы дать взаймы Полякова отвечает отказом. Деньги, которые лежат в записной тетради, должны быть сегодня же вручены учительнице. Но ей доказывают, что ничего дурного не выйдет из того, если она извинится перед нею и скажет, что ее мать доставит деньги через несколько дней. Но Полякова наотрез отказывается исполнить просьбу подруг, указывая на то, что ее учительница музыки – особа крайне неделикатная и может пожаловаться дортуарной даме, которая будет считать своею обязанностью попросить ее мать быть впредь более аккуратною при расплате за уроки.

– Жадная, вот и все! Боишься, что деньги пропадут! Скупердяйка! Помни, что с этих пор никто иначе и называть тебя не будет!.. – И просительницы убегают. Полякова, встревоженная угрозой, летит за ними и дает им деньги.

– Голубчик Иван, сделай, что мы тебя попросим! – пристают воспитанницы к сторожу. Они разговаривают с ним стоя у двери, напряженно прислушиваясь к малейшему шороху.

– С просьбами-то вы умеете обращаться, а до сих пор еще не заплатили за хлеб!

– Мы с тобой, Иванушка, сегодня же рассчитаемся… Купи нам по этой записке…

– Нечего тут расписывать, не впервой с вами возиться… Опять та же колбаса, сушеные маковники, хлеб, булки… Прямо говорите, на сколько купить, и сколько положите мне за беспокойство, а то вы скоро цену каждой покупке будете назначать. А ведь в здешних лавках за все берут втридорога: знают, что по секрету, ну и дерут.

Девочки передают деньги солдату и умоляют его положить покупку в нетопленную печку на том или другом коридоре.

– Пойду еще печки щупать, – грубо ворчит сторож, – суну под лавку в нижнем коридоре – вот и вся недолга. Жрать захотите, всюду придете…

Нередко и бывало, что сторож сунет покупку под лавку в нижнем коридоре, куда ходить строго воспрещалось. Тогда добыть ее поручают «отчаянным», в награду за что их приглашают

разделить трапезу.

Несмотря на то, что как казенные воспитанницы (поступившие по баллотировке на казенный счет), так и своекоштные должны были получать от казны все необходимое, каждой воспитаннице приходилось иметь ежегодно порядочную сумму денег для удовлетворения разнообразных нужд. Прежде всего необходимо было приобретать на свой счет все, что касалось туалета: гребенки, головные и зубные щетки, мыло, помаду, перчатки для балов, – эти предметы казна вовсе не выдавала нам. Но это было еще далеко не все. Мы не могли являться ни на балы, ни даже на уроки танцев в казенных башмаках – выделывать в них антраша[131] и пируэты не было физической возможности: наши «шлепанцы» то и дело сваливались с ног, а когда приходилось вытягивать носок, балетчица, в младших классах обучавшая нас танцам, замечала то одной, то другой танцевавшей в казенных башмаках: «Да вы, кажется, вместо носка пятку вперед вывернули». Она находила нужным постоянно делать подобные замечания, вероятно надеясь на то, что начальство обратит наконец внимание на башмаки воспитанниц, вынужденных пользоваться казенными. Несмотря на то, что эта ирония балетчицы повторялась очень часто, воспитанницы и классная дама каждый раз разражались смехом, а несчастный объект этой насмешки не знал, куда от стыда глаза девать.

Среди воспитанниц не было героинь, а между тем от них требовалось почти геройство или, во всяком случае, значительное мужество для того, чтобы не стыдиться бедности в то время, когда чуть не все русское общество, и особенно институтское, открыто презирало бедность. Так как институт не давал воспитанницам ни нравственного, ни умственного развития, а постепенно прививал лишь пошлые воззрения, то они к выпуску вполне укреплялись в мысли, что если бедность – не порок, то гораздо хуже всех пороков.

В старшем классе приходилось тратить особенно много денег. Прежде всего, тут мы уже обязаны были носить корсет. Правда, воспитанницы имели право получать его от казны, и хотя он был, как и вся наша одежда, непрактичен и сшит не по фигуре, но раз он был надет, начальство не придиралось. Но дело в том, что китовый ус в казенном корсете был заменяем то металлическими, то деревянными пластинками, до такой степени хрупкими, что они беспрестанно ломались и впивались в тело. Поносишь, бывало, такой корсет месяц-другой, и вся талия оказывается в ссадинах и ранках. Нестерпимая боль заставляет воспитанницу умолять родных дать ей денег на покупку собственного корсета.

Может быть, вне института его можно было приобрести дешевле, но у нас он стоил от 6 до 8 рублей. Желающие иметь собственный корсет должны были подчиняться общему правилу: заказывать его у корсетницы, которой начальство разрешало приезжать в институт снимать мерку. Выходило, что, по самому скромному расчету, каждой воспитаннице лично для своих потребностей нужно было ежегодно иметь по крайней мере рублей пятнадцать – семнадцать. Но и этою суммою мудрено было ограничиться: перед рождественскими праздниками воспитанницы устраивали в складчину елку, перед пасхою необходимо было иметь деньги на покупку шелка, чтобы вышивать мячики, которыми христосовались вместо яиц со священником, дьяконом, с учителями, инспектрисою. Существовал обычай праздновать именины, то есть угощать в этот день подруг и учителей, на что затрачивалось сразу несколько рублей; было и множество других расходов, – избежать их было чрезвычайно мудрено. Конечно, более всего нужны были деньги на то, чтобы не голодать. Воспитанницам, деньги которых были на руках классных дам, дозволялось покупать булки и ничего другого из съестного; те же, которые сами хранили деньги, покупали все, что хотели, но эти покупки обходились им втридорога.

В первый год после своего поступления в Смольный, когда мысль о доме еще жила в душе воспитанницы, когда нежные узы любви к родителям еще не ослабели, она вспоминала о домашних нуждах, о бедности своего семейства и употребляла все средства, чтобы сокращать свои расходы, урезывать себя даже в существенных потребностях. Но более или менее продолжительное пребывание в институте, напоминавшем настоящий женский монастырь, изолированный от мира и людей, в который никогда не проникали ни человеческие стоны, ни человеческие страдания, заставлял ее все глубже погружаться в тину институтской жизни, все равнодушнее относиться ко всему остальному. Между родителями и дочерью-институткой мало-помалу возникали недоразумения, – прежде всего, на почве материальной. Имея множество нужд, которых казна или вовсе не удовлетворяла, или удовлетворяла крайне плохо, воспитанница то и дело обращалась к родителям с просьбою дать ей денег или купить то одно, то другое. Большинство родителей были люди небогатые и зачастую отказывались исполнять такую просьбу, а других возмущало то, что, отдав дочь на казенное иждивение, они должны были постоянно тратиться на нее. К тому же и дочка все менее утешала их: они замечали, что она теряет привычку к экономии, приобретенную в семье. Сначала она сама упрашивала их доставлять ей лишь то, что действительно было для нее

крайне необходимо, а потом начинала требовать денег на подарки, просила принести ей то духи, то одеколон и, наконец, умоляла купить золотую цепочку, на которой она могла бы носить крест – единственное украшение, которое вам не было воспрещено. И родители, осаждаемые вечными просьбами, делавшимися все более настойчивыми и бессердечными, раздражались на свою дочь.

Вечно выпрашивать у родителей деньги нас заставляли не только необходимость или собственный каприз, но и классные дамы. M-lle Верховская была особой весьма изящной. Она любила красивые туалеты и тратила на них почти все свое жалованье. Даже в своем простом форменном синем платье она казалась несравненно более нарядной, чем все остальные ее товарки. Перед своими выездами она открывала дверь своей комнаты и, красивая, нарядная, улыбающаяся, выходила к нам и спрашивала, как мы находим ее новое платье. Мы приходили в восторг от такого милого отношения и в ответ кричали ей: «королева», «божественная», «небесная»! Красивая и изящная всегда, она была особенно прекрасна в эти минуты своего «отлета» из института, когда она, хотя на несколько часов, оставляла ненавистные для нее стены монастыря, в котором жила по необходимости. Вероятно, вследствие любви ко всему изящному Верховская еще более других классных дам навязывала своим воспитанницам покупку всего дорогого, не считаясь со скудными средствами огромного большинства.

– Дети! Я еду в гостиный двор, – объявляет она. – Что кому нужно?

Одна просит купить мыло, другая – помаду, гребенку, перчатки, щетку. На ее вопрос, какое мыло купить, ей отвечают: «Самое простое, копеек в пятнадцать».

– Что тебе за охота мыться такою дрянью? Я за шестьдесят копеек куплю тебе превосходное мыло…

– Но ведь тогда у меня останется всего один рубль, а раньше как через три месяца мне не пришлют денег из деревни.

– Как хочешь. Я могу купить и в пятнадцать копеек. Если память меня не обманывает, таким мылом в прачечной белье моют. Ведь от него, пожалуй, салом несет!..

– Тогда, пожалуйста, mademoiselle, купите такое, какое вы советуете, – спешит заявить воспитанница, опасаясь рассердить Верховскую своим упорством и заставить ее заподозрить себя в расчетливости.

Так бывало с маленькими воспитанницами, а в старшем классе они уже привыкали к дорогим туалетным принадлежностям и сами просили не покупать дешевых.

Там, где классные дамы не подбивали воспитанниц на покупку дорогих вещей, они вынуждали их тратиться на что-нибудь другое. Например, у одной классной дамы, Лопаревой, была страсть навязывать лотерейные билеты, чем она, вероятно, оказывала услугу кому-нибудь из своих знакомых. Несмотря на то, что раздача их была сопряжена для нее с некоторыми неприятностями, она продолжала делать свое.

– Кто из вас возьмет лотерейный билет? Всего по четвертаку… Прехорошенькие вещицы на выигрыше: салфеточки, запонки, пряжки, подушки для булавок…

Все молчат.

– Долго я буду дожидаться? Павлухина, ты сколько берешь?

– Не знаю, право…

– Кто же знает, если ты не знаешь? Говори же, наконец…

– Один…

– Один? Да чего же ты боишься? Ведь если ты возьмешь даже четыре билета, у тебя все же останется еще два рубля!..

– Хорошо.

Лопарева немедленно записывала за Павлухиной четыре билета.

– А ты, Осипова, сколько берешь? Хотя у меня нет твоих денег, но я с удовольствием одолжу тебе до приезда твоего отца.

– Как же мне просить у него денег на лотерею, когда он только что купил мне ботинки и перчатки! Он, наверно, откажется: скажет, что мне не нужны здесь ни запонки, ни салфетки, которые разыгрываются.

– Можешь сказать твоему отцу, что билеты эти берутся не для того, чтобы что-нибудь выгадать для себя, а чтобы помочь несчастному семейству. Если ваши родители не приучили вас дома к состраданию, то мы обязаны делать это.

После такого внушения билеты разбирались, хотя по-прежнему весьма неохотно, но беспрекословно. Дело доходит до воспитанницы Петровой, одной из «отчаянных». M-lle Лопарева, не ожидавшая ничего хорошего для себя от этой воспитанницы, уже повернулась, чтобы уйти в свою комнату, но та сама подошла к ней и отчеканила:

– Денег для этих билетов я просить не буду… Моя мать не знает несчастного семейства, в пользу которого вы распродаете билеты… Нам и для собственной еды приходится то и дело клянчить деньги у родителей…

– Гадина! Пошла прочь! – вскричала Лопарева и изо всей силы хлопнула за собою дверь.

– Счастливая! Сумела отвязаться от проклятых билетов! – с завистью говорит Петровой одна подруга. – Как бы я хотела быть

такою же отчаянной, как ты! Да вот не могу…

Дорого обходились нам и наши горничные; в каждом дортуаре служила одна из них. Она обязана была убирать не только нашу спальню, но и комнату классной дамы, а также служить как нам, так и ей. Она действительно убирала дортуар, но служила исключительно классной даме. Нужно заметить, что воспитанницы обязаны были сами убирать свои кровати и ящики табуретов. Если перед уходом в класс кто-нибудь из нас забывал это сделать или плохо выполнял эту обязанность, ее бранили и наказывали. Если горничная по уходе воспитанницы замечала беспорядок на ее кровати или в табурете, она старалась исправить эту небрежность, но только для той, которая покупала ее любезность; на беспорядок же у воспитанницы, от которой она мало получала, она нередко даже обращала внимание классной дамы. Несмотря на то, что каждая воспитанница дарила горничной деньги за ее услуги, дортуарная дама два раза в год (в пасху и рождество) делала сбор на покупку для нее подарка. Вследствие этого дортуарные горничные сравнительно с остальною прислугою института быстро наживались, что давало им возможность через несколько лет после вступления в эту должность выходить замуж. Тут уже воспитанницам предстояла трата более значительная, чем все предыдущие.

– Дети! – обратилась к нам однажды m-lle Верховская. – Дортуар mademoiselle Лопаревой сделал прекрасное приданое своей горничной. Смотрите же и вы, не ударьте в грязь лицом… Подумаем сообща, что кому из вас попросить у родителей для Даши. Ты, Маша, что собираешься сделать для нее?

– Полдюжины носовых платков…

– Прекрасно, но ведь это же пустяки! Мы вот как устроим это дело: пусть каждая из вас купит для нее какой-нибудь пустячок в приданое и что-нибудь существенное. Ольга! Твоя сестра имеет много вкуса: она сумела бы выбрать для нее простенькое, но хорошенькое подвенечное платье! Какой-нибудь недорогой шерстяной материи… Ну, а еще купи ей, например, чулки или что-нибудь в этом роде…

Между тем сестра этой воспитанницы не имела собственных денег; ее муж сам покупал для нее наряды, но таких интимных сторон жизни институтка уже никогда не передавала классной даме.

– А твоя мама, Аня? Я знаю… она не может много тратить! (Верховская намекала на то, что мать этой воспитанницы была бедна, так как она приходила в институт очень скромно одетою.) – При этом намеке воспитанница краснела от стыда. – Она может не покупать нашей невесте никакого пустячка, но

пусть приобретет для нее только полдюжины готовых рубашек. Это не обойдется ей очень дорого!.. А ты что?

– Перчатки.

– Неужели только? Подумай сама, какое же составится приданое, если одна из вас подарит перчатки, другая – полдюжины носовых платков… Вам нечего скаредничать! Ведь вы собираете на Дашу в последний раз.

А между тем в нашем дортуаре уже вторая горничная выходила замуж, к тому же сборы на праздничный подарок происходили регулярно.

Некоторые воспитанницы тратили деньги и на подарки классной даме в день ее именин. За два, за три месяца она обыкновенно говорила горничной о том, что ей хочется купить то или другое, но что она отложит эту покупку до той поры, пока скопит себе деньги. Иногда воспитанницы в складчину покупали какой-нибудь подарок, иногда несколько воспитанниц дарили ей отдельно каждая, – только Верховская никогда не принимала подарков.

В одном из дортуаров две воспитанницы-сестры положили на стол своей классной дамы большой изящный ящик с чаем, обтянутый атласом и затканный выпуклыми китайскими фигурами.

– Кто из вас положил мне это? – спрашивала классная дама, входя в дортуар с ящиком в руках.

– Мы, mademoiselle, – отвечали обе сестры.

– Но кто же из вас? Ты или твоя сестра? – насмешливо улыбаясь, переспросила дама.

– Мы обе! – отвечали удивленные сестры. Подарок был сравнительно дорогой – несколько фунтов высокого сорта желтого чая; но классная дама, вероятно, не подозревала его ценности, а может быть, потому, что рассчитывала получить другое, она не постыдилась в упор поставить такой вопрос.

Охлаждению между родителями и дочерьми содействовал и весь строй институтской жизни. Нужно помнить, что в ту пору институт был совершенно закрытым заведением: воспитанниц не пускали к родным ни на лето, ни на праздники, и они мало-помалу забывали обо всем, что делалось вне их стен. Все, что происходило не в институте, для институток становилось все более безразличным, даже странным, – их отчуждение от родителей и родного гнезда росло все быстрее. Скоро у них не хватало даже тем для разговора во время их свиданий. В приемные часы институтка сообщит родственникам о том, кого она «обожает», сколько раз в эту неделю она встретила «обожаемый предмет», не утаит и того, как она была наказана, за

что на этих днях придиралась к ней «ведьма», какой балл она получила у учителя, – и материал для разговора исчерпан. Мало того, она замечает, что и эти новости, для нее столь значительные, совсем не интересуют ее родных, а ее братья и кузены относятся к ним даже насмешливо. Это ее раздражает и мало-помалу озлобляет против своих. Она старается все меньше знакомить их с событиями институтской жизни и иногда через минут десять после свидания совсем умолкает, а между тем ей приходится сидеть с родными в приемные дни часа два и более.

Расширение умственного кругозора учениц посредством преподавания могло бы еще поддерживать между родителями и их дочерьми интерес друг к другу, но в то время, которое я описываю, оно в России всюду было поставлено очень плохо, а в Смольном еще того хуже. Подходящего чтения, которое могло бы хотя несколько заинтересовать учениц, не существовало. Если и было несколько любительниц чтения (их вообще было крайне мало), то они читали плохие французские романы в оригинале, а еще чаще в безграмотных переводах.

Классные дамы – наше непосредственное и ближайшее начальство – не могли и не желали возбуждать в нас стремление к чтению. Сами крайне невежественные, они настойчиво проповедовали необходимость для молодых девушек усвоить лишь французский язык и хорошие манеры, а для нравственности – религию. «Остальное все, – как без стеснения выражалась m-lle Тюфяева, – пар и, как пар, быстро улетучится… Вот я, например, после окончания курса никогда не раскрывала книги, а, слава богу, ничего из этого дурного не вышло: могу смело сказать, начальство уважает меня».

Преподаватели Смольного института

В дореформенное время нас не обучали естественным наукам, и мы никогда ничего не читали по этим предметам. Да и могли ли они нас интересовать при нашей затворнической жизни? За все время воспитания мы никогда не видели ни цветов, ни животных, не могли наблюдать и явлений природы: сидим, бывало, в саду во время летних каникул, а чуть только тучи начинают сгущаться, – нас немедленно ведут в дортуар или класс. Во время всей нашей затворнической жизни нам не удавалось видеть ни широкого горизонта, ни простора полей и лугов, ни гор, ни лесов, ни моря, ни рек и озер, ни восхода и заката солнца, ни бурана в степи, хотя мы и делали сочинения о всех этих явлениях природы. Те, у кого в детстве была развита любовь к природе, здесь совершенно утрачивали ее. Весьма естественно, что, окончив курс в институте, мы были вполне равнодушны к красотам природы. С утра до вечера мы видели перед собой лишь голые стены громадных дортуаров, коридоров, классов, всюду выкрашенные в один и тот же цвет. Все эти апартаменты производили на новенькую удручающее впечатление чего-то холодного, неуютного, что заставляло от страха замирать робкое детское сердце, но проходил год-другой, и никто из нас не обращал на это внимания, никто не находил эту обстановку ни постылою, ни странною. Спрашивается: почему не могли окрасить стены каждого дортуара в особый цвет, обвести их сверху каким-

нибудь цветным бордюром и тем придать спальне менее казенный вид? Кроме приемной залы, где были портреты царской фамилии, стены были повсюду совершенно голые. Почему не могли повесить на них портретов знаменитых писателей, олеографии (многокрасочные печатные копии. – *Прим. ред.*) с историческими сюжетами, пейзажи красивых местностей? Почему не дозволялось воспитанницам прикреплять к изголовью кроватей фотографии родителей и родственников, почему запрещено было ставить на подоконниках горшки с цветами, за которыми могли бы ухаживать воспитанницы? Все это хотя несколько скрашивало бы однообразие жизни, возбуждало бы человеческие чувства, хотя слабо поддерживало бы любовь к прекрасному.

Этот казарменный режим, вытравлявший любовь к родителям, привязанность к родному гнезду и другие человеческие чувства, клал особенно постыдный отпечаток на отношение воспитанниц к бедным родственникам. Как краснели они, когда в приемные дни им приходилось садиться подле плохо одетых матерей и сестер! Как страдала институтка, когда в это время, нарочно, чтобы переконфузить ее еще более, к ним подходила дежурная классная дама и обращалась к ее родственнице с каким-нибудь вопросом на французском языке, которого та не знала. Конечно, в таких случаях классные дамы могли только бросать презрительно-насмешливые взгляды, но вслух редко решались выражать свое презрение. Однако, желая дать это почувствовать воспитаннице, они зачастую останавливали свое внимание на особах, являвшихся в институт в модном туалете. Провинится, бывало, в чем-нибудь воспитанница, имеющая богатых родных, и классная дама замечает: «Воображаю, как тяжело будет твоей достойной матушке узнать о твоем дурном поведении!». А между тем все достоинство этой матери, с которою классная дама никогда не сказала ни слова, состояло только в том, что та являлась в приемную в богатом туалете. Немало было таких случаев: воспитанницу спрашивают, кто у нее был в последнее воскресенье. «Няня», – отвечает та, и не только классной даме говорит она это, но и своим подругам, а между тем к ней приходила ее родная мать, но она была бедно одета, и институтка отреклась от родной матери. Вот как был велик ужас сознаться в бедности своих родителей! Ни с кем не разговаривая в институте о семье, если она не была богатою, воспитанница скоро забывала о своем тяжелом материальном положении и делалась все более чужою и далекою членам своей родной семьи. Матери, несколько лет не видавшие своих дочерей после их определения в институт,

обыкновенно поражались нравственною переменою, происшедшею с ними за время разлуки.

Постепенно утрачивая естественные чувства, институтки сочиняли любовь искусственную, пародию, карикатуру на настоящую любовь, в которой не было ни крупицы истинного чувства. Я говорю о традиционном институтском «обожании», до невероятности диком и нелепом. Институтки обожали учителей, священников, дьяконов, а в младших классах и воспитанниц старшего возраста. Встретит, бывало, «адоратриса» (так называли тех, кто кого-нибудь обожал) свой «предмет» и кричит ему: «adorable», «charmante», «divine», «celeste» («Восхитительная», «прелестная», «божественная», «небесная» *(фр.). – Прим. ред.*), целует обожаемую в плечико, а если это учитель или священник, то уже без поцелуев только кричит ему: «божественный», «чудный»! Если адоратрису наказывают за то, что она для выражения своих чувств выдвинулась из пар или осмелилась громко кричать (классные дамы преследовали нас не за обожание, а лишь за нарушение порядка и тишины), она считает себя счастливою, сияет и имеет ликующий вид, ибо она страдает за свое «божество». Наиболее смелые из обожательниц бегали на нижний коридор, обливали шляпы и верхние платья своих предметов духами, одеколоном, отрезывали волосы от шубы и носили их в виде ладанок на груди. Некоторые воспитанницы вырезали перочинным ножом на руке инициалы обожаемого предмета, но таких мучениц, к счастью, было немного.

Мне так часто приходилось упоминать об «отчаянных», что я хочу сказать о них несколько слов. Как это ни странно, но «отчаянные» вследствие своего дерзкого поведения пользовались у нас некоторыми преимуществами. Хотя начальство их жестоко ненавидело, но в то время как классные дамы за ничтожные провинности награждали трепкой и пинками «кофулек», они несравненно более стеснялись с «отчаянными», особенно старшего класса, которые могли наговорить им много неподходящего; классные дамы называли это дерзостями, а большая часть воспитанниц – «правдою». Эта «правда» роняла авторитет дам перед классом, и они многое спускали «отчаянным», только бы лишний раз не услышать их дерзкие речи.

Существование «отчаянных» приносило некоторую пользу и остальным воспитанницам: во-первых, большинство их защищало не только собственные интересы, но и интересы класса, вступаясь чаще всего за тех, которые были несправедливо наказаны. Можно смело сказать, что отчаянное поведение некоторых воспитанниц старшего класса, где они были уже более находчивыми,

несколько ослабляло грубый произвол и самодурство классных дам.

Каким образом могли существовать отчаянные, когда начальство всегда могло выбросить их из института? Происходило это, вероятно, потому, что не так-то просто было уволить из института воспитанницу, которая была не по душе начальству. Когда начальница, осведомленная о дурном поведении той или другой воспитанницы, доносила об этом (еще в гораздо более ранние времена, чем те, которые я описываю) императрице Марии Федоровне, та не поощряла таких жалоб, а напротив – ставила их в величайшую вину не только классным дамам, но и начальнице. Даже гораздо позже, когда высшее заведование институтом перешло к императрице Александре Федоровне, которая сравнительно с предшествующею государынею почти не занималась институтом, император Николай Павлович лично просил начальницу Леонтьеву оставить все порядки, весь строй и дух института, как это было при его матери, императрице Марии Федоровне. Однажды Леонтьева донесла императрице Александре Федоровне о том, что одну из воспитанниц следовало бы исключить за шалости. Императрицу это расстроило, тем более что она в это время была больна. Узнав об этом, Николай Павлович был страшно взбешен, что таким сообщением потревожили его супругу во время ее болезни, и немедленно приказал передать Леонтьевой, чтобы она не смела расстраивать его супругу донесениями о таких пустяках как школьные шалости институток, и еще раз строго подтвердил, чтобы она всецело руководствовалась правилами, введенными для институтов его покойною матерью. После того Леонтьева, видимо, была более осторожна в своих донесениях: в ее письмах к императрице Марии Александровне проглядывает уже другой характер. «Некоторые девушки слишком резвы, но это так естественно в их юном возрасте», – вот в каком тоне писала она новой императрице. Вероятно, императрица Мария Александровна тоже не выказывала желания легко исключать воспитанниц из института. За все время моего воспитания из института были уволены только две воспитанницы и два раза хотели уволить меня, но это не удалось ни в тот, ни в другой раз. Вообще выкинуть воспитанницу из института было не так-то легко, в чем я убедилась впоследствии по собственному опыту, и вот этим-то я объясняю существование у нас «отчаянных».

Нравственное воспитание у нас стояло на первом плане, а образование занимало последнее место; вследствие этого наши учителя не имели никакого значения в институте. Все воспитание было в руках классных дам, являвшихся нашими главным

руководительницами и наставницами.

Дочь бедных родителей, окончив курс в институте, шла в гувернантки, – это было почти единственное средство заработка для женщины того времени. Она могла быть и учительницей в пансионе, но их было слишком мало, чтобы приютить всех желающих. Институт редко принимал в классные дамы очень молодых девушек, а потому им по окончании курса в институте волей-неволей приходилось начинать свою жизнь с гувернантства. Умственно и нравственно неразвитая, – все ее образование заключалось в долбне и в переписывании тетрадей, – белоручка по воспитанию и привычкам, она не могла заинтересовать детей своим преподаванием, не имела и практического такта для того, чтобы дать отпор тогдашним избалованным помещичьим детям. Положение гувернантки в крепостнический период было вообще самое печальное, а положение гувернантки-институтки вследствие полной неподготовленности к жизни было еще того хуже. Меняя одно место на другое, выпив до дна полную чашу обид и унижений, девушка после нескольких лет гувернантства добивалась наконец места классной дамы, если только, конечно, во время своего институтского воспитания она сумела хорошо зарекомендовать себя перед начальством. За время гувернантства она не обновила своего умственного багажа, а только испортила характер и явилась на казенную службу уже особою озлобленной, с издерганными нервами, мелочною и придирчивою. Окруженная молодыми девушками, она не могла без зависти смотреть на молодые лица. В этом возрасте и она мечтала о счастье взаимной любви (других мечтаний в то время у молодой девушки не бывало), и они, как она, тоже, вероятно, рассчитывают выйти замуж за богатых и знатных, которые с обожанием будут склонять колени перед ними. Но ее мечты не осуществились, ее встретили в жизни лишь тяжелая зависимость и неволя… И с ними, – думала она, – будет то же, что и с нею, но они счастливее ее уже тем, что еще могут надеяться и мечтать!.. И новая классная дама сразу становилась с воспитанницами в официальные отношения, а затем делалась все более придирчивою и злою. Ее гувернантство не дало ей педагогической опытности, а если бы она и приобрела ее, то не могла бы применять ее в институте, где существовали особые правила и традиции для воспитания, и где весь строй жизни был противоположен семейному.

В качестве классной дамы она продолжала влачить свою жалкую жизнь, не скрашенную даже привязанностью воспитанниц, вверенных ее попечению. Через несколько лет своей службы она уже была на счету «старой девы», и наконец сама

приходила к окончательному выводу, что жизнь ее обманула, что больше ей уже не на что рассчитывать, и, разочаровавшись во всем и во всех, она начинала думать только о своем покое. Вот почему классные дамы так ревниво охраняли мертвую неподвижность, вот почему они не допускали шума даже во время игр и забав. Невежественные, мелочные, придирчивые, многие из них были настоящими «фуриями» и «ведьмами», как их называли. В маленьких классах они грубо толкали девочек, чувствительно теребили их; со старшими было немыслимо позволять это себе, но зато их можно было наказывать за всякий пустяк: за недостаточно глубокий реверанс, за смех, за оборванный крючок платья, за спустившийся рукавчик, за прическу не по форме и т. д. до бесконечности.

К классной даме принято было обращаться *только* с просьбою: «Позвольте мне отправиться в музыкальную комнату для упражнений на фортепьяно», «Позвольте мне выйти в коридор», но вступать с нею в простой, человеческий разговор считалось непозволительною фамильярностью. Самым обычным наказанием было сорвать передник, поставить к доске на несколько часов, что обыкновенно сильно мешало приготовлять уроки к следующему дню. Некоторые классные дамы, наказывая воспитанницу младшего класса, не позволяли ей плакать: резко отрывая носовой платок от глаз ребенка, они кричали: «Souffrez votre punition, souffrez!» («Извольте терпеть, когда вас наказывают, извольте терпеть!» *(фр.). – Прим. ред.*). Этим достигали того, что дети скоро переставали стыдиться наказания, а в старшем классе к нему уже относились совершенно равнодушно, как к неизбежной повинности. Я не буду говорить особо о наказаниях, так как о них то и дело приходится упоминать в этом очерке, но не могу не сказать несколько слов об одном из них, тем более что оно совершенно подрывало физические и нравственные силы девочек.

Известный детский ночной грех возбуждал к провинившейся бесчеловечное отношение со стороны всех без исключения окружающих. Это несчастие случалось с некоторыми воспитанницами обыкновенно лишь в первый год их вступления в институт, следовательно, когда им было 9 или 10 лет. В младшем классе редко кто из девочек понимал позор доноса на подругу, и никто из них не умел разобраться в том, происходит ли несчастие с товаркой от дурной привычки или от болезни. Совершенно так же плохо были осведомлены на этот счет и классные дамы. Между тем те и другие твердо усвоили понятие о том, как постыдно не соблюдать чистоплотных обычаев. Как только утром воспитанницы вставали, и одна из них замечала, что у подруги не

все обстоит благополучно, она объявляла об этом во всеуслышание. Провинившуюся осыпали бранью, кричали ей, что она опозорила дортуар, и звали классную даму, которая надевала провинившейся мокрую простыню поверх платья и завязывала ее на шее. В таком позорном наряде несчастную вели в столовую и во время чая ставили так, чтобы все взрослые и маленькие воспитанницы могли все время любоваться ею. Тут опять на несчастную сыпался град насмешек и издевательств, отовсюду раздавались вопросы – из какого дортуара эта особа? Во время урока несчастную избавляли от позорного трофея, но когда приходилось спускаться в столовую к завтраку и обеду, она опять была украшена им.

Этого несчастия воспитаннице никогда не удавалось скрыть от подруг, а между тем оно обыкновенно повторялось… Подруги, считая себя из-за нее окончательно опозоренными, все запальчивее выражали к ней ненависть и презрение, не называя ее иначе, как позорными эпитетами, толкали, щипали ее. Чтобы предупредить повторение этой слабости, воспитанницы каждый раз, когда кто-нибудь из них просыпался, считали своею священною обязанностью будить несчастную. В дортуаре было до 30 девочек, они то и дело просыпались ночью и совсем не давали спать злосчастному ребенку. Понятно, что при этих нападках несчастие с ребенком начинало быстро учащаться и в конце концов делалось хроническим явлением. Такие девочки являлись настоящими мученицами. В то время как бедную девочку чуть не сживали со света, никто никогда не обратился к доктору, чтобы узнать, не подвержена ли она какой-нибудь болезни, не следует ли ее лечить, вместо того чтобы карать с такою жестокостью. Одна девочка, испытывая подобные пытки, из здорового, краснощекого ребенка, каким она поступила в институт, через полгода превратилась в хилое, желтолицее существо. В конце концов ее удалили из института. Когда через несколько месяцев после этого она приехала к нам навестить свою родную сестру, бывшую в старшем классе, – этот еще недавно затравленный зверек имел вид веселый и здоровый.

Грубость и брань классных дам, под стать всему солдатскому строю нашей жизни, отличались полною непринужденностью. Наши дамы, кроме немки, говорившей с нами по-немецки, обращались к нам не иначе как по-французски. Они, несомненно, знали много бранных французских слов, но почему-то не удовлетворялись ими и, когда принимались нас бранить, употребляли оба языка, предпочитая даже русский. Может быть, это происходило оттого, что выразительною русскою бранью они надеялись сильнее запечатлеть в наших сердцах свой чистый,

поэтический образ! Как бы то ни было, но некоторые бранные слова они произносили не иначе как по-французски, другие – не иначе как по-русски. Вот наиболее часто повторяемые русские выражения и слова из их лексикона: «вас выдерут, как Сидоровых коз», «негодница», «дурында-роговна», «колода», «дубина», «шлюха», «тварь», «остолопка»; из французских слов неизменно произносились: «brebis galeuse» (паршивая овца), «vile populace» (сволочь). Брань и наказания озлобляли одних, а к другим прививали отчаянность и бесшабашность, иных делали грубыми и резкими, а многих заставляли терять всякое самолюбие. И это естественно: там, где не действует убеждение, уже никак не может благотворно влиять наказание, в корне убивающее стыдливость.

Воспитание ограничивалось строгим надзором классных дам лишь за внешним видом и поведением учениц: они зорко наблюдали за тем, чтобы воспитанницы были одеты, кланялись, здоровались, отвечали на те или другие вопросы точь-в-точь так, как это было в институтских обычаях. За малейшее уклонение от общепринятого этикета классная дама могла карать по своему усмотрению. В младшем классе она в то же время обязана была объяснять детям уроки, заставлять их читать и писать на трех языках. Но эту обязанность выполняли очень немногие, и притом обыкновенно крайне формально и небрежно. Так же мало внимания обращали они на то, кто как учится, обнаруживают ли ответы ученицы ее способности или показывают полное непонимание и тупость. По своему невежеству и отсутствию педагогических способностей классные дамы не могли быть полезными кому бы то ни было, и тем более воспитанницам старшего возраста, с большинством которых у них были даже враждебные отношения. Надуть, обмануть, ловко провести классную даму, устроить ей какую-нибудь каверзу – в старшем классе считалось настоящим геройством. Как бы жестоко ни обращалась классная дама с воспитанницами, выполняла она или нет свои обязанности, не превышала ли своей власти, – за этим никто не следил, даже инспектриса, хотя это было ее прямым долгом. Понятно, что воспитанницам некому было жаловаться на возмутительное обращение с ними классных дам.

M-lle Нечаева, дортуарная дама одного из отделений кофейного класса, всегда отличавшаяся необыкновенною неуравновешенностью своего характера, начала вдруг приходить все в большее нервное расстройство: то и дело немилосердно трепала кофулек, бросала в них книгами, беспрестанно ставила их на колени в угол, оставляя в таком положении по нескольку часов. Из ее дортуара вечно раздавались крики, стоны, слезы.

Девочки приходили в класс и столовую с распухшими от слез глазами. Скоро к этому присоединились и новые выходки m-lle Нечаевой, от которых ее питомицам приходилось страдать еще тяжелее: по ночам она внезапно вбегала в дортуар с криком «Вставайте!», хватала за руку спящих детей и заставляла их одеваться, а затем вопила пронзительным голосом: «На молитву! Господь прогневался на вас!». При этом она бросалась на колени, увлекая за собой и детей. В то же время она сильно изменилась: исхудала, не ходила, а как-то суетливо бегала, громко разговаривала сама с собою; если кто-нибудь обращался к ней с замечанием, она подымала шум, возню, скандал. Начальство по этому поводу таинственно перешептывалось между собой, но никто ее не трогал и, вероятно, долго не тронул бы, если бы ее похождения ограничились лишь ее дортуаром; но они приняли более широкие размеры. Однажды, разбудив воспитанниц и не дав им времени одеться, Нечаева потащила их молиться в класс, добраться до которого приходилось через несколько коридоров. Армия босоногих девочек, из которых многие были в одних рубашках, с отчаянным криком и плачем бежала за нею. После молитвы в классе Нечаева отправилась с детьми в апартаменты инспектрисы. Но к этому времени m-me Сент-Илер уже успела приготовить все, чтобы отправить ее в сумасшедший дом. Инспектриса превосходно знала, что Нечаева уже несколько месяцев до этого происшествия по ночам будила детей и жестоко терзала их, но не ударила палец о палец, пока та не привела к ней ночью полуголых детей.

Прошло уже более полугода после моего вступления в институт, а я совсем еще не могла приспособиться к раннему вставанию, голоду и холоду. Я вечно тряслась от лихорадки, а временами так кашляла, что будила подруг по ночам, днем же мешала им слушать уроки. В то же время меня так одолевала сонливость, что я машинально исполняла приказания, была вялою и неразговорчивою. Классные дамы решили, что я послушная девочка, и выказывали ко мне даже внимание: как только я им попадалась на глаза, они всегда находили, что я больна, и посылали меня в лазарет.

В то время для измерения температуры тела не применяли термометра: лихорадку доктор определял по пульсу и ощупывая лоб своими руками. Проделав со мною все, что при этом полагалось, он говорил, обращаясь к надзирательнице: «Ее всегдашняя болезнь – лихорадка. Поспит, поест, обогреется – и завтра же будет здорова, а отправится в класс – опять то же будет… В помещичьих-то домах жарко топят, плотно кормят, тепло укрывают; натурально, что такие дети не могут выносить у

нас температуры девять и восемь градусов».

И я блаженствовала. Мне нравилось даже то, что служащие в лазарете называли друг друга по именам, точно на воле. Не страдая более от холода и голода, я крепко засыпала и на другой день вставала здоровою. Мое благополучие продолжалось до тех пор, пока не приводили нескольких воспитанниц, страдавших таким же недомоганием. Я смотрела на них как на врагов, хотя понимала всю законность моего изгнания из лазарета, в который я то и дело возвращалась и где проводила не только дни, но недели и месяцы.

Медицинский осмотр. Выпускной альбом института 1889 года

Единственным утешением и отдыхом от неприглядной институтской жизни служил лазарет. Весь его служащий персонал – доктор, надзирательница, лазаретная дама – были простые, добрые существа, стоявшие в стороне от институтских интриг; все они обращались с нами участливо и добропорядочно. Доктор прекрасно понимал, что причиною малокровия и лихорадок, которыми воспитанницы страдали в первый год своей институтской жизни, были скудное питание и суровая жизнь, и охотно держал в лазарете слабых здоровьем, а по выходе из него многим прописывал молоко или на некоторое время больничную пищу, – более он ничего не мог сделать. Лазарет, в котором воспитанницы могли выспаться вволю, где они отдыхали душой и

телом, спасал многих из них от преждевременной гибели. В него шли охотно даже тогда, когда туда отправляли в наказание, что, впрочем, практиковалось у нас довольно редко и исключительно в старшем классе.

Несмотря на крайне неблагоприятные условия институтской жизни того времени, процент смертности среди воспитанниц был сравнительно ничтожен. По словам одного врача, серьезно занимавшегося исследованием причин этого явления, это происходило прежде всего от того, что при самом ничтожном заболевании лихорадкою, головною болью, незначительным расстройством желудка воспитанниц немедленно отправляли в лазарет и укладывали в кровать, – таким образом, в самом начале заболевания мешали дальнейшему развитию болезни. Сильному распространению зараз и заболеваний препятствовали также чистота и опрятность хорошо вентилируемых помещений, регулярная жизнь и строго определенное время для сна и еды, что в сильной степени ослабляло возбужденное, нервное состояние воспитанниц. Но если процент смертности среди воспитанниц был сравнительно невелик, зато было чрезвычайно много болезненных, исхудалых, малокровных и нервных.

Возвращаясь из лазарета в класс, я уже через несколько часов чувствовала озноб и сонливость. Если это было в те часы, когда подруги готовили уроки к другому дню, я устраивала себе ложе между скамейками: несколько учебников, покрытых байковою косынкой, служили мне подушкой; я опускалась на пол к ногам подруг, которые усердно зубрили уроки; они бросали на меня свои платки, и я засыпала. Дежурная дама не могла заметить меня, а если невзначай вспоминала о моем существовании, то «сторожихи», у ног которых я лежала между скамейками, толкали меня, и я вскакивала как ни в чем не бывало. На вопрос классной дамы, откуда я взялась, я отвечала, что искала учебник.

Сонливость и лихорадка, от которых я страдала в первый год институтской жизни, вечное пребывание в лазарете, все более развивающаяся лень из рук вон плохо отражались на моих занятиях. Этому содействовал и обычай, крепко укоренившийся в нравах учителей: если воспитанница несколько раз плохо отвечала кому-нибудь из них, он переставал вызывать ее, и она могла оставить заботу о своем учении, уверенная, что он не потревожит ее в продолжение учебного сезона. За нерадение в учении и за плохие отметки никто с нас не взыскивал, никого не беспокоила мысль, что воспитанница бросила учиться.

Изо всего штата классных дам, старых дев, озлобленных ханжей, придирчивых и до крайности тупых, резко выделялась моя дортуарная дама m-lle Верховская. В ту пору, о которой я

говорю, ей было лет двадцать пять – двадцать шесть. Она была не только самою умною и образованною между ними, но и самою красивою и молодою. Остальные дамы редко выезжали из института в свои свободные дни, ее же в такое время никогда не было дома, – у нее, видимо, было немало знакомых семейств. Она не только много читала, но даже обстановка ее комнаты носила иной характер, чем у других: над ее столиками и на стенах висели красивые этажерки с книгами, стоял шкаф, наполненный книгами в красивых переплетах, – это были произведения классиков на русском и трех иностранных языках, которые она прекрасно знала и теоретически, и практически. Ее молодость, красота, превосходное знание языков, несравненно более высокий уровень образования, обстановка ее комнаты, даже ее простое форменное платье, изящно охватывавшее ее стройную высокую фигуру, – решительно все возбуждало к ней неутолимую зависть ее товарок. Они не только вечно сплетничали про нее, интриговали, делали ей какие-то намеки и бесцеремонно подглядывали за нею, когда кто-нибудь ее навещал, но наблюдали даже за ее отношениями к воспитанницам ее дортуара, одним словом, делали ее жизнь просто невыносимою. Все это, видимо, страшно раздражало ее, чрезвычайно вредно отзывалось на ее уже от природы крайне неуравновешенном характере, испорченном институтским воспитанием и, как говорили мне впоследствии, ухаживаниями светских кавалеров, между тем как это существенно все же не меняло ее судьбы.

Только она одна считала своею обязанностью объяснять уроки воспитанницам своего дортуара, кое-что рассказывать им, заставлять их читать. К несчастью, ей не часто приходилось заниматься с детьми: в свободные дни она уезжала, а в дни дежурств иной раз так погружалась в чтение, что не видела и не слышала, что делалось вокруг. Не приходилось ей часто заниматься и потому, что между нею и нами от времени до времени наступали крайне враждебные отношения, когда все без исключения, точно по уговору, употребляли все средства, чтобы держаться от нее в сторонке, и отказывались от занятий, придумывая ту или другую причину. M-lle Верховская, когда находилась в хорошем настроении, была доброю, милою, умною, даже обворожительною, – и становилась невозможною, когда на нее нападали периоды гнева и вспышек; тогда мы боялись ее больше всех классных дам. В такие периоды мы сидели в дортуаре так тихо, что не смели пошевельнуться, осторожно перевертывали страницы учебника, и у нас стояла гробовая тишина: никто не поверил бы тогда, что тут в огромной спальне сидит более тридцати девочек, и притом в свободное от уроков

время.

Картина совершенно менялась, когда между нами и Верховскою царствовали мир и согласие. Воспитанницы так свободно, как ни в одном дортуаре, расхаживали тогда по своей огромной спальне, громко разговаривали между собой, и от времени до времени раздавался даже веселый смех. Но вот одна из них подходит к запертой двери комнаты Верховской и кричит по-французски: «Пожалуйста, mademoiselle, расскажите нам что-нибудь или почитайте». К ней присоединяются и остальные подруги, и все то же самое на разные лады кричат ей в дверь, которая скоро открывается. Верховская появляется с милым, добрым выражением лица и садится читать «Записки Пиквикского клуба» или что-нибудь в этом роде и вместе с воспитанницами заливается громким смехом. Также любили мы слушать ее рассказы о том, что она видела в театре, или то, что ей удалось только что прочитать. Иногда эти чтения, которые мы обожали, это мирное отношение к нам Верховской продолжалось месяц-другой, и мы просто блаженствовали. Но вдруг все менялось как по мановению волшебного жезла.

Был праздничный день, и мы после обеда пришли в дортуар. Верховская заявила нам, что будет читать, позвала всех в свою комнату, насыпала в передник каждой из нас по горсти орехов и сластей и приказала садиться тут же. Комнаты классных дам были невелики, и мы разместились не только на ее немногих стульях и диванчике, но и на полу. Прежде всего она начала передавать нам содержание одной комической сценки из балета. Пожевывая сласти и щелкая орехи, мы громко смеялись. Вдруг в комнату вваливается Тюфяева.

– Какая… можно сказать, умилительная картина! Вас тешит их обожание… Как вы еще молоды! А я так плюю, когда они меня обожают и когда ненавидят.

С первых слов этой дамы воспитанницы вскочили с своих мест.

– Кажется, я ничего не сделала недозволенного?

– Едва ли такое баловство дозволено у нас. Кроме вас, никто не позволяет себе таких фамильярностей с воспитанницами! Впрочем, я спрошу у инспектрисы, может быть, она это и одобрит… – И Тюфяева вышла из комнаты.

Верховская сделала вид, что это не произвело на нее никакого впечатления, взяла книгу и начала читать, но читала без выражения, и через несколько минут с деланным спокойствием заявила:

– Мне надо писать письма… Идите к себе…

Девочки вошли в дортуар и сгрудились в противоположном

конце его, откуда их тихие разговоры не были слышны Верховской. «Может быть, еще и сойдет!» – шептала одна из них. «Держи карман!.. Всем достанется на орехи за орехи!..» – острила Ратманова. «Знаете что? Станем на колени перед образом и произнесем двенадцать раз сряду: «Помяни, господи, царя Давида и всю кротость его…»», – предложила Олъхина. Это молитвенное воззвание, по мнению институток, должно было спасать от всяких напастей. Но на этот раз такое предложение вызвало только раздражение.

В дортуар вбежала пепиньерка и заявила Верховской, что m-me Сент-Илер зовет ее к себе. Она возвратилась, когда нас уже нужно было вести в столовую. После чая и молитвы, не разговаривая с нами, она быстро направилась в свою комнату и изо всей силы захлопнула дверь за собой. Мы рады были и тому, что она не оставалась с нами. Мы уже рассчитывали на то, что на этот раз, пожалуй, все пройдет благополучно. Однако на другой день она встала мрачнее тучи, объявила, что, несмотря на то, что это ее свободный день, она останется дома и будет с нами заниматься вечером.

Когда мы вошли в дортуар, она сухо проговорила, что обещала учителю французского языка заставить нас спрягать глаголы. Она была бледна, хваталась за голову, как от головной боли, и приказала нам садиться. Мы разместились на двух скамьях у стола, а она – у конца его, на стуле. Девочки по ее приказанию по очереди начали спрягать глаголы, но то и дело ошибались, как оттого, что плохо знали, так и оттого, что их пугал мрачный вид и расширенные зрачки Верховской. «Тупицы! Идиотки!» – злобно кидала она, причем одну воспитанницу так толкнула, что та стукнулась головой об стену, с другой сорвала передник и затем нескольких прогнала от себя толчками. Дошла очередь до меня. «Как? Как? Начинай снова! – топнув ногой, грозно закричала она на меня. Окрик Верховской заставил меня окончательно растеряться. – Ведь на днях еще я заставляла тебя спрягать тот же глагол!.. Ты знала… Значит, теперь понадобились фокусы, надругательства!..» Она встала со стула и так рванула меня за руку, что я громко закричала от боли.

Зазвонил колокол. Она приказала всем, кроме меня, отправляться в класс, чтобы идти с другими в столовую, а меня толкнула в угол, пиная при этом ногами, надавила руками на плечи так, что я грохнулась на колени; после этого она сейчас же ушла к себе. Когда через несколько минут она вышла оттуда, ее щеки горели багровым румянцем, глаза были налиты кровью, она схватила меня за плечи трясущимися от волнения руками, подняла с колен и начала срывать с меня передник и платье. При

этом она осыпала меня обычною бранью классных дам на русском и французском языках, не щадя упреков и попреков за свои благодеяния: «Гадина!.. Проспала чуть не весь год!.. Я трудилась с нею, заставила ее догнать других!.. Вот и благодарность… Подлые, грязные душонки!». Ее руки так тряслись, что я вывернулась от нее и побежала с криком к двери. Она догнала меня, втянула в свою комнату, замкнула дверь и, вся трясясь, как осиновый лист, продолжала срывать принадлежности моего туалета, но от волнения это ей не удавалось, и она схватила уже заранее приготовленный жгут и ну осыпать меня ударами по лицу, плечам, голове. Вероятно, она сильно избила бы меня, но в эту минуту снизу послышался шум, означавший, что воспитанницы встают из-за стола. Верховская бросила жгут и вдруг сунула мне кружку с водой и полотенце, вероятно желая заставить меня вытереть лицо. Но я бросила кружку об пол с криком: «Я все скажу… родным напишу… не смеете драться!».

Когда воспитанницы вошли в спальню, я, рыдая, начала рассказывать им об истязании, только что совершенном надо мною. Чтобы Верховская могла слышать, я нарочно выкрикивала во все горло, но спазмы душили меня, и я бросала только отдельные слова. Наконец я сорвалась с своего места, подбежала к образу, упала на колени и, захлебываясь слезами, во всеуслышание произносила клятву перед богом о том, что с этой минуты я даю слово вечно быть «отчаянной», дерзить и грубить всем подлым дамам, а этой злюке, этой змее подколодной более всех, и призывала в свидетели подруг! При тогдашней моей умственной и нравственной неразвитости эта клятва долго терзала меня, и я не могла отделаться от нее даже будучи взрослой, несмотря на то что выполнять ее для меня было крайне тяжело, и в конце концов я уже начала сама сомневаться в том, следует ли мне быть ей верною.

Однако Верховская была настолько тактичною, что не давала мне повода дерзить ей. Она, конечно, слыхала мою клятву, знала по выражению моего лица, что я начала крайне враждебно относиться к ней, но она больше не обращала на меня ни малейшего внимания, перестала спрашивать у меня уроки, не заставляла меня читать, не подзывала к себе, старалась не произносить моего имени, – одним словом, совершенно оставила меня в покое. Но зато я начала дерзить m-lle Тюфяевой и другим классным дамам и скоро почти официально была причислена к разряду «отчаянных».

За громкий разговор Тюфяева тянет меня к доске, я не упускаю случая сказать ей что-нибудь в таком роде: «Вам не дозволено вырывать у нас рук».

– Будешь стоять у доски два часа!

– Я скажу завтра учителю, что вы не даете мне учиться…

– Сбегай на нижний коридор, попроси солдата купить мне хлеба, – обращается ко мне кто-нибудь из подруг. Если я указываю, что по площадке нижнего коридора только что проходила классная дама, мне обыкновенно возражают: «Какая же ты отчаянная, если не можешь сделать и этого?». Трясусь, бывало, от страха, но употребляю все усилия, чтобы не обнаружить его перед другими, и, проклиная свою злосчастную долю, пускаюсь в опасное предприятие из страха погубить свою репутацию «отчаянной». Мои похождения далеко не всегда увенчивались успехом, может быть потому, что быть «отчаянной» не было моим призванием: меня то и дело ловили на месте преступления и наказывали. Но я продолжала соблюдать неизменную стойкость и верность принципам «отчаянной», что навлекало на мою голову не только наказания, но и приносило мне душевные терзания; тем не менее, все мои выходки и дерзости начальству я старалась делать с веселым видом, желая показать, что мне все нипочем.

После описанного выше происшествия Верховская заметно становилась все более оживленною и веселою, все реже нападали на нее припадки вспыльчивости и гнева, да и они не проявлялись уже в столь острой форме. Однако и в наступившие теперь длинные периоды своих любезных отношений с воспитанницами она уже более не усаживала их в своей комнате и не оделяла сластями, – это, видимо, было запрещено ей тогда же инспектрисой. Теперь, когда она читала с воспитанницами, я уходила на другой конец дортуара и садилась на табурет, но она мне не делала никаких замечаний по этому поводу. Ее безоблачное настроение сделалось наконец обычным явлением, и она заявила нам, что выходит замуж и скоро навсегда оставляет институт.

Инспектриса, ее характер и значение

Как легко было классной даме оклеветать воспитанницу. – Последствия институтской конфузливости. – Посещение лазарета императором Александром II

Кто был непосредственною начальницею Александровской половины Смольного? Кто управлял штатом служащих, начиная от классных дам и кончая горничными? Начальница Леонтьева была верховною главою двух институтов, но если бы она даже захотела, то не имела бы возможности вникать во все, что делалось в Александровском институте, тем более что она жила на Николаевской половине. Наша инспектриса, m-me Сент-Илер, которую мы называли «maman», по официальному своему положению была нашею прямою начальницею. Но Леонтьева была слишком властолюбива, чтобы выпустить что-нибудь из своих рук. Этому содействовала и полная бесхарактерность m-me Сент-Илер, оказавшейся марионеткою в руках начальницы. Леонтьева не довольствовалась тем, что давала тон и направление двум институтам и стояла на страже консервативных начал, но требовала, чтобы наша инспектриса докладывала ей о всякой мелочи, о шалостях и грубости воспитанниц, об интригах классных дам, о каждом мало-мальски выходящем из общего уровня происшествии, о сомнительном, по ее понятиям, слове учителя, – решительно обо всем. При малейшем желании инспектрисы уклониться от навязанной ей роли старейшая из наших классных дам, Тюфяева, без церемонии угрожала ей тем, что она сейчас же обо всем донесет начальнице, и, не давая той опомниться, быстро приводила в исполнение свою угрозу. Но и при своем подчиненном положении инспектриса могла бы все-таки настоять на том, чтобы, например, эконом сокращал свои алчные аппетиты и не так быстро наживался на счет здоровья воспитанниц, могла бы она требовать и смены классной дамы, зарекомендовавшей себя возмутительным обращением с детьми. Одним словом, если бы она не могла сделаться вполне самостоятельною, на что ей давало право ее положение, но для чего нужно было обладать мужественным характером, все же она могла бы быть чем-нибудь полезною воспитанницам. Но m-me Сент-Илер ни в каком отношении не умела себя поставить как следует и приносила воспитанницам скорее вред, чем пользу. Этому не поверил бы тот, кто имел возможность лично узнать ее (но не в качестве инспектрисы), – такое производила она на всех

чарующее впечатление. Умная и для своего времени весьма образованная, по натуре гуманная, миролюбивая, добрая, деликатная, даже сердечная и любящая детей, она сохранила и под старость какое-то элегантное изящество, следы поразительной красоты и представительности. Но как инспектриса она не умела дать отпора никому, не могла никого защитить и была в подчинении у своих же подчиненных, даже как-то боялась их всех. Это происходило не оттого только, что она лишена была твердой воли, но, видимо, и оттого, что она боялась потерять место инспектрисы, дававшее ей возможность существовать, содержать и воспитывать своих детей, которых она боготворила. Болезненной, вечно страдающей жестокими мигренями, ей также, видимо, сильно хотелось тихо, покойно, без дрязг и историй доживать остаток своих дней.

M-me Сент-Илер была вполне осведомлена относительно всего, что у нас творилось. Иначе и быть не могло: она посещала классы и дортуары по нескольку раз в день, ежедневно встречалась с классными дамами, вечно враждовавшими между собой и доносившими ей друг на друга, а еще чаще на воспитанниц, и, таким образом, имела полное представление об их нравственном и умственном убожестве, но у нее не хватало мужества решительно запретить классной даме делать то или другое, указать кому-нибудь из них на ее поведение, предосудительное для воспитательницы. То одна, то другая из них прибегала к ней с жалобой на одну из воспитанниц. M-те Сент-Илер не входила в разбор дела, не доискивалась того, кто из них прав, кто виноват. Она немедленно звала к себе обвиняемую и мягко журила ее в таком роде: «Это нехорошо, дитя мое… Это меня огорчает!.. Надеюсь, что это больше не повторится!». Она была слишком умна и не могла думать, что вся ее обязанность инспектрисы, вся ее педагогическая мудрость должны были ограничиваться лишь подобными внушениями. Таким образом, m-me Сент-Илер, несмотря на свою личную безусловную порядочность, мягкость и доброту, была особой с совершенно ничтожным характером. Вот потому-то грубость и произвол классных дам, особенно в младших классах, проявлялись при ней с такою жестокостью, как ни при какой другой инспектрисе.

Не было примера, чтобы самая отчаянная воспитанница когда-нибудь сказала «maman» какую-нибудь дерзость. Да она никогда и не вызывала на это: со всеми нами она обращалась в высшей степени вежливо и деликатно, а дежурным (две воспитанницы старшего класса по очереди сидели в ее комнатах в внеурочное время для разных поручений, например позвать к ней ту или другую классную даму или передать что-нибудь от ее

имени) она выказывала лишь ласку и внимание. Хотя она ни в одной области институтской жизни не приносила существенной пользы, но воспитанницы любили ее уже за одно то, что она представляла полную противоположность классным дамам; к тому же, будучи умственно неразвитыми, мы, особенно в младшем классе, как-то мало думали и разговаривали о том, кто виноват в нашем тяжелом положении.

Прием родственников происходил у нас два раза в неделю: по воскресеньям с часу до трех и по четвергам с шести до восьми часов вечера. Воспитанницы, ожидавшие родственников, расхаживали по парам вокруг зала, где сидели те из них, к которым уже пришли родные. Посреди залы прогуливались дежурные дамы и пробегали дежурные воспитанницы.

Мария Павловна Леонтьева (урожденная Шипова) (1792—1874) – начальница Смольного института благородных девиц в 1839—1875 годах, статсдама российского императорского двора

В первые годы моей институтской жизни меня посещал мой дядя[132] с своею женою – единственные родственники, которые были у меня тогда в Петербурге. Эти посещения приводили меня в восторг. Материальное положение моей матери было крайне тяжелое в это время: четыре-пять рублей в год, которые она высылала мне, все без остатка уходили на удовлетворение

главных моих потребностей, но их далеко не хватало даже на это, а о том, чтобы затратить хотя несколько копеек на увеличение моего скудного пищевого пайка, я не смела и думать. Но меня еще более угнетала мысль, что моя бедность заметна для всех, что на меня с презрением смотрят за это классные дамы. Даже в самую откровенную минуту с наиболее любимыми подругами я никогда ни единым словом не проговорилась о тяжелом материальном положении моей семьи. Посещение меня богатыми родственниками сильно помогало мне сбивать с толку окружающих насчет моего материального положения, но, конечно, потому только, что классные дамы и подруги судили о достатке людей по внешности, не имея представления об их взаимных отношениях. Мой дядя, важный генерал, грудь которого была украшена бриллиантовой звездой и орденами, и его жена, в модном туалете, приезжали ко мне в блестящей карете, с лакеем на запятках, который в то время, когда они сидели у меня, стоял в нашей передней, нагруженный их верхним платьем. О, все это так импонировало в институте, производило такой фурор, что классные дамы не решались с улыбкой сожаления или презрения, как они это делали относительно некоторых моих подруг, высказывать мне замечания насчет моего дяди, а между тем он своим поведением то и дело нарушал институтские правила. Наши родственники в приемной должны были разговаривать с нами тихо или вполголоса, мой же дядя, будучи человеком в высшей степени экспансивным и смешливым, не только громко разговаривал со мной, но от времени до времени его неудержимый смех гулко прокатывался по всей зале.

– А это кто же такой? Да ведь это настоящая жаба! – вдруг вскрикивал он.

Я наклонялась к дядюшке и начинала объяснять ему, что это классная дама, что если это дойдет до ее ушей, мне сильно достанется от начальства.

– Начальство? Это твое начальство? – И дядюшка сейчас же менял тон. Хотя глаза его продолжали смеяться, но он строго говорил мне, грозя пальцем:

– Смотри у меня, Элизэ!.. Начальство – уважать прежде всего! Чтобы никто о тебе дурного слова мне не сказал.

Однако это не мешало моему легкомысленному дядюшке сейчас же делать вслух новое, еще менее лестное замечание о какой-нибудь другой классной даме. Зато неизменно восторгался он внешностью нашей представительной, красивой инспектрисы и однажды, не будучи в силах совладать с своими чувствами, подошел к ней и с величайшей галантностью выразил ей свое глубочайшее уважение. Как бы то ни было, но в то время когда

другим воспитанницам после посещения родственников классные дамы зачастую делали замечания, вроде следующих: «Извольте предупредить вашего брата, что у нас не принято разговаривать так громко; потрудитесь передать ему, что это крайне неприлично!..» – мне никто никогда ничего подобного не говорил.

Посещения дяди доставляли мне удовольствие не только потому, что он являлся ко мне в блеске военного величия и богатства, и не потому, что он приносил мне безделушки, вроде красивых альбомов, шкатулочек, дорогие конфеты, но и потому, что, будучи добрым человеком и прекрасным родственником, он был ко мне очень нежен, и я чувствовала всю искренность его привязанности. К тому же, в то время когда мои подруги жаловались на то, что их родственники не интересуются «институтскими историями», дядя подстрекал меня рассказывать их, и в такие минуты то и дело раздавался его раскатистый смех.

Когда шел второй год после того как я перешла в старший класс, дядя как-то письменно известил меня о том, что мой младший брат[133], окончив курс в провинциальном корпусе, переведен в петербургский дворянский полк[134], что теперь он будет часто посещать меня и в первый воскресный прием явится ко мне вместе с ним.

В тот день, когда я, ожидая родственников, вошла в залу, дядя уже направлялся ко мне, а сзади него следовал молодой человек, – я поняла, что это был мой младший брат, Заря. Когда он поднял на меня глаза, я тотчас узнала его, хотя долго не видала, и к моему сердцу, окаменевшему в атмосфере казенщины, вдруг, неожиданно для меня самой, прилила теплая струйка крови, и я, забыв институтский этикет, со слезами бросилась в его объятья.

– Ты знаешь, – обратился дядя к брату, когда мы несколько успокоились после первых минут свидания, – они ведь здесь обожаниями занимаются… обожают даже сторожей, ламповщиков…

Превратившись в настоящую институтку, я с институтским гонором и с институтскими понятиями о чести энергично отрицала это обвинение, с наивною гордостью выставляя на вид, что у нас никто еще никогда не обожал никого ниже дьякона, что все это могло быть в других институтах, но никак не у нас.

– Да это бесподобно! – хохотал дядя. – Чем же выражается у вас это обожание?

Я начала рассказывать о том, какие слова кричат обожаемым учителям, как им обливают пальто и шляпу духами, и при этом указала, что воспитанница, сидевшая в ту минуту близко от нас, обожает учителя рисования, что у него под носом пятно от

табака, что он нюхает его, как только выходит из класса, а на лбу у него громадная грязная бородавка.

– Как, вы обожаете и безобразных, и старых, и даже неопрятных?

Я очень удивилась такому вопросу и объяснила, что кроме таких учителей у нас и нет почти других.

– Ну, а священнику как вы выражаете свое обожание?

– Адоратрисы в первый день пасхи вместо яиц дарят ему красиво вышитые шелками мячики, натирают духами губы, когда христосуются с ним… – При этом я сообщила, что одна воспитанница призналась священнику на исповеди, что она обожает его как бога. Он рассердился на нее, сказал, что она превращает исповедь в забаву, и объявил, что лишает ее причастия. Она испугалась, что это узнают классные дамы, умоляла его простить ее и не выходила из исповедальни до тех пор, пока не выпросила у него прощения.

– Как это все нелепо, глупо и пошло! – вдруг произнес мой брат[135]. Дядя очень рассердился на него за эту ненужную с его стороны серьезность и просил его оставить в неприкосновенности мою наивность. Чтобы дискредитировать брата в моих глазах, дядя, хотя и шутливо, сообщил мне, что мой младший брат Заря и в подметки не годится старшему, Андрюше, который оказывается настоящим бравым офицером, лихим служакою, дамским кавалером, чудесным танцором, а потому, наверно, сделает блестящую военную карьеру. Что же касается брата Зари, то, по словам дяди, он напрасно и числится-то военным, так как день и ночь корпит над книгами. Он тут же начал советовать ему перейти в военную академию, просил не навязывать мне книг, не «развивать меня», как это делают теперь многие молодые люди, и говорил, что это совсем не нужно девушке, что ее прозовут за это «синим чулком».

Я успокоила дядю, говоря, что не люблю читать, что наше начальство совсем не обращает внимания на наше учение, что оно следит только за нашим поведением.

– Хвалю ваше начальство! Очень хвалю! Действительно, девушке нужна только нравственность…

Как только дядя распростился с нами и мы остались вдвоем с братом, он заметил, что для дочерей дяди, как для богатых девушек, может быть, и ничего не нужно более, как только заботиться о своей нравственности, но что мне, бедной девушке, очень даже не вредно подумывать о том, чтобы запастись знаниями.

Эти рассуждения брата мне напомнили внушения матери о бедности, которые она так часто любила делать нам, своим

детям, о чем я в институте старалась забыть и уже почти достигла этого. И вдруг брат, который навестил меня в первый раз после долгой разлуки, напоминает мне об этом! Замечания брата как-то сразу охладили мое теплое, родственное чувство к нему, явившееся у меня при встрече с ним в первую минуту. На его вопрос, что мы проходим у преподавателя словесности, я с гордостью отвечала ему, что Лермонтов изложен у нас на восемнадцати страницах, а Пушкин даже на тридцати двух. Из ответов, которые я давала брату, он пришел к правильному заключению, что я не читала ни одного произведения наших классиков.

– Какой у вас дурацкий учитель литературы! Вы, видимо, и выучились здесь только обожанию!

Хотя я тяжело страдала от уклада институтской жизни и от всего его режима, но миазмы стоячего институтского болота уже достаточно пропитали мой организм, и я считала низостью спустить брату его оскорбительное замечание об институте, которым я гордилась, несмотря ни на что, и об учителе, которого мы считали гениальным, а потому высокомерно возразила ему:

– Должно быть, не все такого мнения, как ты, о нашем институте, так как он всюду считается первоклассным в России!.. А наш преподаватель словесности и литературы Старов[136] – знаменитый поэт, перед которым преклоняются даже такие дуры как наши классные дамы.

– Такого знаменитого поэта в России нет, и классные дамы преклоняются перед ним только потому, что они дуры…

Это было уже слишком, и я вскочила, чтобы убежать от него, не простившись. Но брат вовремя схватил меня за руки. Он долго и нежно уговаривал меня, просил меня извинить его и в конце концов заявил, что я непременно должна заниматься чтением, что он будет носить мне книги. Я наотрез отказалась от этого предложения, говоря, что у нас столько переписки, столько обязательных занятий, что у меня нет свободной минуты. И, видя, что я все порываюсь уйти, брат переменил тему разговора. Он стал рассказывать мне о том, как матушка уже теперь мечтает приехать за мной в Петербург к моему выпуску, как она давно копит для этого деньги, откладывая по нескольку рублей в месяц.

– Такие жертвы! Зачем? – вдруг вырвалось у меня помимо воли.

– Как зачем? – с изумлением воскликнул брат. – Ты даже после долгой разлуки не желаешь увидеть родную мать?

– Конечно, я желаю видеть маменьку… Но если это так трудно для нее?.. Вероятно, дядя согласится взять меня к себе… Пожалуйста, уговори ее не приезжать ко мне… Право же, это

вовсе не нужно… Уверяю тебя, что я устроюсь…

Мой брат заподозрил, что я имею какие-нибудь веские причины отказываться от приезда матушки, начал ловко выспрашивать меня, и я откровенно высказалась по этому поводу. Я напомнила ему о том, что матушка не только не стыдилась бедности, но чуть не хвасталась ею… Здесь же на это иначе смотрят. Что же делать!.. Не все могут быть одинакового убеждения, не все находят, что бедность – такое счастье, которым можно хвастаться! Если матушка приедет брать меня из института, она, наверно, явится сюда в тех же платьях, которые у нее были пошиты еще тогда, когда она привозила меня. А ведь с тех пор моды совсем изменились!..

«Как ты думаешь, – обратилась я к брату, – очень мне приятно будет, когда ее станут высмеивать здесь за ее туалеты?»

– Довольно! – вдруг произнес брат с страшным гневом, резко отодвигая свой стул. – Так вот чему тебя здесь научили! – Он весь побагровел и вышел, не простившись со мною.

Я не только не понимала всей глубины пошлости, сказанной мною, но и не умела хорошенько разобраться даже в том, за что на меня так рассердился мой брат; тем не менее, с каждым днем я все более и более страдала от разрыва с ним. Всю вину за эту ссору я сваливала на него. «Как это дико, – думала я, – он требует, чтобы все в институте придерживались такого же мнения, как наша матушка». Я нашла, что мои подруги были вполне справедливы, когда утверждали, что родственники и все живущие вне института никогда не смогут вполне понять институтку. Но это открытие не доставило мне ни малейшего утешения, и сердце мучительно ныло при мысли, что самый близкий мне человек в Петербурге, мой родной брат, не будет более навещать меня.

Мое мрачное настроение усиливалось еще вследствие письма, полученного мною от любимой сестры Саши через брата в первое свидание с ним. Хотя воспитанницы и их родственники обязаны были переписываться не иначе, как через классных дам, которые должны были перечитывать все отправляемые и получаемые ими письма, но громадное большинство пользовалось всяким случаем сообщаться между собою без всякого контроля.

До посещения меня моим братом я все реже и реже вспоминала о своем доме и о своих близких, но после ссоры с ним каждый раз, ложась в постель, я не могла отделаться от воспоминаний о прошлом. Мне приходили на память давно забытые, печальные события моего злосчастного детства или вырисовывалась то одна, то другая картина моего жалкого существования в институте: наказания классных дам с их

воркотнею и грубою бранью, мои жестокие обязанности в качестве «отчаянной», муки раннего вставания, голода и холода. Память цеплялась за все самое мрачное в моей жизни, выдвигала лишь печальное. С невыразимою тоскою и с обидою на судьбу я все сильнее начала чувствовать весь ужас своего одиночества, всю свою заброшенность, полную оторванность от всего близкого и родного. И, уткнувшись ночью в подушку, чтобы не разбудить подруг, я рыдала, рыдала без конца. «Что из того, – думала я, – что у меня много подруг: я не могу ни с кем из них говорить о своих домашних делах!» Боязнь, что кто-нибудь узнает о бедности моей семьи, мешала мне быть откровенной с кем-нибудь из них. Еще хуже обстояло дело по отношению к близким родным: я уже давно перестала отвечать на письма сестры Саши, а матери хотя и писала, но по казенному образцу. Матушка особенно строго следила за тем, чтобы я извещала ее о получении денег, которые она посылала мне – от четырех до пяти рублей в год. Такая сумма не могла удовлетворить мои насущные потребности, и это усиливало мое раздражение против нее. Я не умела беспристрастно обсудить свое положение, не была настолько умственно и нравственно развитою, чтобы критически отнестись к своему неблаговидному поведению относительно матери, и не видела необходимости заставить себя изменить свое отношение к ней. Я не только писала ей «казенные письма», но преподносила ей, как мне, вероятно, казалось тогда, чуть не настоящие отравленные стрелы, но что, в сущности, было просто грубостью и пошлостью. Я пересылала письма не через классных дам, а по почте, через родственниц моих подруг. Вот одно из них:

«Считаю своею обязанностью известить Вас, милая маменька, что я приобщилась св. тайн, а потому простила всех-всех моих врагов. Я буду просить Вас, милая маменька, не беспокоить себя присылкою мне 4–5 рублей в год: их не всегда хватает на покупку помады, мыла, гребенок, щеток, а тем более ботинок, чтобы заменить ими казенные, которые падают с ног во время уроков танцев. Не могу из денег, которые Вы мне посылаете, купить себе и перчатки для балов. На балы эти хожу не потому, что их обожаю, а потому, что требует начальство, а над старыми, разорванными перчатками, которые я беру у подруг, когда они их бросают, все издеваются. На 4–5 рублей, которые Вы мне посылаете, милая маменька, я не могу заказать себе и корсета, который стоит здесь 6–8 рублей, а хожу в казенном, от которого у меня остаются ссадины и раны. Чтобы иметь еще хотя несколько рублей кроме тех, которые вы мне посылаете, я за плату беру шить у подруг передники и пелеринки. Воспитанницы, которых матери любят, посылают деньги дочерям не только на все, что

здесь необходимо, но и на шитье всего, что мы тут обязаны себе пошить, такие воспитанницы все свое шитье отдают за плату горничным. Хотя мне очень стыдно быть вроде горничной, но я беру эту работу, и мне, как горничной, подруги платят за эту работу. Вы видите, милая маменька, что на Ваши 4 и даже 5 рублей я ничего не могу сделать, что мне здесь нужно, а потому, пожалуйста, не присылайте мне ни этих Ваших 4, ни даже 5 рублей».

Одно из подобных писем заканчивалось еще такой «адской иронией»: «Всех своих добрых, чудных, милых наставниц, то есть классных дам, я люблю от всего моего сердца и очень их уважаю, а одну из них, m-lle Тюфяеву, с которою Вы лично познакомились, когда отдавали меня в институт, я просто обожаю. В последние четыре месяца никто из родственников меня не навещал, но Вы не беспокойтесь, милая маменька, – я в этом совсем не нуждаюсь: мне очень здесь весело, чрезвычайно хорошо, я совершенно здорова, чего и Вам желаю».

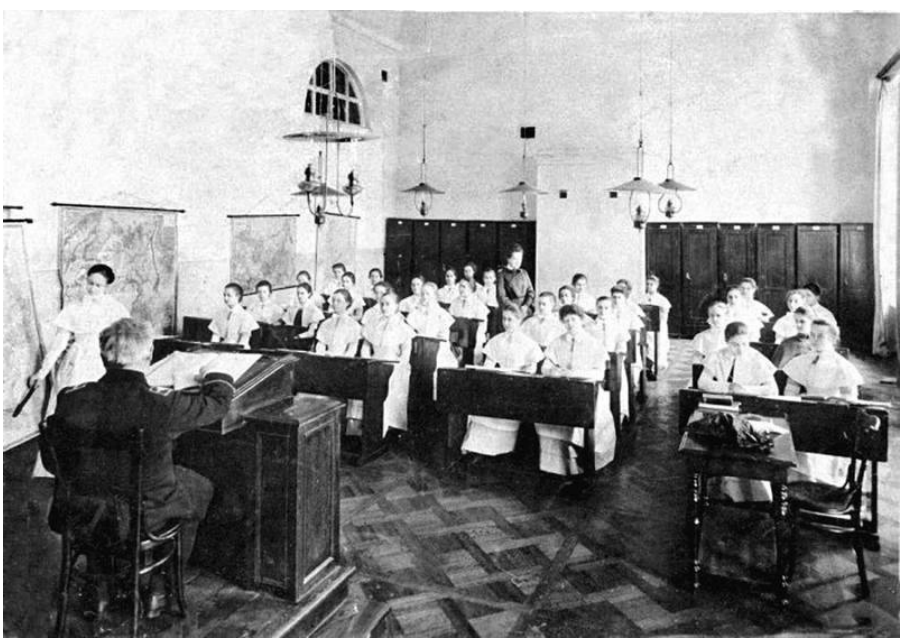
Ни упреков, ни негодования от матушки за эти письма, чего я так жаждала в тайниках моей души, я не находила в ее ответах, а деньги она по-прежнему высылала в том же объеме.

Вот письмо сестры Саши, которое не только взволновало меня, но и повергло в самое тяжелое душевное настроение и в первый раз заставило подумать кой о чем, хотя не надолго… Оно начиналось без обычного обращения:

«олько что перечитала твои письма к мамашечке. Очень благодарю тебя, что ты не отвечала ни на одно из моих писем. Если ты не желаешь или не умеешь писать по-человечески, я предпочитаю твое молчание. Твои письма, в которых нет ни чувства, ни правильной мысли, ни любви, ни даже простого сострадания и почтения к родной матери, – просто ужасны. Как, почему ты уже в 14 л. успела сделаться таким нравственным уродом? Твоя деревянность, пошлая язвительность и непристойная грубость относительно матери меня возмутили до глубины души и привели в отчаяние и ужас. И что это за выражения: «Я здорова, чего и Вам желаю»? Так пишут только солдаты! Хотелось бы мне знать, кто твои враги, которых ты прощаешь столь великодушно? Как ты не краснеешь от стыда, выставляя матери на вид и подчеркивая, что она посылает тебе только 4–5 р., что ты вынуждена шить за плату передники? Каждому, у кого нет средств, приходится работать. Матушка в этом отношении первая подает пример своим детям. Ты пытаешься сказать, что тебе деньги нужны лишь на самое существенное, а она со смерти отца очень часто отказывает себе и в существенном. Опомнись, брось свой деревянный и пошло-

язвительный тон, солдатчину и казенщину и пиши матери так, как она этого заслуживает своею неутомимою деятельностью на пользу своих детей.

Родная моя девочка, дорогая моему сердцу сестренка! Заклинаю тебя всем, что еще осталось для тебя дорогого – памятью покойной нашей милой няни, твоею прошлого нежною привязанностью ко мне, воспоминание о которой до сих пор вызывает у меня слезы, – возьми себя в руки, постарайся расшевелить свой мозг, отогреть свое окоченевшее сердце добрыми воспоминаниями о близких тебе, проснись, моя дорогая, скажи мне откровенно, за что ты разлюбила меня, за что ты так безжалостно порвала со мною все отношения, что тебя так перевернуло в институте, отчего ты сделалась такою холодною, просто даже каменного, если судить по твоим письмам? Хотелось бы мне знать и то, как идут твои занятия, какими предметами ты особенно увлекаешься, какое чтение наиболее доставляет тебе удовольствия, о чем ты мечтаешь, что ты стремишься делать по окончании курса? Может быть, я задала тебе сразу слишком много вопросов, а между тем у меня остается все еще и еще, о чем бы хотелось тебя расспросить. Как ты прежде откровенно, чистосердечно болтала со мной обо всем, так и теперь без утайки, если только не разлюбила меня, расскажи о своем положении в институте, отвечай, как умеешь, на мои вопросы: будем думать сообща, как ослабить то тяжелое и горькое, что особенно тебя волнует».



Смольный институт. Воспитанницы на уроке

Это письмо обожгло мое сердце и совершенно выбило из колеи. Прежде чем отправить ответ, я разорвала несколько писем к сестре и в первый раз почувствовала, что совсем не умею выражать своих мыслей, что они у меня какие-то спутанные, коротенькие, отрывочные.

«Обожаемая Шурочка!

Обиднее всего для меня то, что ты считаешь меня нравственным уродом! Неужели ты думаешь, что я могла тебя разлюбить? Не писала тебе потому, что хотела написать все как есть, но не умею выражаться. Сама не знаю, что со мною происходит… Лучше расскажу тебе сказку, которую я про себя придумала, тогда, может быть, ты скорее поймешь, что со мною.

Помнишь ли ты, дорогая Шурочка, когда ты бежала от Лунковских? – Когда мы легли с тобою спать, ты вдруг начала плакать, а я все приставала к тебе с расспросами, почему ты плачешь. Ты рассказала мне сказку: когда ты родилась, говорила ты, к твоей колыбели подошла фея, и так как она в тот день раздала новорожденным все свои лучшие дары – богатство, красоту, счастье, и у нее остались только слезы, то она и подарила их тебе. И к моей колыбели подошла фея, но не прекрасная красавица, а злая-презлая, и во все горло крикнула мне: «А ты будешь особой шиворот-навыворот!..». Предсказание злой феи сбылось: у меня решительно все выходит шиворот-навыворот. Ты говоришь: «Расшевели свой мозг, отогрей свое окоченевшее сердце», но если я постараюсь это сделать, у меня все выйдет наоборот. Как перед богом, говорю тебе правду: хочу сделать одно, а делаю другое. Разве я желала тебя и маменьку обманывать, когда обещала вам хорошо учиться и вести себя, а вышло наоборот.

Ты называешь меня «нравственным уродом», но я не злюсь на тебя, – я это заслужила. Хотя твои слова страшно обидны для меня, но я по-прежнему боготворю тебя, всегда помню, что ты была для меня настоящею родною матерью. Однако, несмотря на то, что я тебя обожаю и преклоняюсь перед тобой как перед божеством, я прошу тебя – не пиши мне писем. Один бог знает, как от этой моей просьбы у меня разрывается сердце, понимаю я и то, что это невежливо, даже гадко с моей стороны, а все-таки прошу – не пиши. Без твоего письма мне как-то покойнее жилось, а теперь не знаю, куда деться, минутами сердце стучит как молоток в груди. Вот уже первый шиворот-навыворот: хочу, чтобы ты писала, люблю тебя, и – прошу не писать.

Из всего, что я расскажу тебе, ты увидишь, что все у меня выходит шиворот-навыворот. Обещала хорошо учиться, а в кофейном классе так училась, что учителя перестали вызывать, а теперь, в старшем классе, – только немногим выше середины стою, да и то вывозят сочинения. Ты скажешь; что у меня память дурная, а я отвечу: «Не хуже, чем у других». Ты подумаешь, что я плохо понимаю, но ведь если бы я была тупицею, учитель литературы и француз не ставили бы мне за сочинения двенадцатибалльную отметку, да еще иногда с крестом. Нет, уж у меня все шиворот-навыворот выходит. Не умею объяснить, что со мною происходит, а сочинения могу писать, да еще делаю их не только для себя, но и для всех последушек: так называют у нас последних в классе. Значит, не тупица я и не лентяйка… Но перед тобой, мой обожаемый Шурок, я должна откровенно все говорить, – так вот очень часто действительно можно сказать, что я настоящая тупица, и что не учителя виноваты в том, что у меня какая-то пустота в голове. Наш учитель литературы Старов – гениальный человек и дивный поэт: мы очень серьезно изучаем у него литературу. Читает он нам много отрывков из различных произведений… И если бы ты знала, как он божественно читает! Черты его лица тогда становятся вдохновенными, поэтичными! Он так увлекательно говорит о красоте, об идеале! Я слушаю его так внимательно, что боюсь проронить хотя одно его слово, всегда выучиваю заданные им уроки, почти всегда отвечаю у него на 12. Но вот он как-то попросил меня изложить урок своими словами, – напутала, прямо вышла у меня какая-то галиматья, вообще как-то у меня ничего не остается в голове от лекций даже такого гениального преподавателя как Старов. Иногда мне кажется, что все это происходит со мною из-за того, что меня вечно терзают голод и холод. Прости, что такому идеальному существу, как ты, я говорю о таком низменном, но что же мне делать, если голод и холод перед тем как ложиться спать просто разрывают мне все внутренности… Но, может быть, все это и не от этого? Тяжело, тяжело, сама не знаю отчего!

А в поведении моем настоящий хаос: тут уж мой *шиворот-навыворот* выступает во всем блеске! Моя дортуарная дама Верховская еще в кофейном классе в такой день, когда она на всех была ужасно зла, вдруг несправедливо набросилась на меня, избила меня, унизила до последней степени, истерзала своею злостью всю мою душу, и я за это перед образом и перед всеми воспитанницами поклялась сделаться «отчаянной». И до сих пор держу свою клятву: всем классным дамам говорю правду в глаза, а также дерзости, беру на себя опасные поручения. За это я на очень дурном счету у начальства, все классные дамы в голос

кричат, что меня мало вышвырнуть из института. Ты понимаешь, Шурочка, что не могу же я перестать быть отчаянной, ведь я перед образом клялась, да и подруги заподозрят, что я хочу подлизываться к начальству… А если бы ты знала, как мне тяжело быть отчаянной, как я это ненавижу, но я это скрываю от подруг. Значит, уж моя судьба быть шиворот-навыворот! Шурочка, как тяжело, тяжело!

Ты спрашиваешь, о чем я мечтаю? Только о том, чтобы ты хотя на один день, хотя на один час приехала ко мне. Я бы положила на твои колени свою голову, ты бы гладила мои волосы, а я плакала бы, плакала так, что мне сразу стало бы легче.

Шурок, боготворимая, обожаемая сестра! Не прими за грубость, но прошу тебя, если ты не можешь посетить меня, не пиши мне больше: твои письма терзают меня, разрывают мне душу! Я гадкая, сама сознаю это, но на коленях умоляю тебя: прости меня, люби меня хотя немножко».

Когда через несколько недель после ссоры с братом Зарею мне сказали, что он пришел ко мне, я так обрадовалась, что в первую минуту не могла даже говорить с ним. Он не вспоминал о нашей размолвке, и на этот раз наше свидание прошло совершенно миролюбиво. Брат начал посещать меня почти каждую неделю. Я все более привязывалась к нему. Правда, от времени до времени меня бесили его насмешки над моими институтскими выражениями и взглядами, и у нас выходили маленькие стычки, но наши свидания никогда более не кончались формальною ссорою. Благодаря ему я менее сиротливо чувствовала себя в институте, и тяжелое настроение, особенно давившее меня одно время, несколько улеглось.

Однажды он заявил мне, что следующие две-три недели будет сильно занят и не сможет приходить ко мне. И вдруг, несмотря на это, в первое же воскресенье, когда уже оставалось не более получаса до окончания приема, воспитанницы закричали, что ко мне пришли. Сбежав с лестницы, я только что собиралась войти в залу, когда m-lle Тюфяева загородила мне дорогу.

– Кто пришел к тебе? – спросила она.

– Вероятно, дядя или брат, который ходил ко мне всю зиму.

– А еще ты никого не ждешь?

– Никого, – отвечала я и бросилась вперед, не замечая, что и она идет сзади по моим следам. Да это и трудно было заметить за массою публики у входа в залу, из которой уже многие выходили, простившись с своими родственницами. Не успела я сделать и нескольких шагов, как увидела своего младшего брата.

– Рекомендую тебе моего большого приятеля, – сказал он мне, указывая глазами на стоявшего подле него красивого, стройного офицера.

Я отвесила ему реверанс.

– Этот молодой человек, – продолжал брат, – давно стремится познакомиться с тобою…

Ответом на это с моей стороны был опять реверанс.

– Я много слышал о строгих нравах вашего института, – заговорил офицер, – но мне так хотелось познакомиться с сестрой моего лучшего друга, и я под его покровительством решился проникнуть в ваш строгий монастырь.

Я опять отвесила ему чинный реверанс.

– Боже мой, сестренка, неужели ты не узнаешь меня, твоего старшего брата? Неужели я так изменился?

Мистификация кончилась, мы наконец расцеловались и уселись по местам.

Мой старший брат, совершенно неожиданно даже для себя, только утром в этот день приехал в Петербург, остановился у дяди, который дал свой экипаж, чтобы мои братья навестили меня. Они не могли пробыть у меня долго, так как должны были возвратить экипаж дяде, который ехал куда-то по спешному делу, а потому нам удалось очень мало посидеть вместе.

Как только после свидания с братьями я успела подняться в свой дортуар, передо мной выросла m-lle Тюфяева и, грозно указывая на меня трагическим жестом, закричала во все горло:

– Я всем вам строго запрещаю приближаться и разговаривать с этою грязною тварью! Она опозорила наше честное заведение!

– Как, я? – не понимая, в чем дело, пораженная ужасом и изумлением, спрашивала я только потому, что Тюфяева прямо указывала на меня.

– Ах ты фокусница! Нет, сударыня моя, ты прекрасно знаешь, что ты настоящая чума института! Но теперь, слава богу, от тебя уже избавятся навсегда… – И, снова обращаясь к воспитанницам, она продолжала:

– Она сама, понимаете, сама сказала мне (при этом ладонью руки она ударяла себя в грудь), что ждет своего дядю или брата, которых мы знаем. Я собственными ушами слышала (она подняла обе руки к ушам), как ее брат, указывая на приведенного им офицера, рекомендовал его как своего товарища, как этот офицер говорил ей, что он боялся проникнуть в наш строгий институт и решился на это только при благосклонном покровительстве ее братца. А эта дрянь действительно сначала отвешивала ему только реверансы, а потом нашла это лишним и бросилась в его объятия… Сама видела, как они целовались взасос, как они

несколько раз принимались целоваться!.. И все это на моих глазах!.. Я, не отходя, наблюдала их! Почти все время стояла в нескольких шагах от них.

– Это ложь! Подлая ложь! Вначале я действительно не узнала старшего брата… Я не видала его более пяти лет… А когда узнала…

– Молчать, сволочь, паршивая овца, чума, зараза! – И она, как из рога изобилия, продолжала осыпать меня французскими и русскими ругательными словами, а от времени до времени подскакивала ко мне, топала на меня ногами и кричала:

– Я сейчас же доложу обо всем инспектрисе!.. – и быстро вышла из дортуара.

В это время мы были уже в старшем классе, и никто из моих подруг не придал значения тому, что она только что запретила разговаривать со мной. Напротив, все окружили меня и начали обсуждать «событие». Ни одна воспитанница не усомнилась в том, что Тюфяева оклеветала меня: поцеловать чужого мужчину, да еще при официальной обстановке, а тем более в приемные часы, было просто немыслимо для кого бы то ни было. Как я, так и мои подруги были одинаково убеждены, что доносу Тюфяевой начальство хотя и не поверит, но очень обрадуется, как удобному предлогу вышвырнуть меня из института за мою «отчаянность».

– Несчастная! Как ты решилась на такой ужас? – вскричала инспектриса, входя в дортуар в сопровождении Тюфяевой.

– Это ложь, maman! Клянусь богом, это клевета! Mademoiselle Тюфяева давно искала случая меня погубить! – рыдала я.

– Как ты осмеливаешься говорить это про твою почтенную наставницу?

В ту же минуту некоторые из моих подруг окружили m-me Сент-Илер и повторяли ей на все лады:

– Maman! Maman! Это был ее брат! Она его не узнала в первую минуту…

– Молчать! – дала окрик Тюфяева. – Видите ли, madame, – говорила она, обращаясь к инспектрисе и указывая на меня, – какое безнравственное влияние имеет она на свой дортуар! Они перебивают даже вас.

Но тут колокол позвонил к обеду. Это, вероятно, несколько облегчило неприятное положение нашей бесхарактерной maman. Уходя, она обернулась ко мне и произнесла:

– Когда ты обдумаешь свой ужасающий поступок и признаешь, как все это было ужасно с твоей стороны, ты можешь прийти ко мне сознаться в этом, иначе я не хочу и разговаривать с тобой…

– Но я клянусь всем святым, maman, что это был мой родной

брат! Я не могу сознаться в том, чего я не делала, – говорила я, обливаясь слезами.

– А я перед образом клянусь вам, madame, – и Тюфяева повернулась в угол, где висел образ, – что все, что я сказала вам, истинная правда: все это я видела собственными глазами, слышала собственными ушами. Увижу, madame, кому вы поверите: мне ли, беспорочно прослужившей здесь более тридцати шести лет, или этой грязной девчонке, родной брат которой приводит к ней…

– О, mademoiselle Тюфяева! – торопилась перебить ее совершенно растерянная m-me Сент-Илер, хватая себя за голову и поспешно направляясь к себе.

Воспитанницы строились в пары. Когда я подошла к подруге, с которою должна была ходить в паре, Тюфяева подскочила ко мне и рванула меня за руку прочь от нее:

– Никогда не посмеешь больше ходить с другими! Всегда одна… и сзади всех… как настоящая зараза!

– Иуда! Клеветница! Клятвопреступница! Не сметь до меня дотрагиваться! – кричала я в исступлении, не помня себя от раздражения.

– Все, все это будет доложено начальнице! – шипела Тюфяева.

– Даже и то, чего нет! – громко хохотала Ратманова.

M-lle Тюфяева, желавшая изолировать меня от подруг, должно быть вследствие раздражения, забыла поместить меня за отдельным столом или, по крайней мере, поставить меня между колонн, что считалось для воспитанниц старшего класса одним из наиболее тяжелых наказаний, и я сидела на своем обычном месте. «Какой удар нанесет моей матери и сестре мое удаление из института! Да… для меня все теперь потеряно, но я, по крайней мере, должна защищать свою честь до последней капли крови!» – решила я. Но вот соседка под столом нажимает мою ногу и подсовывает записку под мой ломоть хлеба, но так, чтобы мне видно было написанное. Я читаю: «Тебя все равно на днях выгонят отсюда, пожалуйста, очень тебя просим, надерзи, по крайней мере, так, чтобы стены трещали». Меня это бесит. Я злобно толкаю руку, которая протягивает мне уже новую записку. «Эгоистки! Вместо того чтобы пожалеть меня, невинно опозоренную на всю жизнь, они только думают о себе, мешают даже сообразить, что делать!»

Когда мы возвращались из столовой в класс (я одна позади всех) и проходили мимо узкого коридорчика, который вел в покои инспектрисы, Тюфяева пропустила всех перед собою и встала у самого входа в комнаты maman, точно желая преградить мне дорогу к ней. Этим она, сама того не подозревая, дала

неожиданный толчок моей мысли. Когда я, усевшись на классную скамейку, начала вынимать из пюпитра книги, но не для того, чтобы учиться, а чтобы что-нибудь иметь перед собой, Тюфяева закричала мне: «Не утруждай себя ученьем!.. На днях, моя драгоценная, тебя выгонят отсюда с позором!.. В свидетельстве будет прописано, за какие дела тебя выгнали… Ну, а теперь – сюда! Передник долой и стоять у доски до чаю!». Я беспрекословно исполнила ее приказание. Вдруг среди гробовой тишины раздался голос Ратмановой: «Удивительно, как некоторые личности не могут достаточно утолить свою злобу!».

Тюфяева не пожелала принять этого изречения на свой счет, проскрипела на французском и русском языках еще несколько ругательств по моему адресу и победоносно вышла из класса пить кофе, – это означало, что мы, по крайней мере час, будем наслаждаться ее отсутствием. Я взяла мел и написала на классной доске: «Согласно вашему заявлению и благодаря вашей грязной клевете, я считаю себя уже уволенной из института, а потому и не нахожу нужным долее подвергать себя вашему тиранству».

– Молодец, молодец! – кричала Ратманова, бросаясь ко мне, схватила меня за талию и начала кружить в вальсе. Я вырвалась от нее, надела передник и побежала к инспектрисе.

– Maman! – и я с воплем бросилась перед ней на колени. – Вы одна можете меня защитить! Умоляю, будьте мне родною матерью!

– Боже мой! Что же я могу сделать? Я просила mademoiselle Тюфяеву отложить эту историю хотя на несколько дней, подождать докладывать начальнице, но разве mademoiselle Тюфяева послушается кого-нибудь! Напротив, дитя мое, ты одна не только можешь помочь себе в этом деле, но и меня избавить от очень многих неприятностей… Если ты, при твоем строптивом нраве, бросишься на колени не передо мною, а перед mademoiselle Тюфяевой, будешь умолять ее простить тебя за все грубости и дерзости, которые ты ей делала, искренно пообещаешь ей исправиться, она тронется… Да, да, я уверена, она тронется твоим раскаянием…

Страшная душевная тревога, вызвавшая лихорадку, так что я минутами не могла попасть зуб на зуб, уже несколько часов удручала меня, а теперь еще новое предложение инспектрисы, столь унизительное, как мне казалось, для моего человеческого достоинства, возмутило меня до последней степени. Я как ужаленная вскочила с колен. Это новое оскорбление притянуло к моему сердцу всю кровь организма, всю горечь жестоких обид, весь огонь негодования моего вспыльчивого и неуравновешенного

темперамента. Я совсем забыла об обязательном этикете относительно инспектрисы и о своем бесправном, рабском положении; к тому же, меня не оставляла мысль, что мне нечего более терять, и я бесстрашно начала говорить все, что приходило мне в голову.

– Maman! Вы требуете, чтобы я просила прощения; но как просить прощения в том, в чем я не считаю себя виноватой? Вы советуете упасть на колени перед особой, которую презирают все воспитанницы без исключения, а я, кажется, еще больше других… Я скорее дам разрезать себя на куски, но этого не сделаю! Да и к чему? Вы говорите: «Проси прощения за грубости», – но ведь в данную минуту mademoiselle Тюфяева обвиняет меня не за них. Вы даже сами не можете произнести того, за что она меня обвиняет, следовательно, сами не верите в справедливость ее обвинения. Я знаю, меня вышвырнут отсюда… Mademoiselle Тюфяева повторяет мне это каждую минуту, но за такую клевету я отомщу всем, всем без исключения! Я даю клятву богу, что отдам всю свою жизнь на то, чтобы отомстить всем, всем… Мой дядя всегда может иметь аудиенцию у государя… Я через него подам просьбу государю… И дядя расскажет ему, как здесь, вместо того чтобы защищать молодых девушек, на них взводят небылицы и выгоняют с позором! – Инспектриса вздрогнула при этих словах и подняла на меня глаза, но я не могла остановиться, не могла замолчать, – И здесь нет никого, кто бы защищал нас!.. Даже вы… вы, maman, которую все считают самою умною и образованною, самою доброю, Даже вы не желаете меня защитить, хотя прекрасно знаете, что я ни в чем не виновата!

Спазмы давили мне горло от рыданий, я не могла более говорить, опять бросилась на колени перед нею, опять повторяла то же самое на разные лады. Инспектриса молчала – потому ли, что сознавала справедливость моих слов, или потому, что считала дерзостью все сказанное мною, – мои заплаканные глаза не могли видеть выражения ее лица, но ее дрожащие руки вдруг опустились на мою голову, и я инстинктивно поняла, что она не считает дерзостью сказанное мною. Я припала к ее коленям и стала целовать ее руки со стоном: «О, maman, maman!». Наступило молчание, прерываемое только моим судорожным всхлипыванием. Наконец она проговорила, продолжая гладить мои волосы своими дрожащими руками:

– А ведь я до сих пор совсем не знала тебя! Горячка, горячка! Ах, дитя, твой пылкий нрав, доходящий до исступления, много горя, много слез готовит тебе в будущем! Я понимаю, почему тебя так ненавидят классные дамы, почему произошла эта история именно с тобою, а не с кем другим… – Она положительно не

могла назвать того, что произошло, и сама, вероятно, не соображала, что, говоря таким образом, она этим самым подтверждает, что не верит взведенной на меня клевете. – Видит бог, что при всем желании я решительно ничего не могу тут сделать!

Вдруг у меня блеснула счастливая мысль написать дяде и просить его объяснить m-me Сент-Илер, кто у меня был сегодня на приеме. Я высказала ей это, и она, подумав, отвечала, точно обрадовавшись:

– Что же, напиши!.. Да… да, конечно, напиши… Может быть, это будет самым лучшим исходом для всех нас!.. Я отправлю твое письмо с горничною на извозчике, но, конечно, только в том случае, если ты сумеешь написать это без каких бы то ни было неделикатных выражений по отношению к mademoiselle Тюфяевой.

Мое письмо было кратко и объективно: я сообщала дяде о посещении меня братьями и объясняла ему, как и почему явилось подозрение у m-lle Тюфяевой, что мой старший брат совершенно посторонний для меня человек. Я умоляла дядю выяснить это дело сегодня же, так как m-lle Тюфяева заявила мне, что я за прием чужого офицера, которого, к тому же, поцеловала, буду немедленно уволена из института.

Когда я дописывала последние строки, в комнату вошла m-me Сент-Илер.

– Видишь ли, мое дитя, как ты наивна! Ты воображаешь меня такой всесильной, а я даже не могла упросить mademoiselle Тюфяеву, чтобы она подождала с этой историей хотя до завтра. Она уже отправилась к начальнице.

Хотя инспектриса внимательно прочитала мое письмо, но не сделала никаких возражений и моментально запечатала его, дала горничной на извозчика и приказала ей, не теряя ни минуты, отвезти его и вернуться обратно с ответом.

Несколько успокоенная, я отправилась в дортуар, где подруги рассказали мне, как Тюфяева, возвратившись в класс, заметила, что меня не было у доски, как она несколько раз прочитала мое послание к ней и объявила, что она сейчас же отправляется к начальнице доложить обо всем происшедшем.

Преподаватели Смольного института в учительской комнате

Когда воспитанницы ушли в столовую пить чай, я опять направилась к инспектрисе. Наконец возвратилась и горничная. Когда она, по ее словам, подъехала к подъезду квартиры, занимаемой моим дядею, он садился в карету, чтобы ехать куда-то. Он взял письмо и пошел с ним наверх к себе. Когда он опять вышел на подъезд, то приказал горничной передать инспектрисе о том, что он едет к начальнице, а затем явится к ней. При этом он закричал кучеру: «Гони!».

Я целую вечность, как мне показалось, бродила по коридору, поджидая дядю. Наконец я увидала, что он поднимается наверх.

– Это что за грязная история? – строго спросил он меня, точно я была в ней виновата.

– Дядюшечка, дорогой! Пожалуйста, тише… Нас могут услышать… – И я быстро передала ему все, как было дело.

– Знаешь ли ты, глупая, что твои бабы могли меня скомпрометировать очень серьезно. Нет, этого я им не спущу! – И, нагибаясь к моему уху, он прибавил: – Твоей начальницей уже наступил на хвост… повизжит! Просто идол какой-то!.. Эту египетскую мумию в музей надо, а не двумя институтами управлять!.. – И он начал хохотать так, что все его грузное тело сотрясалось.

Дядюшкин смех был услышан в комнатах инспектрисы, и к

нам выскочила горничная, вероятно для того, чтобы посмотреть, кто пришел. Я потянула дядю за руку, и мы вошли. При нашем появлении maman поднялась и, протягивая руку дяде, начала говорить о том, как она рада, что он поторопился приехать. Вероятно, теперь выяснится этот прискорбный случай, который…

Дядя более привык командовать полком, кричать, распоряжаться, чем вести светскую беседу. К тому же, он был взбешен всем этим делом.

– Это не прискорбный случай, сударыня, а прямо, можно сказать… грязь! Я уже предупредил начальницу Леонтьеву, а теперь честь имею доложить вам, что буду считать долгом… священным долгом довести все это до государя императора. Моя жена – почтенная мать семейства, самое миролюбивое существо, но и она пришла в негодование, прочитав письмо племянницы. Она говорит, что порядочная воспитательница, заподозрив девочку в таком преступлении, не должна была обмолвиться ей об этом ни единым словом, даже виду не показать, а обязана была моментально написать мне, ее дяде, и сообщить о подозрениях, закравшихся у нее, требовать у меня объяснения относительно молодых людей, посетивших девочку. Но госпожа Тюфяева поступила как раз наоборот: с места в карьер она набросилась на мою племянницу и начала уличать ее в преступлении. А знаете ли, сударыня, какие бы последствия могло иметь это дельце? Оно наделало бы много шуму в городе, меня оно обрызгало бы грязью, а ее женская честь была бы навек загублена!.. В царствование императрицы Елизаветы Петровны – мудрейшая была государыня! – такой особе как госпожа Тюфяева отрезали бы язык…

– Генерал, генерал, ваше превосходительство! У нас не принято при воспитанницах так отзываться об их воспитательницах!

Вдруг дядюшка быстро и сердито обратился в мою сторону и закричал на меня во все горло:

– Как ты смеешь, постреленок, тут торчать? Смей у меня не уважать начальство!

Я как ошпаренная выскочила в другую комнату, но ничего не потеряла из интересного для меня разговора. Голос дядюшки раздавался на всю квартиру.

– Но чем же я виновата в этой истории? Я умоляла mademoiselle Тюфяеву не докладывать о ней начальнице, по крайней мере, несколько дней, но все было напрасно…

– Вы, сударыня, могу вас уверить, вы во всем виноваты. Разве можно держать таких недостойных воспитательниц? Вы – начальница этого заведения, и вдруг позволяете подчиненной

сесть себе на голову! Вы должны держать подчиненных в ежовых рукавицах, чтобы они и пикнуть не смели, а вы их распустили! Это большое преступление! Вы извините меня, сударыня, я простой русский солдат, много раз бывал под градом неприятельских пуль, верою и правдою служу моему обожаемому монарху и правду-матку привык резать в глаза… Правда, я человек горячего характера, но ведь эта история может взорвать хоть кого! – Но тут он начал смягчаться, подробно рассказал, как сегодня приехал мой старший брат, как он дал ему карету, чтобы тот вместе с своим младшим братом навестил меня, как они быстро возвратились и т. д. – Верьте, сударыня, я отношусь к вам с чувством глубочайшего уважения и обвиняю вас только в излишней слабости и попустительстве… Для меня несомненно, что все это произошло от вашей ангельской доброты.

Инспектриса, несмотря на свою слабохарактерность, все-таки не позволила бы наговорить всего того, что ей пришлось выслушать, но ее, как она мне сама сознавалась уже после моего выпуска, вынуждал к этому страх, что крутой и шумливый генерал, чего доброго, действительно доведет до сведения государя эту историю, и что в таком случае она наделает много неприятностей институтскому начальству. Как только она могла прервать поток горячих речей моего дядюшки, она начала высказывать ему, что вполне понимает справедливость его негодования, и уже по тому, как он горячо принял к сердцу интересы своей племянницы, она видит, какою возвышенною, благородною душою он обладает.

Дядюшка не всегда мог устоять перед лестью. Он вскочил с своего места, протянул руку и с чувством произнес:

– Как же иначе? Моя племянница – дочь моей родной сестры, сирота, я единственный ее защитник и покровитель! Но вы сами, сударыня, как я уже тысячу раз говорил племяннице, чудная, святая женщина… она должна питать к вам только благоговение и восторг, а вот начальница Леонтьева… простите… того… н-да…

Инспектриса, видимо, до смерти перепугалась, что такой невоздержанный на язык человек, каким был мой дядя, может и относительно начальницы высказать что-нибудь неподходящее здесь, где даже стены должны были слышать по отношению к ней лишь славословия, а потому живо перебила его.

– Я вас прошу, генерал, самый великодушный, самый лучший из всех генералов: не доводите этой истории до государя… Убедительно прошу вас об этом! Ну для чего вам это? Дайте же мне честное слово, что все это останется между нами.

– Мне самому приятнее миролюбиво покончить с этой историей… Но я дам вам честное слово не беспокоить ею

государя только в том случае, если вы поручитесь мне, что госпожа Тюфяева за свою же вину не устроит ада бедной девочке.

– О, это я беру уже на себя! – воскликнула инспектриса.

Я ожидала, что при этом удобном случае она сообщит дяде о моем дурном поведении вообще, но она тут, как и всегда, проявила доброту и не упомянула даже о моей «отчаянности». Вообще наша инспектриса бывала даже великодушна, если только обстоятельства в ее тяжелом положении не заставляли ее действовать вопреки ее природным склонностям.

Когда дядя попросил ее позвать меня, я моментально прошмыгнула через коридорчик на площадку к окну и приковала к нему свой взор, дабы удалить всякое подозрение насчет того, что я слышала разговор. Когда я вошла, дядя встал со стула, подошел ко мне и, грозно размахивая перед моим носом своими двумя пальцами, произнес с адскою суровостью наставление в виде целой речи, по обыкновению не заботясь в ней ни о последовательности, ни о логике, а нередко пренебрегая даже здравым смыслом.

– Я требую от тебя прежде всего полного и безусловного повиновения начальству. Ты должна любить его, уважать всем сердцем, всем помышлением, молиться ежедневно за него богу, точно так же, конечно, и за mademoiselle Тюфяеву. Как ты думаешь, зачем все это она сделала? Ей было приятно, что ли, поднять всю эту истерию? Сделала она это, милый друг, для того, чтобы блюсти за твоей нравственностью! Но если в твою головенку когда-нибудь заползет дикое и пошлое желание на самом деле поцеловать чужого мужчину, в чем тебя заподозрила mademoiselle Тюфяева, потому что у тебя чертики бегают в глазах… берегись! Тогда… тебя не придется и исключать из института… О нет, я этого не допущу! Понимаешь ли ты… я этого никогда не допущу! (При этом он страшно расширил глаза.) Я в ту же минуту явлюсь сюда и своими руками… своими собственными руками оторву тебе голову… задушу… убью!

Все это он говорил уже с кровожадно-свирепым выражением лица, наглядно показывая руками все степени казни, которые я должна буду испытать.

Когда мы выходили с ним из коридорчика, какая-то фигура быстро промелькнула мимо нас и скрылась. Я догадалась, что то была Ратманова, подслушивавшая и подглядывавшая за всем, что происходило у инспектрисы.

Я вошла в дортуар, – все уже были в постелях. Ратманова с хохотом высвободилась из-под одеяла, совершенно одетая, и забросала меня вопросами; остальные приподнялись с постелей и тоже торопили меня рассказывать им подробно и по порядку все,

что было. Но я совсем не была расположена к болтовне и отвечала им вяло и неохотно, что удивляло подруг, находивших, что я должна была бы иметь торжествующий и ликующий вид. Испуг, державший меня столько часов в напряженном ожидании неминуемой беды, и сознание, что только счастливый случай помог мне выкарабкаться из нее в первый раз в жизни, во всем потрясающем ужасе показал мне все мое ничтожество перед грозной силой нашего начальства, которое завтра же может сделать со мною все, что угодно. Я бросилась в постель и, уткнувшись в подушку, горько рыдала. Вероятно, те же мысли пришли в голову и моим подругам: всхлипывание, сморкание и откашливание раздавались со всех сторон… Только Ратманова, менее всех поддававшаяся чувствительности, громко изрыгала самую отборную брань по адресу классных дам вообще и Тюфяевой в особенности.

На другой день инспектриса отправилась к начальнице. Как и что они при этом обсуждали, для нас осталось неизвестным; не узнали мы и того, о чем разговаривала инспектриса с Тюфяевой, которую она на этот раз продержала у себя очень долго, но, вероятно, последняя не получила для себя ничего утешительного: несколько дней после этого события ее физиономия выражала какую-то пришибленность, и она сидела в классе совсем тихо, безучастно относясь даже к тому, что воспитанницы шумели в неурочное время. Во всяком случае, роль добровольного полицейского, которую эта истинная злопыхательница исполняла так усердно, была временно приостановлена. Ко мне она совсем не придиралась более, даже не произносила моего имени.

Что же касается инспектрисы, то, вежливая и ласковая со всеми, она стала относиться ко мне с особенным вниманием. Однажды она заявила мне, что просит меня приходить к ней в послеобеденное время всегда, когда я буду свободна от уроков. В такие вечера она заставляла меня читать вслух Вальтер Скотта во французском переводе, объясняла все для меня непонятное, расспрашивала о членах моей семьи. Эти два-три месяца, когда я по разу, по два в неделю приходила к ней по вечерам, были самым светлым воспоминанием во всей моей институтской жизни дореформенного периода. С материнским участием и лаской она как-то просила меня объяснить ей, почему до сих пор я была «отчаянной», почему только в самые последние недели на меня перестали жаловаться классные дамы.

– Мне кажется, – говорила она, – ты просто напускаешь на себя эту отчаянность!.. Я сама заставала тебя после твоих «отчаянных выходок», когда ты положительно имела вид d’une personne arrogante… (высокомерной личности – *франц.*).

– Потому что я ни от кого не слыхала здесь доброго слова!.. Вы говорите, maman, что за последнее время на меня не жалуются… Когда я стала к вам приходить… вы так добры ко мне… я сама чувствую, что теперь злость моя начинает проходить…

M-me Сент-Илер громко рассмеялась, я сконфузилась, но не понимала всей наивности моего признания. Я не умела лучше сформулировать то, что как-то неопределенно бродило в моей голове. Только гораздо позже я могла бы ответить ей, что весь строй нашей жизни, с ее казенщиной и формализмом, представлял стоячее болото, которое могло выращивать только болотные растения. Не имея книг для чтения, ничего не извлекая из преподавания для развития ума, лишенные человеческого руководительства наставниц, воспитанницы не могли укрепляться в добрых чувствах, у них росло лишь раздражение, развинчивались нервы, вырабатывались индифферентность ко всему и рабские чувства или отчаянная грубость.

– Убедительно прошу тебя, мое дитя, попробуй быть менее дерзкой, уверяю тебя, и классные дамы будут тогда к тебе более снисходительны.

Какою любовью, каким восторженным обожанием забилось мое сердце от этих непривычных для меня добрых слов!

– О, maman! Вы – святая! – вскричала я в исступленном восторге. – Я не стою поцеловать вашу руку. – И я в экстазе упала перед ней на колени и поцеловала край ее платья.

– Ах ты, восторженная головушка! – кинула мне maman, и я, переконфуженная от сказанного, бросилась бежать из ее комнаты.

Вскоре после описанных происшествий все обстоятельства институтской жизни начали влиять на ослабление моей отчаянности, задора и воинственности. Этому прежде всего помогало то, что мы перешли в так называемый выпускной класс, где наши воспитательницы уже менее придирались и реже наказывали воспитанниц. Кроме того, «выпускные» пользовались некоторыми привилегиями: в послеобеденное время до чая классные дамы иногда уходили в свою комнату и оставляли нас одних в классе, а иной раз приказывали даже без них спускаться в столовую. Моему умиротворению содействовало и сердечное отношение ко мне инспектрисы, отсутствие придирок со стороны Тюфяевой, а главное – то, что инспектором классов к нам был назначен Ушинский[137]; но о нем я буду говорить ниже.

Когда однажды я возвратилась от m-me Сент-Илер ранее обыкновенного, Ратманова встретила меня язвительными словами:

– Ты ловко обделываешь свои делишки! Ничего что

«отчаянная», а сумела приобрести благоволение инспектрисы!

Я была поражена и растерянно переводила глаза с одной подруги на другую.

– Хотя madame Сент-Илер и начальство, но она чудная, святая женщина, – проговорила я наконец. – Я не считаю подлостью ее посещать! Она не из тех, которые выспрашивают о том, что делается в классе. Кажется, я еще никому из вас не навредила!

– Никто не обвиняет тебя в этом, никто не сомневается и в том, что инспектриса не станет у тебя выпытывать что бы то ни было, но не все придерживаются твоего мнения, что она святая женщина!.. Пожалуй, все, кого бы она пригласила к себе, стали бы к ней бегать… Но едва ли это следует делать! – Так говорила Бринкен, бесспорно, самая умная из всех моих подруг.

Эти слова смутили меня гораздо более, чем обвинение Ратмановой.

– Но почему же, почему? – растерянно спрашивала я ее.

– Просто потому, – отвечала она, – чем дальше от начальства, тем лучше…

– Чудная, святая женщина! – передразнивала меня Ратманова. – Мы голодаем, а эта чудная, святая женщина не может и слова сказать эконому, чтобы он не обкрадывал нас… Классные дамы жалуются на нас, – она всегда принимает их сторону, а не нашу… Давно ли она советовала тебе стать на колени перед Тюфяевой, превосходно сознавая, что та тебя оклеветала!..

Но тут кто-то из наших вбежал к нам и закричал:

– Чего вы не спускаетесь в столовую? Уже давно звонили… Будут попрекать, что вы без классной дамы и шагу не умеете ступить!

Все бросились в пары, и мы понеслись с лестницы. Я машинально бежала за другими, но про себя обдумывала только что происшедший разговор. «Да, они правы, тысячу раз правы! – твердила я себе. – Что сделала полезного для нас инспектриса? Только что не груба! А я уже и в восторг пришла от ее святости!». Но вдруг я оступилась и полетела вниз с лестницы: на одном из ее поворотов я задержалась было, но сзади бегом спускавшиеся воспитанницы нечаянно толкнули меня, и я уже без всяких задержек полетела вниз, пока не упала на пол, недалеко от дверей столовой. Когда подруги подняли меня, я была в сознании, только сноп кровавых точек мелькал перед моими глазами. Я постояла с минуту и, не чувствуя никакой боли, вошла с другими в столовую. Скоро я совершенно успокоилась, а когда мы пришли в дортуар и улеглись спать, я тотчас уснула. Ночью я проснулась от боли в груди и от лихорадки, укрылась салопом, в

надежде как-нибудь оправдаться перед дортуарной дамой, но меня никто не тревожил. Когда прозвонил колокол и наши начали вставать, я объявила им, что у меня кружится голова, и я не могу приподнять ее от подушки. Наконец мне удалось привстать, но приступ жестокой лихорадки так сковал мои члены, голова так кружилась, что я не могла шевельнуться. Мне помогали вставать подруги; то одна, то другая из них, указывала на то, что шея и грудь у меня распухли и покрылись кровоподтеками; они потолковали между собой по этому поводу и единогласно пришли к мысли, что при таком положении для меня немыслимо идти в лазарет: перед доктором придется обнажить грудь, и этим я не только опозорю себя, но и весь выпускной класс. Это обстоятельство, рассуждали они, должно заставить каждую порядочную девушку вынести всевозможные мучения скорее, чем идти в лазарет. То одна, то другая задавала мне вопрос: неужели у меня не хватит твердости характера вынести боль? Я, конечно, вполне разделяла мнение и взгляды моих подруг на вопросы чести, но не могла им отвечать как от головокружения, так и от смертельной обиды на них за то, что они могут сомневаться во мне по такому элементарному вопросу как честь девушки. Я решила, что к такому дурному мнению обо мне они пришли только потому, что я посещала инспектрису. Все это я высказала им в отрывочных фразах, проливая потоки слез и от обиды, и еще более от мучительной боли в груди. Подруги успокаивали меня, просили не волноваться, чтобы сохранить силу мужественнее вынести несчастие, ниспосланное мне судьбою. Когда я оделась с их помощью и зашаталась, они заботливо поддерживали меня со всех сторон, давали нюхать одеколон, смачивали виски. На этот раз забота обо мне подруг, не склонных вообще задумываться над несчастием друг друга, была поистине трогательна. Когда мы вошли в класс, они, посоветовавшись между собой, подошли к дежурной даме и просили ее позволить мне сидеть в пелеринке во время всех уроков. «У нее кашель, – говорили они ей, – но она не желает из-за таких пустяков идти в лазарет и пропускать урок». Та согласилась на это. Но полотняная пелеринка мало защищала от холода, и я вся тряслась от лихорадки; тогда воспитанницы собрали платки, укутали ими мои ноги и колени, даже обмотали мои руки, советуя не поднимать их из-под пюпитра.

Я сидела и ходила, как автомат, но как только от боли у меня вырывался стон, подруги шаркали ногами и кашляли, чтобы заглушить его, умоляя меня воздерживаться от стонов. У меня пропал аппетит, и они по-братски поделили мою порцию во время завтрака и обеда.

Когда на другой день я опять после бессонной ночи встала с постели с еще более значительною опухолью на шее и груди и двигалась еще с большим трудом, они решили, что это произошло оттого, что я накануне ничего не ела, и что они должны заставлять меня есть. Я понимала, что я в их власти, и не имела силы ни сопротивляться, ни говорить, а потому делала усилия и ела, как они этого требовали. Но когда мы пришли в класс после обеда, меня стало так тошнить, что подруги насилу вытащили меня в коридор к крану, где можно было скрыть последствия тошноты, и принялись обливать холодной водой мою несчастную голову, горевшую как в огне. Всю последующую ночь то одна, то другая подруга подбегала к моей постели, укрывала меня, клала намоченное полотенце на мой горячий лоб, но мне становилось все хуже. На третий день утром я заявила им, что не могу встать. Хотя то одна, то другая из них, осматривая меня, вскрикивала: «У нее еще более распухла грудь и посинела шея!» – тем не менее, было решено, что мне нужно встать и отправиться в класс. Общими усилиями они одевали и обували меня в постели, уговаривали не терять мужества, и это заставило меня встать, хотя и с их помощью. Но они сами убедились, что вести меня вниз по лестнице невозможно, а потому решили скрыть меня и, когда все отправятся в столовую, оставить при мне одну из подруг.

У нас не было обычая пересчитывать воспитанниц; к тому же, во время чая на столе не стояло приборов, а потому скрыть отсутствие одной-двух воспитанниц было нетрудно. Когда наши возвратились в класс, моя сторожиха стащила меня туда же и усадила на скамейку, а другие подошли к дежурной даме просить ее о дозволении для меня сидеть на уроках в пелеринке. Но та отвечала, что так как с тою же просьбою они уже обращались к ней третьего дня, то она убеждена, что это какой-нибудь фокус, а потому и приказала мне подойти к ней. Я встала, но, сделав несколько шагов, упала без чувств.

Воспитанница Смольного института благородных девиц Елизавета Водовозова

Когда я пришла в сознание, я лежала в отдельной комнате лазарета, предназначенной для труднобольных. В ту минуту в ней толпилось несколько человек: инспектриса, лазаретная дама,

сиделка и трое мужчин, из которых я узнала только одного нашего доктора. Кто-то незнакомый мне, наклонившись надо мной, просил меня назвать мое имя, отчество и фамилию; я исполнила его желание, и только позже мне стало известно, что этот вопрос был задан с целью узнать, в порядке ли мои умственные способности. На его вопрос, сколько времени я нахожусь в лазарете, я отвечала:

– Часа два-три.

– Вы лежите в лазарете одиннадцать дней, пролежали все время в бреду, и вам только что сделана операция. Старайтесь побольше спать и есть.

Прошло уже около двух месяцев, как меня принесли в лазарет, а я была так слаба, что не могла сидеть и в постели. Тупое равнодушие овладело мною в такой степени, что мне не приходила даже в голову мысль о том позоре, которому я, по институтским понятиям, подвергала себя при ежедневных перевязках, когда доктора обнажали мою грудь; не терзалась я и беспокойством о том, как должны были краснеть за меня подруги. Кстати замечу, что, по тогдашнему способу лечения, мою рану не заживляли более двух месяцев, и я носила фонтанель[138]. Но вот наконец, когда однажды я почувствовала себя несколько бодрее, доктор, делавший операцию, сел у моей кровати и начал расспрашивать меня о том, почему я не тотчас после падения с лестницы явилась в лазарет. Когда он несколько раз повторил свой вопрос, я отвечала:

– Просто так.

– Немыслимо, чтобы вы без серьезной причины решились выносить такие страдания!

– Я вам отвечу за нее, профессор… Я ведь знаю все их секреты! Хотя никто не сообщал мне, но я не сомневаюсь в том, что ее подруги и она сама считают позором обнажить грудь перед доктором, – вот милые подруженьки, вероятно, и уговаривали ее не ходить в лазарет.

– Однако этот институт – презловредное учреждение. – И, обращаясь ко мне, профессор добавил:

– Понимаете ли вы, что из-за вашей пошлой конфузливости вы были на краю могилы?

Это меня жестоко возмутило. Когда доктор, проводив профессора, подошел ко мне, я со злостью сказала ему:

– Передайте вашему профессоришке, что, несмотря на его гениальность, он все-таки тупица, если не понимает того, что каждая порядочная девушка на моем месте поступила бы точно так же, как и я… Покорнейше прошу сказать ему также, чтобы он не смел более называть меня девочкой… Еще должна вам заявить,

что перевязок я более не позволю делать… Вы могли их делать до сих пор только потому, что я отупела во время болезни…

Несмотря на усовещивания инспектрисы, до сведения которой было немедленно доведено мое намерение, я оставалась твердой и непоколебимой. На другой день с одной стороны к моей кровати подошел наш доктор, с другой – профессор. В ту минуту, когда я приподнялась, чтобы выразить им мое нежелание показать рану, один из них схватил меня за руки, а профессор спустил с плеч рубашку и стал разбинтовывать рану. Все это было сделано с такой быстротой, что я не успела сказать ни слова, а перевязка и очищение раны были сопряжены со смертельною болью, и у меня сразу вылетело из головы все, что я собиралась сказать.

Однажды вдруг распространилось известие, что государь уже на Николаевской половине. Ко мне вошла инспектриса и предупредила, что государь, вероятно, зайдет в это отделение, так как он всегда заходит к труднобольным, если только в лазарете нет эпидемии. При этом она учила меня, как я должна приветствовать его. Она приказала мне отвечать на вопросы государя, как можно лучше обдумывая каждое слово, и передала все то, что государь, по ее мнению, мог спросить меня.

Меня стали облекать в чистые одежды, кругом все торопливо вытирали и подчищали, хотя нужно отдать справедливость, что у нас не только в лазарете, но и в классах все блестело идеальной чистотой.

И император Александр II вошел в мою комнату в сопровождении инспектрисы, доктора и всего лазаретного персонала. Дрожащим голосом я произносила свое приветствие на французском языке. Государь подошел к моей постели, в виде поклона чуть-чуть наклонил голову и стоял, выпрямившись во весь рост. Он не задавал мне вопросов о моей болезни, – вероятно, доктор сообщил о ней, прежде чем он вошел ко мне, но спросил меня по-французски:

– Вы и теперь еще сильно страдаете?

– Теперь мне лучше, ваше императорское величество, – отвечала я.

– Что нужно, по мнению врачей, чтобы ускорить ее выздоровление? – спросил государь, обращаясь к доктору.

– Деревенский воздух, ваше императорское величество, мог бы укрепить ее расшатанное здоровье.

– Mademoiselle! – обратился ко мне государь. – Есть у вас родственники в Петербурге?

Я отвечала, что здесь живет мой родной дядя, Г<онецкий>.

– Вы можете отправиться к нему, как только врачи найдут это

желательным, и оставаться у него до тех пор, пока совершенно не поправитесь, затем возвратитесь в институт и кончите ваше образование. А пока вы здесь, вы, может быть, хотели бы чего-нибудь сладкого?

Так как такой вопрос не был предвиден maman, и я не получила по этому поводу никаких инструкций, то я простодушно отвечала:

– Я благодарю вас от всего сердца, ваше императорское величество, ко мне здесь, в лазарете (я нарочно подчеркнула слово здесь, чтобы государь узнал, что только в лазарете, но мой заряд пропал, конечно, даром), все очень добры, мне дают даже peau de la vierge.

Государь сдвинул брови:

– Что это такое peau de la vierge? Как вы называете это по-русски?

– Ваше императорское величество! Мы называем так «девичью кожу»…

– Ничего не понимаю. Что это значит? – И государь обратился к доктору.

– Род пастилы, ваше императорское величество, которую мы держим как лакомство для больных: она называется у институток «девичьей кожей».

– А когда вы захотите еще чего-нибудь, кроме «девичьей кожи», – сказал государь, обращаясь ко мне и чуть-чуть улыбаясь углами губ, – вы можете об этом заявить господину доктору. Вы все получите, что не повредит вашему здоровью.

Радостный, веселый, подбежал ко мне доктор после обхода всего лазарета и стал говорить о том, как милостив был ко мне государь, какой продолжительной беседы он меня удостоил, сколькими благодеяниями меня осыпал… Через неделю-другую меня отпустят домой, а теперь будут раскармливать: цыплята, вино – все будет к моим услугам…

– Да вы стоите этого! Как мило вы о нас отозвались… Конечно, вы нас выделили, чтобы сделать маленькую неприятность кое-кому. Но ведь этого никто, кроме инспектрисы, не заметил.

Вошла и инспектриса. Несмотря на ее обычный ласковый тон, я заметила, что она мною очень недовольна.

– Напрасно, совершенно напрасно ты утруждала государя такими длинными ответами и всякими пустяками!.. Задерживать государя таким вздором считается верхом неприличия!.. И эта «peau de la vierge» была так некстати!

Но я решила, что ее раздосадовало то, что я в разговоре с государем упомянула о хорошем отношении ко мне только

лазаретных служащих.

Результаты институтского воспитания и образования

Религиозное воспитание. – Образцовая кухня. – Обучение рукоделию. – Изучение французского языка. – Дневники и стихотворения воспитанниц

Наше воспитание отличалось строго религиозным характером. Начальница Леонтьева, если судить по ее донесениям императрице, была им очень довольна. Она писала ей: «Трогательное зрелище представляют молодые девушки, глубоко проникнутые религиозными идеями; они уносят их далеко от того света, в котором им предназначается жить и к которому они должны были бы чувствовать влечение уже вследствие своего юного возраста!..» (Мордвинова, «Статс-дама Мария Павловна Леонтьева», стр. 84).

Религиозное воспитание, получаемое нами, состояло как в теоретическом изучении обширного курса закона божия, так и в практическом применении к жизни предписаний православной религии, из которых на первом месте стояли строгое соблюдение постов и чрезвычайно частое посещение церкви. Что касается постов, то все условия нашей жизни лишали нас возможности строго их соблюдать. Хотя мы и получали в это время постную пищу, но так как мы в такие дни особенно сильно испытывали муки голода, то, когда родственники приносили кому-нибудь из нас съестное, мы не могли разбирать, было ли то скоромное или постное, и с одинаковым наслаждением уничтожали и постный пирог с грибами, и курицу.

Во все воскресные, праздничные и царские дни[139] и в кануны их, а также в первую и страстную недели великого поста мы посещали церковь, нередко даже по два раза в день, а также и всю четвертую неделю этого поста, когда говели. Церковными службами нас так утомляли, что многие воспитанницы падали в церкви в обморок. Непосильное утомление заставляло многих употреблять все средства, чтобы избавиться от посещения церкви, но так как этого добивались решительно все, то между нами обыкновенно устанавливалась очередь (сразу не более трех-четырех в дортуаре), которая давала право заявить дежурной даме о том, что они не могут идти в церковь по причине зубной, головной или другой какой-нибудь боли. При большом количестве воспитанниц желанная очередь наступала редко, а потому многие решались симулировать дурноту, и некоторые воспитанницы делали это очень искусно. Во всем блеске этот

талант проявлялся у девиц старшего класса, так как в нем уже более рельефно отражалось все дурное, привитое закрытым заведением.

Взрослые институтки удивительно ловко умели представлять обморок: задерживая дыхание, они бледнели, тряслись, вскрикивали, как будто внезапно теряли сознание, ловко падали на пол, даже с грохотом, не причинив себе ни малейшего вреда. Но были в этом отношении и совсем бесталанные: несмотря на обучение их этому искусству опытными подругами, они никак не могли усвоить его. Такие несчастные создания в известный момент богослужения вытягивали из кармана махорку, приобретенную у сторожа за дорогую цену, и засовывали ее за щеки. У них подымалась рвота, и их выводили из церкви.

В конце концов религиозное воспитание, получаемое в институте, содействовало только нравственной порче и полной индифферентности к религии. К выпуску оставалось чрезвычайно мало девушек религиозных; даже те, которые с таким благоговением и трепетом приступали к причастию в первый год своей институтской жизни, перед последним причастием уже грызли шоколад, нередко делая это демонстративно и громко высмеивая религиозные обряды. Утрате религиозных чувств сильно помогало ханжество как начальницы Леонтьевой, так и всех классных дам; на языке у них всегда были слова: милосердный бог, всепрощение, любовь к ближнему, святая религия, но на деле никто из них не выказывал участия, христианского милосердия и любви к воспитанницам.

Точно так же и большая часть других правил и предписаний, положенных в основу институтского воспитания и обучения, давала лишь самые печальные результаты. Чтобы приготовиться к скромной доле, ожидавшей многих из нас в будущем, мы должны были уметь готовить кушанья, для чего существовала образцовая кухня. Девицы старшего класса, соблюдая очередь, по пяти-шести человек ходили учиться кулинарному искусству. В такие дни они не посещали даже уроков. К их приходу в кухне уже все было разложено на столе: кусок мяса, готовое тесто, картофель в чашке, несколько корешков зелени, перец, сахар. Одна из воспитанниц должна была рубить мясо для котлет, другая толочь сахар, третья – перец, следующая мыть и чистить картофель, раскатывать тесто и разрезать его для пирожков, мыть и крошить зелень. Все это делалось воспитанницами с величайшим наслаждением. Кухня служила для нас большим развлечением; к тому же она избавляла от скучных уроков и на несколько часов от полицейского надзора классных дам. Но такие кулинарные упражнения не могли, конечно, научить стряпне и были скорее

карикатурою на нее. Воспитанницы так и не видели, как приготовляют тесто, не знали, какая часть говядины лежит перед ними, не могли познакомиться и с тем, как жарят котлеты, для которых они рубили мясо. Кухарка смотрела на это как на дозволенное барышням баловство и сама ставила кушанье на плиту, опасаясь, чтобы они не обожгли себе рук или не испортили котлет; сама она возилась и около супа. Барышням она поручала толочь сахар, перец и все, что нужно было рубить и толочь, что те и производили в такт плясовой, а это заставляло смеяться и кухарку и воспитанниц. Их веселому настроению содействовало и то, что обед, приготовленный «их руками», они имели право съесть сами, а он был несравненно вкуснее, питательнее и обильнее обычного[140].

Обучение рукоделию хотя и не носило столь комичного характера, как обучение кулинарному искусству, но тоже не достигало никакой цели и роковым образом отражалось на успехах в науках весьма многих воспитанниц. В институте было немало девочек, которые уже при вступлении в него умели порядочно шить и знали несколько женских работ. На первом же уроке учительница рукоделия осведомлялась, кто к чему приучен был дома: необученным шить она давала обметывать швы, мотать мотки или выдергивать нитки из полотна, чтобы с их помощью разрезать его, учила их сшивать полотнища, но далее этого обучение не шло. Тех же воспитанниц, которые заявляли учительнице о том, что они любят вышивать ковры или шить гладью, немедленно присаживали за эти работы.

В институте всегда приходилось заготовлять большое число вышивок и прошивок для украшения всевозможных юбок, полотенец, накидок. Ковры шли как на подарки, так и на украшение церкви. Редко выпадал месяц в году, когда не требовалось окончить какого-нибудь сюрприза: то наступал день именин начальницы или кого-нибудь из высокопоставленных лиц, то годовые праздники[141], в которые также подносились подарки. Вследствие этого учительница страшно обременяла работою воспитанниц, имевших неосторожность выказать любовь к рукодельям. Уроки рукоделья происходили раз в неделю, по полтора часа, – этого времени было крайне недостаточно, чтобы покончить со всеми работами. Воспитанницам, хорошо исполнявшим шитье гладью, раздавали на руки полосы различной материи, чтобы по вечерам, когда они должны были готовить уроки к следующему дню, они занимались вышиваньем. Ковры же вышивали в пяльцах, и учительница рукоделия просила классных дам отпускать воспитанниц вечером к ней в мастерскую. Нередко оказывалось, что и вечеров не хватало на

окончание какого-нибудь подарка. Тогда учительница обращалась с просьбой к инспектрисе отпускать к ней воспитанниц даже во время урока. Если сюрприз предназначался высокопоставленному лицу, инспектриса находила невозможным отказать в такой просьбе, и несколько воспитанниц вследствие этого не посещали уроков неделями, а то и месяцами.

Превосходно исполненные ковры, на которых изображены были цветы, ландшафты, сцены из рыцарской и пастушеской жизни, приводили в такой восторг не посвященных в это искусство воспитанниц, что многие из них умоляли учительницу выучить их этой работе. Но та обыкновенно отвечала:

– Если вы испортите материал, я должна буду откупить его на свой счет!.. И когда мне возиться с вами! Вы жалуетесь, что я заваливаю работою ваших подруг… А посмотрите, когда я сама ложусь спать! Мне то и дело приходится по ночам оканчивать работу, которая будет поднесена в подарок от вашего имени…

Во время публичного выпускного экзамена в особых комнатах института устраивалась выставка работ учениц. Тут можно было видеть превосходно вышитые ковры, вышивки по батисту и цветной материи гладью, белой и разноцветной бумагой и шерстями, искусно исполненные цветы, а также белье, сшитое ручною строчкою. На стенах висели картины, написанные масляными красками и акварелью: здесь красовалась головка гречанки, там – девочка с козой, цветы. Хотя все эти картины с художественной точки зрения были ниже всякой критики и оказывались плохими копиями, но и они исполнены были с помощью учителя рисования, который не только исправлял рисунок, но и рисовал в нем все более трудное; однако и на это способны были лишь очень немногие воспитанницы, а громадное большинство так и выходило из института не умея срисовать с рисунка даже простого стула, не говоря уже о рисовании с натуры: наглядный метод совершенно отсутствовал в обучении дореформенного времени. Что же касается рукоделия, то громадное большинство кончало курс, выучившись одному или двум швам.

Знанию французского языка придавали громадное значение. На девочку, умевшую болтать на этом языке при своем вступлении в институт, смотрели с большим благоволением. Ей прощали многое такое, чего не прощали другим; находили ее умною и способною даже тогда, когда этого вовсе не было. На изучение этого языка во всех классах отводили наибольшее количество часов: в белом (старшем) классе изучали французскую литературу, писали письма и сочинения на этом языке. Классные дамы и все начальство говорило с нами по-французски. Между

собою воспитанницы тоже обязаны были говорить на этом языке. Какое громадное значение уже издавна приписывали в институте французскому языку, и до какого комизма доходила наивная вера в его могущество, видно из воспоминаний воспитанницы Патриотического института. Когда 14 декабря 1825 года раздалась пальба из орудий, начальница Патриотического института обратилась к воспитанницам с такою речью: «Это господь бог наказывает вас, девицы, за ваши грехи. Самый главный и тяжкий грех ваш тот, что вы редко говорите по-французски и, точно кухарки, болтаете по-русски». «В страшном перепуге, – говорит автор воспоминаний, – мы вполне познавали весь ужас нашего грехопадения и на коленях перед иконами, с горькими слезами раскаяния, тогда же поклялись начальнице вовсе не употреблять в разговоре русского языка. Наши заклятия были как бы услышаны: пальба внезапно стихла, мы успокоились, и долго после того в спальнях и залах Патриотического института не слышалось русского языка» («14 декабря 1825 года в Патриотическом институте» С. А. Пелли, «Русская старина» 1870 года, август). Я же описываю несравненно более поздний период времени, уже накануне реформ в Смольном. Но и в это время, как и прежде, институтки были просты до наивности и вследствие своего невежества очень суеверны, но в мое время нас никто, а тем более начальство не могло запугать гневом божьим уже по одному тому, что даже религиозные девочки утрачивали в институте свою простодушную веру. Что же касается французского языка, то хотя изучению его у нас и придавали громадное значение, но так как в нас не выработали серьезного отношения к какому бы то ни было знанию, не научили уменью заниматься, не привили нам должной усидчивости и интереса к какому бы то ни было предмету, мы все обучение обращали в пустую формальность. Если до слуха классной дамы доходила русская речь воспитанницы, она кричала ей: «Как ты смеешь говорить по-русски?». Та отвечала: «Но я сказала: comment dit-on en francais?» (как это сказать по-французски? – *франц.*) Классная дама удовлетворялась этим ответом, а та продолжала болтать по-русски. Разговоры с классными дамами и с более высшими начальственными лицами ограничивались каким-нибудь десятком-двумя официальных фраз (в это число входили всевозможные поздравления), которые заучивались воспитанницами в первый же год их вступления в институт. Вследствие этого институтки не могли поддерживать серьезного разговора на французском языке, не могли они и читать на этом языке серьезные книги, – впрочем, и по-русски они не могли ни вести серьезного разговора, ни читать серьезных книг, и русская

речь воспитанниц не отличалась ни богатством слов, ни разнообразием выражений. Можно себе представить, какие успехи делали воспитанницы в других предметах, если изучение французского языка было столь неудовлетворительно.

Наше время было так распределено, что если бы преподавание в институте и было поставлено более правильно, у нас не хватало бы времени для серьезных занятий. Уроки в старших классах заканчивались в 5 часов, когда шли к обеду. После него до вечернего чая можно было готовить уроки, но один вечер в неделю уходил на танцы, один, а то и два вечера – на церковную службу перед праздничными днями, один – у некоторых на упражнение в пении, у других – на рукоделие; таким образом, оставалось в неделю всего два-три свободных вечера. В кофейном классе большая часть времени тратилась на переписку: переписывали басни и рассказы, писали неправильные французские глаголы, – для всего этого существовали особые тетради. Если в одной из них оказывалось несколько чернильных пятен или несколько строк криво написанных, классные дамы заставляли девочку переписать всю тетрадь. В старших классах не обращали внимания на чистоту тетрадей, но девицы также убивали много времени на переписку: большая часть учителей задавала им уроки не по учебникам, а по собственным запискам, – вот эти-то записки и приходилось переписывать. Из сказанного ясно, что на учение уроков у нас оставалось крайне мало времени, тем более что в эти свободные вечера приходилось не только переписывать записки учителей, но и делать сочинения на русском и французском языках.

Смольный институт. Катание с горки. Фото 1889 г.

Как мало знаний выносили мы из преподавания, какими поразительными невеждами оканчивали курс, будет видно из следующего очерка; к сказанному же прибавлю только, что большая часть наших учителей сами были людьми невежественными и никуда не годными педагогами. Даже по внешности, кроме француза, они представляли, точно на подбор, отовсюду набранных, отживших стариков, навсегда сданных в архив в эту, так сказать, учительскую богадельню Смольного. Случалось, – впрочем, крайне редко, – что вследствие болезни или смерти тот или другой из престарелых педагогов выбывал из строя, и его место замещал еще не совсем старый человек, но после нескольких уроков такие учителя обыкновенно исчезали с нашего горизонта по неизвестной для нас причине. Один из них был удален после пяти или шести уроков только за то, что сказал:

– Девицы, вы передаете все в зубрежку и плохо рассказываете оттого, что ничего не читаете, – просите начальство снабдить вас книгами для чтения.

Поступив в институт в раннем детстве и во время всего своего пребывания в нем удаленная от природы и людей, институтка не имела ни малейшего представления о жизни. За высокие стены ее заколдованного замка не долетало ни одного человеческого стона, ни малейшего сведения не доходило до нее о каком-нибудь общественном движении, и вообще решительно ничего не знала она о положении своей родины, о ее несчастиях и

надеждах. Окончив курс в дореформенном институте, институтка вступала в жизнь с самыми дикими воззрениями, с самыми наивными предрассудками, с нелепыми требованиями от людей, с пошлыми и сентиментальными мечтами. Ее манили к себе роскошь, балы, выезды, туалеты, танцы, ухаживания блестящих кавалеров. Одним словом, она мечтала о том, о чем мечтали тогда все так называемые «кисейные барышни». Нужно, однако, заметить, что и русское общество того времени предъявляло девушке лишь эстетические требования. Наклонную к серьезному чтению и разговору называли «синим чулком» и жестоко высмеивали. Что же мудреного в том, что в институте, этом все более дряхлеющем и отживающем свой век учреждении, не следившем за новыми течениями в лучшей части современного общества, продолжали воспитывать в дворянском духе, развивая пристрастие к аристократическим нравам. Девушка того времени при домашнем воспитании, как бы оно плохо ни было, испытав в семье материальную нужду и житейские невзгоды, все же могла скорее и легче понять все ничтожество, всю призрачность и эфемерность эстетических иллюзий, все неудобство применения их к практической жизни. Институтка же, наоборот, все время своего умственного и нравственного роста проводила в заточении, как сказочная царевна. Все, что требовалось для жизни: стол, платье, постель, комната, – было к ее услугам; она оказывалась устраненною от каких бы то ни было забот. Откуда бралось все существенное для жизни, она не знала; не слыхала, чтобы и другие интересовались этими вопросами. Она не могла даже догадываться о том, какою тяжкою борьбою добывают люди свой насущный хлеб, совсем не была приготовлена к трудовой жизни.

Вот почему после окончания институтского курса большая часть ее понятий были нелепы, ее страх безрассуден, отношение к обыденной жизни и ее явлениям подчас просто комично. Она идет по улице, а с противоположной стороны навстречу ей приближается мастеровой под хмельком, – она с ужасом бросается в сторону; поползет по руке червяк, сядет насекомое – она с визгом несется куда глаза глядят. Многие из воспитанниц после выпуска были убеждены в том, что если кавалер приглашает во время бала на мазурку, это означает предварительное сватовство, за которым последует формальное предложение. Одна институтка, прождав напрасно в продолжение нескольких дней своего кавалера в бальной мазурке, была так скандализирована этим, что бросилась к своему брату-офицеру, умоляя его выйти на дуэль и стреляться с человеком, по ее мнению, опозорившим ее. Если родители институтки не

соглашались выдать ее замуж за человека, сделавшего ей предложение, если он был даже известный негодяй, она воображала, что получивший отказ должен непременно застрелиться, – и на этой почве происходило немало комичных и трагичных инцидентов.

Институтка прежнего времени, покинув стены ее «alma mater» (матери-кормилицы *(лат.),* то есть Смольного института), была конфузлива до дикости; самый простой вопрос ставил ее в тупик. Она не умела разобраться даже в том, смеются над нею или обращаются к ней серьезно, не знала, как отнестись к людям, заговорившим с нею, и бывало немало случаев, когда она срывалась с места и выбегала из комнаты только потому, что кто-то подходил к ней «очень страшный». От этого сплошного обмана всех чувств, от этой ребячьей наивности некоторые институтки не избавлялись до конца своих дней. Если от природы девушка была умна, если институтское воспитание не успело вытравить в ней всех ее душевных способностей, она энергично начинала перевоспитывать себя. Но прежде чем житейские обстоятельства переделывали ее настолько, что она становилась хотя несколько пригодною к жизни, ей приходилось сделать много ошибок, принести много вреда и себе и другим. Если она выходила замуж за бедного человека и делалась матерью, она не умела ни ухаживать за детьми, ни найтись в затруднительном положении: для нее было немыслимо при ничтожных средствах устроить мало-мальски сносный обед, смастерить что-нибудь для ребенка из незатейливого материала, – она совершенно лишена была предприимчивости и находчивости в практической жизни.

Институтская жизнь дореформенного периода проходила в притупляющем однообразии монастырского заключения без горя и радостей, без нежных ласк и сердечного участия, без житейской борьбы и волнений, без надежд и разумных стремлений. Все, точно нарочно, было приноровлено к тому, чтобы воспитать не человека, не мать, не хозяйку, а манекен и, во всяком случае, слабое, беспомощное, бесполезное, беззащитное существо. Иначе и быть не могло: в институте девушка лишена была всего, что дает возможность выработать собственное суждение, наблюдательность, энергию, волю, характер, самостоятельное чувство. Несмотря на то, что в институте все было точно размерено и определено, все делалось по звонку и воспитанницы ни на одну минуту не оставались без надзора классных дам, – они, в сущности, росли без всякого призора. Хотя классные дамы вечно наблюдали, чтобы воспитанницы разговаривали как можно меньше и тише, те научились болтать перед их носом, не шевеля губами, делать вещи, строго запрещенные. Не имея возможности

ни с кем из старших побеседовать по-человечески, посоветоваться, хотя изредка слышать человеческие разговоры и споры, воспитанницы предоставлены были только самим себе. Но что могли позаимствовать друг у друга девушки, воспитанные при одинаково ненормальных условиях? Они прекрасно знали несложную психологию друг друга, понятия и даже слова, в которых они выражали свое суждение по поводу того или другого явления институтской жизни; все они употребляли в своих разговорах одни и те же выражения, когда их что-нибудь поражало, выкрикивали одни и те же восклицания. Их воззрения, понятия, мысли и способности развивались по одному шаблону, их поступки нередко вредны были для их здоровья и нравственности. Они ели всякую дрянь: куски грифеля, графит, угольки, мел, стягивались корсетом в рюмочку, а некоторые даже спали в корсетах, чтобы приобрести интересную бледность и тонкую талию, – никто их не останавливал, никто не объяснял им, какой вред они себе причиняют.

Грубость классных дам делала и институток грубыми существами: так же, как и их наставницы, они имели собственный лексикон бранных слов. Они то и дело ссорились между собой, и бранные слова сыпались, как горох из мешка. Громадному большинству была недоступна деликатность, бережное отношение к чувствам ближнего: соберутся вместе и пересчитывают красивых и безобразных подруг и тут же в лицо кричат им: «Ты первая по красоте в нашем классе! Ты первая по уродству! Ты вторая по идиотству!».

Начальство делало выставку решительно из всего, – все должно было иметь показную сторону. Перед приемом высоких посетителей на видные места помещали красивых воспитанниц. Они же должны были в первых рядах танцевать перед ними на балах. Выпускные, публичные экзамены были пустою формальностью, – каждая знала, что ей придется отвечать; сочинение писали заранее, учитель поправлял его, и оно зазубривалось слово в слово, – выученные наизусть сочинения задавали писать на публичных экзаменах. В конце концов жизнь для выставки, жизнь напоказ так въедалась в нравы воспитанниц, что они учились только для хорошей отметки, поступали хорошо только тогда, когда надеялись получить похвалу. Красивого наряда для выпуска требовали даже те, матери которых в отчаянии ломали руки, не зная, как справиться, чтобы устроить дочери мало-мальски сносный туалет для ее выхода, который сразу требовал огромных издержек.

О выпуске мечтали все, как те, которым предстояло блистать на балах, так и те, которых ожидала трудовая дорога, но о ней

никто не думал. И это естественно: чем ближе подвигалось время к выпуску, тем более утрачивали воспитанницы какое бы то ни было представление о действительной жизни. Многие из них имели род подвижного календаря: мелко написав на длинную ленту числа всех месяцев своего пребывания в институте, они отрезали истекшее число и торжественно провозглашали, сколько дней осталось до выпуска. Воспитанницы дореформенного института представляли себе жизнь не иначе, как усеянную розами. В институтских стенах им приходилось постоянно сдерживать себя, помнить кодекс правил, вечно слышать брань озлобленных старых дев, испытывать голод, холод, тяжесть раннего вставания, – и они мечтали, что в будущем их ждет золотая свобода, что они будут вставать поздно, делать что захотят, что окружающие будут относиться к ним с искреннею любовью. Что же удивительного в том, что весьма многим мечтательницам скоро пришлось сказать себе: «Жизнь, ты обманула меня!».

Дневники и стихотворения институток обнаруживали в авторах отсутствие серьезного содержания, мысли, творчества, фантазии, даже естественных сердечных чувств. К институтке прививали все искусственное: учителя французского языка восторгались, когда их ученицы декламировали стихи Корнеля и Расина замогильным голосом, с искусственным пафосом. Это создавало фальшивую атмосферу, прививало любовь к фразе. Не только в Смольном, но и во всех закрытых заведениях дореформенного периода истинные чувства девушек заглушались высокопарными фразами. Они были в моде, в ходу, сильно поощрялись и высшим и низшим начальством, что еще более искажало природу воспитанниц. Вот что говорит А. В. Стерлигова в своих воспоминаниях о петербургском Екатерининском институте: «Одна из институток, узнав о смерти двух своих братьев, убитых на войне, составлявших притом единственную поддержку семьи, зарыдала, а все-таки сквозь слезы проговорила: «Слава богу, что они умерли за царя и отечество». Об этих словах было доведено до сведения императрицы, пожелавшей увидеть воспитанницу. Государыня сделала ей подарок, а отцу ее была назначена пенсия в 1000 рублей, которая после его смерти перешла к дочери» («Русский архив» 1898 года, № 4, «Воспоминания А. В. Стерлиговой о петербургском Екатерининском институте 1850–1856 годов»).

Я перечитала несколько институтских дневников и чаще всего встречала в них описание того, как автор дневника встретил «свое божество» или как был наказан классной дамой; иногда встречалось восторженное описание посещения института

императрицею, бросившей свой носовой платок на память воспитанницам, которые немедленно разорвали его на мелкие лоскутки, зашивали их, как ладанки, и носили на шее.

То же самое находим и в поэтическом творчестве институток, выражавшемся преимущественно в писании стихов в альбомы подругам. При отсутствии мысли, наблюдательности и творчества они отличались еще крайне неуклюжею рифмою, набором фраз и страшных слов, сопоставлением самых противоречивых понятий (например, «в моей крови горячей – жар холодный», «счастливое страданье»), а чаще всего наклонностью к сентиментальности, таинственному и загробному.

Порвав нравственную и родственную связь детей с родителями, сделав их чуждыми и далекими друг другу, дореформенный институт делил старое и молодое поколение на два враждебных лагеря. И в этом лежит одна из причин, почему у нас всегда «отцы и дети» так враждовали между собой. У институток отнимали все, что красит жизнь, все, что оживляет чувство, заставляет радостно трепетать юное сердце от чистого счастья и восторга. Сердца молодых девушек, столь податливых на откровенность, засушивались, черствели и рано научались ненавидеть.

Муштровка и дисциплина приводили воспитанниц к одному знаменателю, стирали индивидуальность, делали институток похожими друг на друга не только манерами, но, за небольшими исключениями, даже характерами и вкусами, вырабатывали из них созданий, «к добру и злу постыдно равнодушных», лишенных воли, энергии и прежде всего какой бы то ни было инициативы. Начальство сознательно стремилось обезличивать их, – с такими ему легче было справляться, чем с «отчаянными». Их было сравнительно очень немного, этих «отчаянных»: ломая характер, ожесточая более, чем остальных, все же не могли стереть с них некоторой индивидуальности. «Отчаянных» классные дамы не переносили, но не выказывали ни малейшей симпатии и к остальным. «Дрянь на дряни и дрянью погоняет» – вот поговорка, которую мы всегда слышали, когда подымался шум в классе. Из всех воспитанниц они выделяли только «парфеток» (от французского слова «parfait» – совершенный). Несмотря на всю грубость и испорченность «отчаянных», между ними попадались благородные, иногда даже рыцарские натуры, а парфетками являлись самые тупые в нравственном и умственном отношении. Эти до мозга костей испорченные девушки, с премудростью старых дев, целовали руки и плечи классным дамам, пожирали глазами начальство, стремглав бросались по его поручениям, и большинство их шпионило за подругами и доносило на них

классным дамам.

Выше было сказано, что процент смертности в институте был сравнительно невелик, но и вполне здоровых среди воспитанниц было чрезвычайно мало. В 1859 году инспектор по медицинской части петербургских учреждений императрицы Марии[142], лейб-медик Маркус представил свой отчет государыне, в котором говорит, что весьма многие воспитанницы страдают «оскудением крови». Причину этого явления он видел в том, что институтки мало двигались на воздухе и плохо питались. Он заметил также немало случаев искривления позвоночного столба, что происходило, по его мнению, от продолжительного сидения в согнутом положении при вышивании по канве и переписывании тетрадей.

Но почему же матери так стремились отдавать в институт своих дочерей? Неужели он так-таки ничего хорошего не вырабатывал в своих питомицах? В русском обществе придавали тогда огромное значение хорошим манерам. И действительно, институтки отличались ими. Но не начальство содействовало этому, а подруги. Многие девочки при своем вступлении были крайне неуклюжими: одна ходила, переваливаясь с ноги на ногу, другая размахивала руками при ходьбе, закатывала глаза при разговоре, гримасничала. Когда воспитанница обращалась с вопросом к подруге, та отвечала ей, копируя в карикатуре ее манеры, причем весь класс покатывался со смеху. Иногда выстраивался целый отряд воспитанниц, дефилировавших перед злополучной девочкой, неимоверно топая ногами, выпячивая живот, – одним словом, представляя в комичном виде ее недостатки. Несчастная девочка сердилась, бранилась, плакала, но постепенно отвыкала от усвоенных дурных привычек и скоро уже сама высмеивала других. Таким образом, воспитанницы самостоятельно вырабатывали в себе отвращение к дурным манерам, но, конечно, все это касалось внешней, одной только внешней, стороны.

Однако институт приносил и более существенную пользу. Эпоха крепостничества перед освобождением крестьян была временем, когда страсти, разнузданные продолжительным произволом, у весьма многих помещиков выражались отчаянным развратом, когда в помещичьих домах содержались целые гаремы крепостных девок, когда пиры сопровождались невообразимым разгулом, пьянством, драками, грубою бранью, когда из конюшен раздавались отчаянные крики засекаемых крестьян. Разлучая дочерей с подобными родителями, институт спасал их от нравственной гибели. Так было в дореформенное время.

Наконец и в институт, окаменевший в своей неподвижности,

ворвался солнечный луч: в качестве инспектора классов к нам явился К. Д. Ушинский, этот величайший русский педагог-реформатор, а вместе с ним хлынула и волна новых идей, которые стали подтачивать допотопные институтские устои, даже изменять институтские нравы и обычаи.

Смольный во время реформ

Назначение Ушинского инспектором классов. – Его отношение к бывшим учителям. – Его преобразования и вступительная лекция

В самом начале 1859 года разнеслась молва, что инспектором классов в Смольном, на Николаевской и Александровской половинах, назначен Константин Дмитриевич Ушинский. Если бы кто-нибудь сказал нам тогда, что этому человеку суждено не только пошатнуть устои двух огромных институтов, незыблемо покоившиеся на основах безнравственной нравственности, ханжеской морали и рутинных схоластических приемов преподавания, и в корне изменить взгляды и мечты институток, мы, воспитанницы, ни за что не поверили бы этому. Перед появлением у нас Ушинского нам никто ничего не рассказывал о нем, а мы сами мало интересовались инспекторами вообще. Инспектор должен был наблюдать за преподаванием наших учителей, замещать их новыми, если кто-нибудь из них выбывал из строя, но это случалось лишь вследствие смерти или продолжительной болезни кого-либо из них, да и такие права его были скорее фиктивными. Наша всесильная начальница Леонтьева давно забрала в обоих институтах всю власть в свои руки и всегда действовала по своему личному усмотрению: ни один учитель не мог проникнуть к нам или оставаться у нас, если он ей не нравился. Не имея ни малейшего представления о просвещенном абсолютизме, Леонтьева управляла двумя институтами как монарх, не ограниченный никакими законами, по образцу восточных деспотов. Все отношения инспектора к воспитанницам состояли в том, что он от времени до времени посещал урок того или другого учителя и присутствовал на экзаменах.

Когда однажды у нас только что кончился какой-то урок и мы уже направились было к двери, чтобы выйти из класса, в него вбежал, буквально вбежал, среднего роста худощавый брюнет, который, не обращая внимания на наши реверансы и нервно комкая свою шляпу в руках, вдруг начал выкрикивать: «Ведь вы же здесь специально изучаете нравственность, а не знаете того, что портить чужую вещь духами или другою дрянью неделикатно!.. Не каждый выносит эти пошлости! Наконец, почем вы знаете… может быть, я настолько беден, что не имею возможности купить другую шляпу… Да куда вам думать о бедности! Не правда ли… ведь это fi donc (Фи *(франц.),* совсем

унизительно. – *Прим. ред.*)…». И с этими словами он выбежал из класса.

Мы были так ошеломлены, что стояли неподвижно. И было отчего: хотя классные дамы ежедневно осыпали нас бранью, упреками и намеками на что-то гнусное с нашей стороны, но от мужского персонала, от наших учителей и инспектора, мы никогда не слыхали грубого слова. Для этого не было ни малейшего повода. Наши учителя редко вызывали плохих учениц, а хорошие твердо учили свои уроки. Если воспитанница не знала урока, ей ставили плохую отметку, и этим ограничивались все неприятности между учителями и нами. Учителя и инспектор обращались со всеми весьма вежливо. Что же касается вступления нового инспектора в институт (это случалось крайне редко), то он обыкновенно торжественно входил в класс в сопровождении инспектрисы. При этом она произносила по-французски: «Monsieur, – рекомендую: воспитанницы такого-то класса», а обращаясь к нам, – «Mesdemoiselles: ваш новый инспектор». Мы чинно приподнимались со скамеек, кланялись и выслушивали несколько фраз нового инспектора, правда стереотипных, но в чрезвычайно вежливой форме, в которых высказывалась уверенность, что мы своими успехами заставим его всегда вспоминать о проведенном с нами времени как о самом приятном для него. Затем начинался урок, во время которого учитель вызывал самых лучших воспитанниц, а инспектор старался ободрить конфузившихся и в конце концов высказывал, как он удивлен нашими успехами и хорошею подготовкою. «А это что за инспектор? Не успел появиться, и уже осмеливается орать на нас, взрослых девушек, как на базарных мужиков! Наконец, даже не мы это сделали! Вероятно, кто-нибудь из другого отделения… А если бы и мы? Неужели такое преступление облить шляпу духами? Мы всегда так делали, и порядочные мужчины были только польщены этим! Какой-то невоспитанный, некомильфотный!.. И как приличны с нами эти разговоры о бедности!..» – рассуждали мы. Но долго останавливаться над этим вопросом не пришлось: раздался колокол, призывавший нас на урок немецкого языка.

Главный фасад здания Смольного института

За солидным немцем, отрастившим себе порядочное брюшко и неторопливо приближавшимся к скамейкам, нервною и стремительною походкою вошел в класс Ушинский. Он поклонился, попросил воспитанниц, сидевших на последней скамейке, подойти к его столу и приказал одной из них открыть книгу, но не на том месте, где был заданный урок, а на несколько страниц вперед, и переводить. «Мы этого еще не учили…» – получил он в ответ. Но Ушинский заявил, что он желает знать, как воспитанницы переводят a livre ouvert (С листа *(фр.)*. – *Прим. ред.*). Из страницы, прочитанной каждою, одна могла перевести два-три слова, другая несколько больше, а третья решительно ничего не знала. Когда же он предложил передать по-русски своими словами только что прочитанное, ни одна из нас ничего не могла ответить, никто не понимал даже, о чем идет речь.

На вопрос, сделанный учителю, сколько у нас в неделю уроков немецкого языка и сколько лет мы учимся, он отвечал, что уже шестой год и что мы имеем по два урока в неделю. На это инспектор заметил:

– Вычитая каникулы и бесконечное число праздников, воспитанницы учатся, во всяком случае, не менее месяцев семи, следовательно в году имеют по крайней мере пятьдесят шесть уроков… Ведь если бы они выучивали в каждый урок только несколько слов и на эти слова делали упражнения и переводы, то подумайте сами, какой громадный запас слов они приобрели бы в двести восемьдесят ваших уроков! Между тем воспитанницы не понимают даже смысла прочитанного, хотя текст оригинала простой и легкий.

Учитель оправдывался тем, что вызваны были плохие

ученицы, но еще более подчеркивал то, что в институте все внимание обращено на французский язык, что воспитанниц заставляют разговаривать по-немецки очень редко, да и то для проформы, и указывал на то, что сами они терпеть не могут немецкого языка.

Ушинский возражал, что для того, чтобы заставить воспитанниц полюбить немецкий язык, он, учитель, должен был отчасти читать, а отчасти сообщать им содержание лучших произведений Шиллера и Гете.

– О господин инспектор! – насмешливо-добродушно отвечал немец. – Уверяю вас… хотя они и в старшем классе, но ничего, решительно ничего не поймут в сочинениях этих писателей и не заинтересуются ими.

На это Ушинский заметил, что только идиота может не заинтересовать гениальное произведение.

Так как учитель в свое оправдание указывал на то, что инспектором были вызваны плохие ученицы, Ушинский предложил ему вызвать самых лучших и начал внимательно вслушиваться в их чтение. Когда одна из них начала бойко переводить, Ушинский заметил ей, что хотя она прекрасно понимает прочитанное, но по-русски выражается неправильно, и указывал ей, как нужно переводить то или другое немецкое выражение.

Когда мы поближе познакомились с Ушинским, мы заметили, что он так уходил в дело, – все равно, читал ли он лекцию или слушал наши ответы, – что не видел и не слышал, что происходило вокруг. Но когда что-нибудь внезапно нарушало тишину, он вздрагивал, резко делал замечание нарушителю ее, не обращая ни малейшего внимания, к кому оно относилось – к воспитаннице, учителю или к классной даме. Так было и в этом случае. Дежурная дама, m-lle Тюфяева, внезапно с шумом отодвинула свой стул, встала с своего места, подошла к скамейке и начала что-то вырывать из рук одной воспитанницы. Как только она скрипнула стулом, Ушинский быстро поднял голову и стал пристально всматриваться в нее, точно не понимая в первую минуту, что его отвлекло от дела. Но когда у нее завязалась борьба с ученицей, он привстал с своего места и резко закричал: «Перестаньте же, наконец, шуметь! Кто вас просит сидеть в классе? Учитель сам обязан поддерживать порядок!». И сейчас же уселся как ни в чем не бывало, продолжая занятия. Тюфяева побледнела, но промолчала, может быть, от неожиданности. С институтской точки зрения замечание Ушинского, как по форме, так и по существу, могло считаться возмутительною дерзостью. Наши инспектора и учителя разговаривали с классными дамами

не иначе, как с величайшим почтением. Если же приходилось о чем-нибудь их попросить или сделать самое ничтожное замечание (то и другое случалось крайне редко), то они обращались к ним, наклонив голову и с приятною галантностью: «Mademoiselle N, простите великодушно, если я решаюсь вас беспокоить…» и т. п. А новый инспектор только что показался, и уже смеет кричать на нее, заслуженную классную даму, как на последнюю горничную! Между тем Ушинский, сделав ей такое неподходящее, по институтскому этикету, замечание, моментально забыл о ее существовании.

– Вы, кажется, немка? – спросил он у воспитанницы, которая только что переводила с немецкого на русский. Получив утвердительный ответ, он узнал и от двух других воспитанниц, прекрасно ответивших на все его вопросы, что они хотя и русские, но дома говорили больше на немецком, чем на родном языке.

– А, вот что! Значит, эти первые ученицы знанием языка обязаны семейству, а не учебному заведению! – сказал Ушинский, обращаясь к учителю, поклонился и повернулся, чтобы уходить, но Тюфяева загородила ему дорогу.

– Позвольте вам заметить, милостивый государь, что мы дежурим в классе по воле нашего начальства… что мы… что я… я высоко чту мое начальство…

– Если вы уже обязаны здесь сидеть неизвестно зачем, то, по крайней мере, должны сидеть тихо, не скрипеть стулом, не шмыгать между скамейками, не вырывать бумаги у воспитанниц, не отвлекать их внимания от урока… Понимаете? – резко перебил ее Ушинский.

– Я, милостивый государь, служу здесь тридцать шесть лет… мне, милостивый государь, седьмой десяток… да-с, седьмой десяток… я не привыкла к такому обращению… Это все, все будет доложено кому следует.

– Если вы дежурите с такой определенной целью, то и исполняйте ваши священные обязанности!.. – С последними словами он вышел из класса.

Тюфяева возвратилась на свое место, но была так взволнована, что не брала даже чулка в руки, который она обыкновенно вязала; горько покачивая головой, она вдруг расплакалась и направилась к выходу. Воспитанницы в первый раз остались в классе с глазу на глаз с учителем. Все молчали. Наш немец что-то крепко призадумался, но это был один момент: он вдруг встрепенулся и, по заведенному порядку, начал вызывать учениц одну за другой. Ратманова, пользуясь отсутствием классной дамы, встала с своего места и, прикрывая рот и нос платком (указывая этим, что у нее кровь идет носом),

смело вышла из класса, но не в ту дверь, в которую ей надлежало выйти для этого. Мы поняли, что она отправилась «на разведки». Нам тоже не сиделось: мы чувствовали сильнейшую потребность обсуждать происшедшее, а между тем приходилось ждать до звонка, мало того, необходимо было запастись терпением и на весь обед, так как в это время не очень-то удобно было болтать. Немец не обращал ни на что внимания, и мы то и дело оборачивались по сторонам: одна показывала другой на свою голову и вертела над нею рукою, выражая этим, что у нее бог знает что там творится, другая била себя в грудь и закатывала глаза, – это означало, что у нее разрывается сердце от муки из-за того, что приходится так долго молчать.

В столовую мы спустились без классной дамы. Когда мы шли по парам, Ратманова незаметно присоединилась к нам и сидела за обедом, загадочно улыбаясь. Подруги то и дело подталкивали ее соседок, умоляя их выспросить ее о том, что она успела узнать. «Удалось ли что-нибудь?» – спрашивали ее. Гордо подняв голову, она отвечала, что неудачи преследуют только трусих и идиоток.

Наступил конец и нашим страданиям. Когда мы возвратились в класс, Тюфяева, на наше счастье, ушла в свою комнату заливать горе кофеем. Сбившись в кучу, воспитанницы кричали, перебивая друг друга:

– Это какой-то ужасающий злец!

– Просто невежа!

– Не конфузится сознаться, что у него денег нет даже на покупку шляпы!

– Неправда, и опять неправда! – смело выскочила на его защиту воспитанница Ивановская. – Ушинский… это, прежде всего, человек неземной красоты!

– Не ты ли облила его шляпу духами?

– Я не могла этого не сделать!.. Спускаюсь утром на нижний коридор и вдруг вижу – входит… Меня точно стрела пронзила! Я так была поражена его красотой!.. Дала ему пройти и сейчас же бросилась к вешалкам, облила его шляпу духами, вылила духи в карманы его пальто, – одним словом, весь флакончик опорожнила, благо он был под рукой.

Воспитанницы, однако, не одобрили поступка Ивановской. Хотя почти каждая из них делала то же самое, но в данном случае они ссылались на то, что стоило только взглянуть на Ушинского, и каждая должна была бы понять, что он не оценит такого внимания. Хотя это суждение высказывалось post factum (После совершившегося *(лат.)*. – *Прим. ред.*), но с ним все согласились, судили, рядили, и все-таки никто из нас не мог сообразить, почему Ушинский так обозлился только за то, что его одежду

облили духами. Нашим учителям это обыкновенно очень нравилось: при встрече после этого они улыбались нам лишний раз. Особенно возмутило нас в Ушинском, как величайшая неблаговоспитанность с его стороны, что он осмелился кричать на нас, взрослых девиц, а также и то, как он разговаривал с m-lle Тюфяевой. Конечно, мы все были до невероятности счастливы, что он ее так «отбрил» и «унизил», но многие находили, что хотя она и классная дама, следовательно, гнусное существо, но все же она дама вообще, а каждый образованный мужчина должен относиться к даме по-рыцарски, с утонченною любезностью и почтением.

– Он не только невоспитанный человек, но и форсун!

– Он не форсун, а хвастун!

– Верно, верно! Постарался блеснуть перед нами даже знанием таблицы умножения! Он воображает, что мы без него не сумеем помножить число недельных уроков на семь месяцев!

– А ведь ты бы не сумела! – вдруг зацепила одна другую. Но на них моментально зашикали за то, что они своими глупостями мешают говорить о серьезных вещах.

– Он, наверно, прогонит нашего немца! – кричали некоторые.

– Ого, руки-то коротки! Не сегодня-завтра Леонтьева его самого вытурит отсюда!

– Много вы понимаете! Он сам может вышвырнуть целую дюжину таких начальниц, как наша. Ушинский – это такая силища!.. Такая!.. Это просто что-то невероятное!.. – говорила Ратманова.

– Какая там силища! Наглый человек, вот и все тут! – возражали некоторые.

– Разве вы можете оценить смелость, дерзость, силу, с которыми человек говорит правду в глаза? Классные дамы вам втемяшили в голову, что это дурно, вы презираете их, а сами повторяете за ними!.. Жалкие вы созданья, даже просто, можно сказать, стадо баранов! – вдруг отрезала Ратманова.

Страшная буря негодования поднялась против нее и, вероятно, окончилась бы тем, что многие жестоко перебранились бы между собой и, уже наверно, большая часть воспитанниц перестала бы разговаривать с нею на неделю-другую, но на этот раз все охвачены были новым, не испытанным еще настроением: хотелось обсуждать происшедшее, узнать как можно более новостей об инспекторе. Сознавая, что Ратманова обладает хорошею памятью и, будучи весьма толковой и неглупой, умеет точно передавать слышанное, воспитанницы упрашивали друг друга прекратить перебранку и умоляли свою оскорбительницу рассказать все, что она узнала. В другое время Ратманова не

упустила бы случая «поломаться», но в эту минуту ее охватило сильное желание говорить, ее всегдашнее стремление «пофигурять» (так мы определяли ее желание первенствовать) взяло наконец верх над остальными ее соображениями, и она передала следующее.

По выходе из класса она, прежде чем завернуть за угол коридора, заметила прогуливающихся и разговаривающих между собою инспектрису и Ушинского. За углом ей все было слышно, но первой части разговора она не застала. Она пришла, когда Ушинский рассказывал m-me Сент-Илер о своем столкновении с Тюфяевой, но, не зная ее фамилии, он так характеризовал ее: «Знаете, такая дряблая старушонка… хвастала тем, что высоко чтит начальство, что тридцать шесть лет служит здесь, что живет очень долго… Я хотел было сообщить ей, что слоны живут еще дольше, что продолжительность жизни ценится только тогда, когда она полезна ближним, да не стоило терять времени с этой скудоумной головой! Но так как она грозила донести своему начальству, то я и предупреждаю вас об этом».

Инспектриса, по мягкости своего характера, просила его о снисхождении к классным дамам, указывая на то, что некоторые из них действительно не блестят своим образованием, но где же взять образованных?

Ушинский указывал, что если бы при приеме классных дам руководились правилом приглашать умственно развитых, а не особ, умеющих только «кадить всякой пошлости», то при старании, конечно, можно было бы найти подходящих…

– «Кадить всякой пошлости»! «Кадить всякой пошлости»! Какое чудесное выражение! – подхватывали мы, ошеломленные столь новой для нас фразой.

– А что еще он сказал! – продолжала Ратманова. – «Нужно, – говорит, – создать иные условия для приема воспитанниц и скорее выбросить весь теперешний старый хлам…»

– Какой он умный! – всплеснули мы руками в восторженном изумлении.

– Не мешайте же слушать! – взывали другие, боясь проронить хотя слово Ратмановой, которая продолжала передавать его разговор с инспектрисой.

– Выбросить старый хлам служащих, и сделать это как можно скорее необходимо уже потому, – говорил Ушинский, – что теперешние классные дамы притупляют умственные способности воспитанниц и озлобляют их сердца.

– Притупляют умственные способности и озлобляют сердца! – повторяли мы, как молитву, за Ратмановой. Вообще в Ушинском нас на первых порах поражали не только его ум и находчивость,

но, кажется, более всего слова и выражения, так как, кроме официальных, обыденных слов, мы до тех пор ни от кого ничего подобного не слыхали.

– Инспектриса отвечала ему, что она, хотя и с большим трудом, может еще представить себе, что при приемах классных дам будут более, чем теперь, обращать внимание на их умственное развитие, но никогда, она за это ручается, ни одна начальница института не согласится на то, чтобы оставлять воспитанниц в классе с глазу на глаз с учителем. Это немыслимо уже потому, что идет вразрез со всем характером институтского воспитания, и такой обычай, по ее мнению, имеет основание: учитель во время урока занят своим делом, а классная дама обязана наблюдать, чтобы воспитанницы не занимались посторонним.

«– О, когда начнут занятия новые учителя, они сумеют настолько заинтересовать воспитанниц, что те сами не будут заниматься ничем посторонним…

– Вы, кажется, твердо верите в то, что вам удастся создать идеальный институт?

– На идеальный не рассчитываю, но если бы я не верил в то, что мне удастся оздоровить это стоячее болото…»

– Ах ты боже мой!.. Душка, Маша, неужели он так-таки и сказал: стоячее болото? Вот-то дерзкий! Ведь этими словами он унизил наш институт! Maman должна была его оборвать тотчас же. Ну, говори, говори, что же на это инспектриса?

– Ни гугу! Да разве он только это говорил! Он вот еще что загнул: «Я, говорит, до сих пор думал только о том, как бы получше поставить преподавание, но те немногие дни, которые я провел здесь, показали, что мне придется вмешиваться и в некоторые стороны воспитания… Если не будут уничтожены многие безнравственные обычаи, развращающие воспитанниц, они будут мешать их правильному развитию.

– Что же безнравственного вы нашли в наших обычаях?

– Но разве не безнравственно заставлять учениц снимать пелеринки перед приходом учителя? Ведь в послеобеденное время я сам видел, что они сидят в пелеринках, значит, тут дело идет не о том, чтобы приучать к холодной температуре…

На это maman весело расхохоталась.

– Помилуйте, вы хотите не только перереформировать наш институт, но перереформировать всю жизнь женщины вообще, изменить даже все людские отношения! В таком случае вам придется восставать и против балов, на которые девушки являются декольтированными.

Ушинский не уступал и тоже весело смеялся.

– Ну, в бальные порядки я вмешиваться не собираюсь… Но согласитесь сами: ведь с обнаженными плечами на балы являются для того, чтобы ловить женихов. А класс для институтки должен быть храмом науки! И вдруг здесь с раннего возраста приучают девушек оголять себя!.. Всеми силами буду добиваться уничтожения этого неприличного обычая».

– Но тут колокол прервал их беседу, и madame Сент-Илер от всего сердца пожелала ему перестроить институт на идеальных началах, хотя сильно сомневалась в удаче; он тоже задушевно пожелал ей всего лучшего. Характер их беседы не носил ничего официального: они называли друг друга по имени и отчеству, разговаривали просто и дружески.

Колокол призывал и нас к чаю, хотя души наши рвались обсуждать без конца небывалые новости. До сих пор никто, ничто и никогда не волновало нас так, как это первое появление у нас Ушинского. Так же оживленно болтали мы и после чаю, когда пришли в дортуар, чтобы ложиться спать. Мы быстро разделись и, закутавшись в одеяла, разместились на нескольких кроватях. И на этот раз каждая спешила высказать свое мнение. Мы совсем не были подготовлены ни к самостоятельному мышлению, ни к критическому анализу. Мысли наши были какие-то коротенькие и несложные, высказывались отрывочно и непоследовательно. Наши чувства и выражения были не только стадными, но часто извращенными, язык наш страдал однообразием и бедностью выражения, запас слов был крайне невелик. Но как бы то ни было, наша мысль зашевелилась впервые, нас охватил какой-то вихрь вопросов, глаза у всех блестели, щеки пылали, сердца трепетали. Мы сидели и рассуждали далеко за полночь, бросаясь к кроватям при каждом шуме из комнаты классной дамы.

– Он просто отчаянный какой-то! – было мнением большинства. Однако, несмотря на отзывы, не совсем благоприятные для Ушинского, мы сразу, инстинктивно, почуяли в его личности что-то сильное, крупное и оригинальное. Эпитет отчаянного, который ему давали, польстил «отчаянным»: то одна, то другая обращала внимание подруг на то, что отчаянность уже вовсе не такой порок, как у нас принято думать. Вот он – отчаянный, а между тем очень умный и, кажется, даже хороший: сейчас раскусил, что Тюфяева дрянь, а немец плохой учитель. Но не все соглашались с этим определением: умные и хорошие люди, утверждали они, непременно в то же время люди благовоспитанные, а его насмешки над нами и разговор с Тюфяевой показывают его невоспитанность. Другие в число его преступлений заносили и то, что он осмелился назвать наш институт «стоячим болотом», а «всем известно, что это

первоклассное заведение». Более всего трепались в институте выражения: «все говорят» и «всем известно», – они казались многим сильнейшим подтверждением сказанного.

– А что в нем хорошего, в этом вашем институте? – с лицом, пылающим гневом, выскочила Ратманова. – Пусть говорит каждая все хорошее, что знает о нем!.. Разве то, что мы в нем ничему не научились, что мы холодали и голодали, как жалкие собаки, что нас всячески поносили классные дамы, что нашими воспитательницами были даже сумасшедшие, что мы ни в ком не находили защиты, что мы ни от кого не слыхали доброго слова? Ах, молчите, молчите вы, несчастные, с вашим первоклассным заведением, или, лучше сказать, с вашей первоклассною чушью и тупостью! – И действительно, все замолчали, сознавая справедливость ее слов.

– А все-таки он странный! Как это он не понимает, что ничего нет дурного в декольтировании? Это только красиво! Ведь если бы это было пошло и неприлично, то во дворцах и в аристократических домах на балах не являлись бы с голыми плечами? – Этот довод показался настолько веским и убедительным, что все присоединились к нему. Но тут же некоторые старались оправдать непонимание Ушинским таких простых вещей тем, что он, вероятно, очень ученый, сильно заучился, а потому и ничего не смыслит в жизни, особенно же в красоте.

– Небось очень понял, что maman красива, а Тюфяева урод: он потому-то так и накричал на нее, а с красивою maman у него и дружеские разговоры.

– Не то, не то… – возражали ей. – Тюфяева идиотка, а maman умна и умеет всех очаровать. Да он скоро и ее раскусит!.. Что-то будет завтра? Ах, если бы он подольше у нас остался! – восклицали воспитанницы, но тут же единогласно высказывали твердое убеждение, что ему у нас несдобровать.

Группа преподавателей Смольного института вместе с инспектором классов К. Д. Ушинским (в первом ряду крайний справа). Фотография, 1862 г.

Через несколько дней после описанных событий Ушинский посетил урок русского языка учителя Соболевского, который преподавал во всех младших классах. Это был человек сухой как скелет, длинный как жердь, с низким лбом, с провалившимися щеками, с косыми глазами, с коротко подстриженными волосами, торчащими на голове, как у ежа. Самое неприятное в этом преподавателе было то, что он при своем чтении и объяснении брызгал слюною во все стороны, отчего сильно страдали воспитанницы, близко к нему стоящие. Его урок делился на две части: первую половину времени он спрашивал заданную страницу из грамматики, требуя, чтобы ее отвечали слово в слово, ничего не пополняя, не изменяя и не сокращая в ней. Диктантом он никогда не занимался, как будто не имел даже представления, что это следует делать, и дети разучились бы писать, если бы он не задавал списывать и выучивать басню за басней Крылова.

Самая характерная часть урока наступала тогда, когда Соболевский[143] приказывал отвечать басню. Он всегда был недоволен ответом и каждой вызванной им девочке показывал,

как следует декламировать. Начиналось настоящее представление. Зверей он изображал в лицах: лису, согнувшись в три погибели, до невероятности скашивая свои и без того косые глаза, слова произносил дискантом, а чтобы напомнить о ее хвосте, откидывал одну руку назад, помахивая ею сзади тетрадкой, свернутой в трубочку. Когда дело шло о слоне, он поднимался на носки, а длинный хобот должны были указывать три тетради, свернутые в трубочку и вложенные одна в другую. При этом, смотря по зверю, он то бегал и рычал, то, стоя на месте, передергивал плечами, оскаливал зубы.

Ушинский вошел на урок как раз в ту минуту, когда Соболевский декламировал басню «Слон и моська». Когда он произнес слова: «Ну на него метаться, и лаять, и визжать, и рваться», он старался все это драматизировать более, чем когда-нибудь. С изумлением смотрел на него Ушинский, не делая ни малейшего замечания, но, чтобы прекратить комедию, наконец сказал: «Я буду диктовать». Когда после этого он просмотрел несколько тетрадей, то заметил, что некоторые воспитанницы делают в словах больше ошибок, чем букв, кивнул головой и вышел.

Оба они встретились на нижнем коридоре, и Ушинский заметил:

– Вы, вероятно, слышали много похвал выразительному чтению, но у вас уже выходит целое представление… Так кривляться даже как-то унизительно для достоинства учителя.

Соболевский и тут не понял, что эти слова – его приговор, и отвечал, что он с трепетом будет ожидать окончательного решения г. инспектора. Ушинский резко отвернулся от него и начал искать свои калоши. Соболевский нашел их и уже нагнулся, чтобы подать их ему, но Ушинский со злостью вырвал их у него и произнес с запальчивостью:

– Лакей на кафедре – уже совсем неподходящее дело!.. Это мое окончательное решение!

– «Лакей на кафедре»! «Лакей на кафедре»! – повторяла одна воспитанница другой. – Господи, какие у него все чудные выражения! Знаешь, душка, я сейчас сошью маленькую тетрадку и буду записывать все его выражения…

Мы с большим нетерпением ждали посещения Ушинским урока нашего учителя литературы и словесности Старова, который считался у нас лучшим преподавателем. Мы тщательно готовили его уроки, а потому наперед праздновали победу.

Старов по натуре был человек порядочный, мягкий, добросердечный и обязательный. Он пользовался всеобщим расположением. В то время как мы считали минуты, когда

окончится урок того или другого учителя, мы заслушивались Старова и каждый раз с нетерпением ожидали его урока. Мы проходили у него теорию прозы и поэзии, а также и литературу. Как у большинства других учителей, мы не имели и для его курса никакого учебника. Руководством для этого предмета нам служили листки, составляемые Старовым, которые мы из любви к учителю заучивали очень твердо и переписывали особенно изящно. Нужно сознаться, теория прозы и поэзии Старова была образцом самых нелепых определений, громких, напыщенных фраз, отрывочных сведений, не приведенных в систему. Но мы тогда не понимали этого и более других предметов любили учить уроки Старова, так как они были испещрены словами: «высокое», «прекрасное», «эстетическое», «идеал», и отрывками из произведений в стихах и в прозе, которые Старов, по нашему мнению, читал нам в совершенстве. Читал он несколько гробовым голосом, сопровождая чтение классическими жестами, но нам это чрезвычайно нравилось. В стихотворениях нас увлекала музыка и мелодичность стиха, в прозе – возвышенные выражения, и хотя до смысла мы не додумывались и наш учитель не объяснял нам его, но все же это нас увлекало более, чем сухое заучивание грамматики. Фрагменты из теории прозы и поэзии Старова нам очень мало давали и потому, что они были слишком отрывочны и служили пояснением мало для нас понятного определения какого-нибудь рода поэзии или прозы. Так же проходили мы у него и историю литературы. В его записках в хронологическом порядке были названы все произведения автора, с несколькими страницами объяснений при наиболее крупных из них. Сами мы никогда не читали ни одного произведения знаменитого русского писателя, а преподаватель знакомил нас с ним лишь в отрывках. Таким образом, мы не имели ни малейшего понятия ни о фабуле произведения, ни об идее, которая осуществлялась в том или другом художественном образе. Несмотря, однако, на все это, Старов был самым лучшим и даже единственным искренно любимым учителем. В то время когда остальные учителя держали себя с нами хотя и вежливо, но официально, он один неизменно относился к нам с самым теплым участием. К тому же он так возвеличивал, так идеализировал женщин вообще, а это, конечно, не могло не льстить нам.

– Женщина, – слышали мы чуть не на каждой его лекции, – самое возвышенное, самое идеальное существо! Ей одной предназначено обновить мир, внести идеалы, уничтожить вражду, поселить любовь, внушить уважение… Только женщина может примирить человека с жизнью! Только красота женщины, ее грация и прелесть, кротость и неземная доброта могут разогнать

душевную тоску, тяжесть одиночества.

Мы, конечно, не имели ни малейшего представления, каким образом мы можем разгонять тоску одиночества, как мы будем обновлять мир и зачем его обновлять, ни малейшего понятия не имели мы и об идеалах, какие нам предназначено внести в мир, но все же из этих слов нам было ясно, что назначение женщины очень прекрасное, и мы весьма гордились этим.

Добрая натура Старова не выносила официальных отношений – встречая на коридоре толпу всегда поджидавших его девиц, он не только радушно со всеми раскланивался, но, замечая облачко на чьем-либо лице, нежно произносил: «Что затуманилась, зоренька ясная?»3 или что-нибудь в этом роде, всегда с экстазом декламируя множество стихов и вне классов, и во время уроков.

– Ах, monsieur Старов, – говорит ему одна воспитанница, – я сегодня буду наказана. – И она откровенно рассказывает ему, за что ей придется вынести наказание, и кем оно назначено. Старов, как стрела, бросается к классной даме и, хватая ее за руки, со слезами на глазах, начинает ее умолять простить воспитанницу.

– Вы добрая, прекрасная, хорошая. Может ли в вашем сердце, в сердце такого благороднейшего существа как женщина, жить злое чувство!.. Нет, это невозможно! Карать… казнить… и кого же?.. Такое юное, такое невинное существо!.. Возможно ли казнить юность за ее увлечения? Прощать, прощать – вот назначение женщины! Клянусь вам, прощающая женщина – это… это… ангел в небе! Нет, я не уйду отсюда! Я вымолю у вас прощение! Я стану перед вами на колени!

Опасаясь, что Старов приведет это в исполнение, и польщенная прекрасными эпитетами, которые ей едва ли когда-нибудь приходилось слышать от мужчины, классная дама обыкновенно торопилась исполнить его желание. «Ах вы чудак! Добряк вы этакий! Ну, хорошо, хорошо, для вас я прощаю», – и она немедленно подзывала провинившуюся воспитанницу и громогласно объявляла, что прощает ее для г. Старова… Все садились за урок в самом добром, мирном настроении.

Начальство смотрело на Старова как на очень вежливого человека, прекрасного учителя, прощало ему его экстаз и эксцентричные выходки и нисколько не мешало нам, воспитанницам, окружать его толпою на коридоре, так как отлично знало, что характер его разговоров и вне классов, и на уроках неизменно один и тот же. И действительно, Старое везде был одним и тем же незлобивым, восторженным человеком, легко приходившим в экстаз, по-видимому, часто даже без малейшего для этого повода. Вследствие своей ограниченности он как учитель не мог принести нам особенной пользы, но зато не

сделал никому не только ни малейшего вреда, но и какой бы то ни было неприятности. Восторженность его положительно была беспредельна: когда знаменитый артист Олдридж давал в Петербурге свои представления, и публика во время антракта вызывала его, Старов пробрался на театральные подмостки, бросился перед ним на колени и поцеловал его руку.

Итак, мы считали Старова не только симпатичнейшим из людей, но и замечательным преподавателем, и не находили ни малейшего пятнышка в его преподавании. Когда в первый раз после назначения Ушинского мы поджидали Старова на урок, мы вышли встретить его целой толпой. При его появлении мы тотчас начали рассказывать ему все «выходки» нового инспектора.

– Несомненно, – говорил Старов грустно и задумчиво, – такое лакейство со стороны Соболевского некрасиво… Но зачем же такая резкость тона, за что оскорблять! Он человек семейный, бедняк, неразвитой, конечно, но совсем не злой…

Когда мы сообщили ему, как Ушинский отнесся к нам за то, что мы облили его шляпу духами, он глубоко возмутился:

– Господи! И к такой, можно сказать, поэтической черте характера юных созданий приурочивать этот… грубый материализм! – И затем, несколько помолчав, он добавил уже совсем печально: – Что же, девицы, может быть, и мне придется расстаться с вами!

– Ну, уж этому не бывать! – закричали мы в один голос. – Если он вас не сумеет оценить… он, значит, уж совсем невежда! Мы все тогда восстанем! Мы ни за что этого не допустим!

Старов обводил толпу институток восторженными глазами, которые без слов говорили – «прелестные создания», затем, раскачиваясь из стороны в сторону, как это всегда с ним бывало перед какой-нибудь наиболее восторженной импровизацией, он начал:

– Вы не знаете, что творится в мире! О, как прелестны вы вашим неведением! Не теряйте его, этого лучшего сокровища юного сердца!

Но мы перебили его, желая во что бы то ни стало с его помощью хотя несколько уяснить себе загадочный характер нового инспектора.

– Monsieur Старов, скажите нам, пожалуйста, ваше мнение об Ушинском… Вы сказали… грубый материализм… Что это означает? – приставали мы к нему.

– Полноте, зачем вам это?.. Я, наконец, совсем не знаю господина Ушинского. Слышал, конечно… Как бы это вам объяснить… Видите ли… В большом ходу теперь новые идеи… Конечно… многие из них заслуживают полнейшего уважения…

Мне говорили, что Ушинский… в высшей степени образованный человек… Он, говорят, поклонник новых идей! Что ж!.. Нам, старикам, по правде сказать, и давно пора очищать место для новых людей, для новых идей!

Звонок прекратил наши расспросы, заставив нас опрометью бежать в класс. Мы не успели еще рассесться по скамейкам, как к нам вошла инспектриса, а за нею Ушинский. Он, к нашему удивлению, приветливо раскланялся со Старовым.

– Вам угодно будет экзаменовать девиц? – обратился Старов к Ушинскому.

– Нет! Я буду вас просить продолжать ваши занятия.

Старов начал вызывать воспитанниц и спрашивать заданный урок о Пушкине. Вызванная воспитанница прекрасно отвечала.

– Очень твердо заучено… – заметил Ушинский. – Но вместо «фразистых слов учебника» (О ужас! Эти, как он называл, «фразистые слова учебника» были записки самого Старова!) расскажите мне содержание «Евгения Онегина»!

Старов начал объясняться за воспитанницу. В классе не существует библиотеки. Свой единственный экземпляр он, Старов, не может нам оставлять, так как об одном и том же писателе в один и тот же день читает нередко в двух-трех заведениях.

– В таком случае я совсем не понимаю преподавания литературы! Вы обращались по этому поводу с запросом к администрации заведения?

– Дело здесь испокон века так ведется… Забота о библиотеке – не мое дело…

– Девицы, кто из вас читал «Мертвые души»? Потрудитесь встать…

Никто не двигался с места.

– Это невозможно! Вы, сударыня, читали? А вы? Но, может быть, что-нибудь другое читали из Гоголя? «Тараса Бульбу» знаете? Неужели и произведений Пушкина никто не читал? А Лермонтова, Грибоедова? Но это невозможно! Я просто этому не верю! Как, ни одна воспитанница, проходя курс русской литературы, не поинтересовалась прочесть ни одного наиболее капитального произведения!.. Да ведь это, знаете, что-то уже совсем баснословное! – Ушинский не получал ниоткуда никакого ответа и, все более горячась, обращался то к воспитанницам, то к учителю. – Но чем же набит ваш шкаф? – И с этими словами он подбежал к шкафу, который был наполнен тетрадями, грифельными досками и другими классными принадлежностями; две-три полки были уставлены произведениями Анны Зонтаг[144], Евангелием и несколькими дюжинами разнообразных учебников.

Пожимая плечами, нервно перелистывая учебники, Ушинский, точно пораженный, несколько минут молча простоял у шкафа, затем быстро захлопнул его, подошел к столу и сел на свое место. – Что ж, потрудитесь продолжать занятия, – сказал он как-то вяло, обращаясь к Старову и вытирая платком пот, струившийся по его бледному лбу.

– Какие тут занятия! – обиженно процедил сквозь зубы Старов, однако вынул из портфеля один из томов Пушкина и начал читать стихотворение «Чернь» (Под этим названием печаталось тогда стихотворение А.С. Пушкина «Поэт и толпа». – *Прим. ред.*), с каждой строчкой приходя все в больший экстаз. Последнее четверостишие:

Не для житейского волненья.
Не для корысти, не для битв, –
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв… –

он читал, уже вскочив с места, с воспаленными глазами, голосом, прерывавшимся от волнения и выражавшим все ядовитое презрение, какое только могло накопиться в этой доброй душе ко всем поборникам материализма, не умеющим ни понимать, ни ценить небесных вожделений и поэтических восторгов.

– Но ведь воспитанницы незнакомы еще и с более капитальными произведениями Пушкина… – заметил Ушинский. – Впрочем, продолжайте… Вы, вероятно, будете теперь им это объяснять?

– Что же тут объяснять! Они отлично все понимают… У этих девушек весьма сильно развито художественное чутье…

– Ого, даже художественное чутье!.. А чем бы, кажется, оно могло быть развито при таких условиях, – сказал Ушинский, не скрывая иронии, и, вызвав одну из воспитанниц, он попросил ее передать стихотворение своими словами. Но ни эта девица, ни другая, ни третья ничего не могли рассказать, хотя все слушали с напряженным вниманием.

Тогда в дело вмешалась инспектриса. Она заявила Ушинскому, что Старов замечательный преподаватель, что воспитанницы чрезвычайно любят его предмет и много над ним работают, но в данную минуту они очень переконфузились и потому не могут отвечать.

– Может быть, может быть, – недоверчиво улыбаясь, отвечал Ушинский. – Попробуем объясниться письменно! Пусть одна из воспитанниц вслух раза два прочтет стихотворение, и затем,

девицы, потрудитесь своими словами письменно изложить прочитанное. – И он вышел в коридор.

Наша письменная работа оказалась в высшей степени бестолковою: у одних она представляла шумиху напыщенных фраз, не имеющих между собою элементарной логической и грамматической связи, у других черни приписывалось то, что говорил поэт, и наоборот, и при этом у тех и у других немало было крупных орфографических ошибок. К счастью для нас, звонок помешал Ушинскому читать вслух наши сочинения, и он взял их с собой.

Мы скоро пришли к убеждению, что новый инспектор не уволит нашего общего любимца Старова только в том случае, если мы выступим на его защиту. Мы предполагали, что, когда ученицы очень хвалят своего учителя, каждый обязан понимать, что при этом уже нельзя усомниться в его педагогических талантах. И мы решили защищать его до последней капли крови.

Нельзя сказать, чтобы мы не сознавали всей трудности задачи говорить с Ушинским, перед которым робеют и теряются даже учителя. Но нам казалось, что уклониться от этой обязанности было бы величайшею низостью.

Как плохо, однако, мы были вооружены для этого! Если между нами и были поэтессы, то ораторов, даже плохоньких, совсем не существовало. Мы наивно выражали наши детские мысли, не умели выделить главного от мелочей и при этом страшно конфузились всех, а тем более Ушинского. Но для любимого Старова никакая жертва не была тяжела. Мы условились между собою, что одна из нас во всем блеске выставит необыкновенную доброту Старова, другая укажет на его таланты, видимо, совсем неизвестные «господину инспектору».

Мы бросились к нему, как только он показался в коридоре.

– Monsieur Ушинский! – кричали мы, окружая его.

– Ах, пожалуйста, не называйте вы меня monsieur! Чересчур официально! Константин Дмитриевич, да и все тут!..

Это неожиданное предложение так переконфузило нас, что мы забыли даже, о чем собирались с ним беседовать.

– Что же вы хотели сказать? Ради бога, не конфузьтесь! Останавливайте, спрашивайте меня обо всем, что вам угодно… И не очень сердитесь за мою резкость, за мой, может быть, не совсем вежливый тон… Работы у меня гибель, я всегда так тороплюсь: вот для скорости иногда и отхвачу приставочку к речи, которою можно было бы закруглить, смягчить то, что хочешь сказать… Ну, в чем же дело?

Мы толкали ту, которая должна была начинать, но она могла только проговорить:

– Вы недовольны Старовым! Ведь он же не виноват, что нам не дают книг! Вы его совсем не знаете!.. Он такой добрый!.. Просто даже чудный человек!

– Правда, правда: незлобивый, даже весьма недурной человек, но, к сожалению, этого еще очень мало для преподавателя…

– Вы, должно быть, не знаете, что он поэт! Даже очень знаменитый поэт! – лепетала Ивановская, обязанностью которой было выставить его таланты.

– Не знал… не знал, что такой поэт существует! Да еще знаменитый! Гм… подите же!.. Какие же такие его произведения? Он уже, конечно, познакомил вас с ними и, может быть, даже не в отрывках только?

Урок игры на арфе. Выпускной альбом института 1889 года

Ивановская пролепетала, что у него есть чудное стихотворение «Молитва». Ушинский в конце концов уломал ее продекламировать его, и она начала дрожащим голосом:

Как много песен погребальных
Еще ребенком я узнал,
И скорбный смысл их слов прощальных
Я часто юношей внимал.
Но никогда от дум печальных
Старов душой не унывал!

Создатель мира, царь всесильный.
Мне много, много подарил,
Когда веселостью обильной
Он трепет жизни домогильной
Во мне…

– Довольно… довольно! Это бог знает что такое! Ведь Старов уже много лет читает литературу в разных заведениях и мог бы понять, что в его стихотворении нет ни поэзии, ни мысли, ни чувства, ни образа. А он не стыдится показывать эту свою замогильную чепуху своим ученицам! Нет, воля ваша, это просто фразер и пустозвон!.. Не горюйте вы по нем… У меня в виду имеется для вас превосходный преподаватель. И если в учителе вы ищете доброты… по-моему, и одного ума достаточно… так ваш будущий учитель в то же время и очень добрый человек…

– Чем же он лучше Старова? – спрашивали мы, удивляясь, что с Ушинским можно разговаривать.

– Да хотя бы тем, что он научит вас работать, заставит полюбить чтение, познакомит не только с названиями великих произведений, но с их содержанием и с идеями автора.

– А как его фамилия?

– Водовозов[145].

– Ну, уж одна фамилия чего стоит! – выпалила, расхохотавшись, одна из нас, неожиданно даже для себя самой.

– Вы ошибаетесь, – запальчиво возразил Ушинский, решительно не переносивший не только ни малейшей пошлости, но и глупой остроты. – Он будет пригоден и для того, чтобы научить вас понимать, что достойно смеха и что не заслуживает его.

Переконфуженные резким замечанием Ушинского и обозленные провалом, воспитанницы ввалились в класс, ругая на чем свет своих ораторш, не умевших защитить Старова, и перекоряясь между собой. Хотя при этом сильно доставалось и Ушинскому, которого мы честили эпитетом «непроходимой злюки» за то, что он выгоняет даже добрых учителей, но когда несколько успокоились, то некоторые начали высказывать, что незачем-де было цитировать стихи Старова, которые действительно уже вовсе не так прекрасны, забывая о том, что еще недавно они так восторгались ими, что каждая переписывала их в свой альбомчик и знала наизусть. Это критическое отношение пошло и дальше: говорили, что хотя Старов и чудный человек и превосходно читает, но как-то от всех его лекций в голове ничего не остается. На это Ратманова закричала во все

горло:

– Если бы сюда собрать всех мировых гениев прошлых, настоящих и будущих веков, все они вместе ни на йоту не просветили бы ваши дурацкие головы!

Поднялась страшная буря, – все набросились на Ратманову. На это как сумасшедшая вбежала m-lle Лопарева:

– Как вы смеете так орать? Хотя вы и выпускные, но в наказание будете стоять весь следующий урок.

Она перед этим с кем-то разговаривала в коридоре, куда сейчас же и выбежала.

– Не смейте подчиняться этому! Преспокойно садитесь, когда войдет учитель… – кричали некоторые.

И действительно, когда в класс вошла Лопарева, а за нею учитель, мы, несмотря на наказание, преспокойно уселись на свои места. Это был первый протест, устроенный сообща всем классом без исключения. Лопарева густо покраснела от злости, но не решилась пикнуть, вероятно, поняв по выражению наших лиц, что на этот раз мы скорее сделаем скандал, чем подчинимся требованию.

Хотя Ушинский некоторым учителям отказал при первом же посещении уроков, но большая часть их оставалась у нас до официального утверждения его учебной реформы.

Воспитанница старшего класса Аня Ивановская отправила однажды письмо к своему отцу через классную даму Тюфяеву, в котором она просила его прислать ей денег. Ответ получился через ту же даму, у которой была родственница, несколько знакомая с г. Ивановским; она приносила о нем разные сплетни m-lle Тюфяевой. Ивановский на этот раз отказывался исполнить просьбу дочери за неимением денег. Тюфяева, прочитав письмо и передавая его Ивановской при ее подругах, начала попрекать ее тем, что она научилась «нос задирать», а между тем у отца ее ничего нет; если же что и перепадает ему, то он предпочитает тратить деньги на театры, чем посылать их дочери. Из этого примера Тюфяева сделала общий вывод и начала обычную свою канитель на тему, что-де от них, классных дам, теперь требуют бог знает чего, даже каких-то нежностей с воспитанницами, которые для них совершенно чужие, а вот и отец родной, а нежностей к дочери и особых забот о ней не проявляет.

Зная необыкновенную вспыльчивость Ивановской, воспитанницы незаметно, но ловко выталкивали ее локтями в задние ряды, и она наконец выбежала в коридор. В эту минуту проходил Ушинский и с большим участием обратился к ней, упрашивая ее оказать ему маленькое доверие, сказать, почему она так грустна. Она объяснила ему, что воспитанницы обязаны

переписываться с родителями не иначе, как через классных дам. Такое правило существует, и тут уже ничего не поделаешь, но она злится на себя за то, что не постаралась, как другие ее подруги, переслать свое письмо через их родственников. К тому же ее оскорбляет то, что m-lle Тюфяева воспользовалась письмом ее отца для того, чтобы попрекать ее теми сплетнями, которые она собирает о нем у своей родственницы, с умыслом искажает его слова, чтобы унижать ее и часами говорить свои опостылевшие проповеди.

Ушинский горячо поблагодарил Ивановскую за доверие и сказал, что оно поможет ему обратить внимание на эту сторону жизни институток, что он поговорит об этом с кем следует и будет стараться уничтожить этот обычай. И действительно, мы узнали, что Ушинский со всей энергией, присущей его страстному темпераменту, говорил с принцем Ольденбургским, а также и на разных совещаниях о том, что обычай контролировать письма воспитанниц подрывает основы семейных уз и приучает их хитрить, лгать и обманывать. Развивая в воспитанницах рабские чувства, он не дает начальству возможности достигать единственной цели, к которой оно при этом стремится, то есть мешать воспитанницам передавать родителям что бы то ни было непочтительное о начальстве. Когда им необходимо снестись с родственниками так, чтобы этого никто не знал, они умеют обходить это правило. Воспитанница, раздраженная тем, что не может по душе говорить с своими родителями, в своем секретном письме отделает начальство так, как это ей не пришло бы в голову, если бы ей не мешали быть откровенной с ними всегда, когда она того пожелает.

Однако Ушинскому, несмотря на красноречивые доказательства вреда этого обычая, не удалось его уничтожить, но он сильно ослабил его: в либеральную эпоху его инспекторства некоторые классные дамы начали передавать воспитанницам письма, не распечатывая их, другие распечатывали лишь для проформы. Но, конечно, оставались и такие, которые не меняли своего поведения в этом отношении.

Зато Ушинскому удалось настоять на том, чтобы воспитанницы во время уроков не сидели без пелеринок; достиг он уничтожения и еще несравненно более вредного обычая. До его вступления воспитанницы не имели права предлагать вопросов учителям. Ушинский настоял на том, чтобы они спрашивали у них не только то, чего не понимают, но чтобы вообще урок носил характер живых бесед. Однако большинство нововведений, которых Ушинский достиг путем тяжелой борьбы с консервативным до дикости начальством, погрязшим в рутине и

предрассудках, были уничтожены тотчас же после того, когда он сложил с себя звание инспектора и оставил институт.

Прошло недели три со дня вступления Константина Дмитриевича в должность инспектора. Пока никаких реформ еще не было введено; несмотря на это, буквально каждая встреча с ним, каждое его слово, все, что мы слыхали о том, что он объяснял в других классах, было для нас откровением, поражало нас, давало нам огромный материал для споров и бесед между собой. Иной раз то или другое в его словах, казалось нам, противоречило тому, что он говорил перед этим. Но нередко все это вдруг выяснялось каким-нибудь одним его замечанием, а затем постепенно мы сами стали доходить до разгадки некоторых его слов и поступков. То, что мы не понимали самых элементарных вещей, было естественным последствием нашей оторванности от жизни, нашего монастырского воспитания.

С водворением Ушинского мы, как по мановению волшебного жезла, проснулись, ожили, заволновались и не могли наговориться друг с другом. Раздоры и пререкания между собой, даже отчаянные выходки против классных дам проявлялись теперь несравненно реже уже вследствие того, что мы были заняты другим. Еще так недавно наша жизнь протекала крайне однообразно, не давая нам никакого материала для живого общения между собой, и наши разговоры ограничивались рассказами друг другу о выходках классных дам и о наших мечтах подкузьмить так или иначе ту или другую из них. Теперь мы каждое слово и замечание Ушинского обсуждали со всех сторон и все более критически относились к прежним нашим взглядам. Мы постепенно примирились и с резкими выходками Ушинского, начиная мало-помалу сознавать, что они обыкновенно вызывались какою-нибудь глупостью с нашей стороны. Все искреннее и глубже проникались мы сознанием того, что Ушинский приносит нам действительную пользу, что он стремится сделать нашу жизнь более человеческою и содержательною, чем это было раньше. Наши дикие, специфически институтские взгляды незаметно сглаживались и заменялись воззрениями иного характера. Наш страх, что Ушинский будет уволен из института за то, что он с такою прямотою, смелостью и резкостью, не щадя мелкого самолюбия начальства, проводит свои взгляды и идеи, не только исчез, но заменился совершенно противоположным. Нам казалось уже, что такого человека, как Ушинский, никто не посмеет тронуть. Конечно, такое мнение говорило об отсутствии понимания жизни, но, как бы то ни было, наша вера во всемогущество Ушинского все росла и укреплялась слухами о нем. Мы узнали, что его

педагогическая и литературная деятельность, его блестящие успехи в Гатчинском институте, где он раньше был инспектором, обратили на него всеобщее внимание. Наши учителя, классные дамы, инспектриса открыто говорили о том (и это подтвердилось), что императрица Мария Александровна, желая поднять институтское образование, решилась ввести в нем многие реформы и сама указала министру народного просвещения Норову (члену совета института по учебной части) на Ушинского как на желательного для этого человека. И для нас стало очевидным, почему Леонтьева до сих пор не уволила его. Мы твердо начали верить, что при энергии Ушинского реформы будут проведены, и безапелляционно решили, что он будет в институте таким же реформатором, каким был Петр Великий в России.

Как-то, когда до выпуска оставалось всего несколько месяцев (тогда выпуски бывали в марте), ко мне подошел Ушинский и спросил:

– Не вы ли та воспитанница, которая вследствие падения с лестницы чуть не вдребезги разбила себе грудь и, испытывая жестокие боли, подвергая себя смертельной опасности, не пошла к доктору, опасаясь этим опозорить себя?

Я почувствовала в его вопросе иронию и молчала; подруги, стоявшие подле, подтвердили, что это была именно я. Вдруг этот строгий, суровый человек, тонкие, крепко сжатые губы которого так редко улыбались, разразился громким, веселым смехом, а мне это показалось каким-то оскорбительным издевательством, и я повернулась, чтобы уйти даже без реверанса, что считалось у нас невежеством.

– Что же вы сердитесь? Кажется, даже обиделись?

– Каждая на моем месте поступила бы так же…

– Ну нет! Если даже у всех вас такие «идеальные убеждения», то все-таки редко кто мог бы выдержать характер до конца. Право же, вы оказались настоящей героиней! Если у такой девочки как вы такой характер, столько силы воли, она может употребить их на что-нибудь более полезное. Одним словом, я хочу предложить вам вместо того, чтобы уехать домой после выпуска, остаться еще здесь и поучиться в новом, седьмом классе, который я устраиваю для выпускных. Уверяю вас… почитаете, подумаете, поработаете головой и даже на такой вопрос, который мы только что обсуждали, будете смотреть иначе.

Видя мои колебания, он добавил, что если я соглашусь, то должна буду спросить разрешения родителей, но что для этого еще много времени впереди.

Ушинский явился первым светлым лучом в царстве

институтского мрака, пошлости, невежества и застоя. Нужно, однако, иметь в виду и то, что во второй половине 50-х годов во всей России занималась заря новой жизни, являлись проблески наступающей эпохи возрождения. В обществе распространялись новые идеи, вырабатывались новые идеалы, пробуждалось отрицательное отношение к окружающим явлениям русской действительности. Оживление среди воспитанниц, наступившее вслед за назначением к нам Ушинского, усиливалось вследствие того, что прогрессивные идеи стали проникать и к нам, несмотря на наши высокие стены и на полную монастырскую замкнутость нашей жизни. После непробудной спячки у нас вдруг зашевелился мозг, и мы стали обращаться к нашим родственникам с более живыми вопросами; поэтому каждый раз после приема родных одна из воспитанниц сообщала что-нибудь новенькое. Нечего и говорить о том, что все эти новые идеи в передаче институток и по форме и по содержанию носили характер не то наивный, не то комичный.

– Представьте, мой брат-студент утверждает, что скоро все люди без исключения будут равны между собой. Ведь это же значит, что никакой разницы не будет между генералами и солдатами, между крестьянами и высокопоставленными людьми! Все должны будут решительно все делать сами, значит, даже люди знатные будут сами выносить грязную воду. Ведь если это верно, значит, все на свете перевернется!

– А мой папа говорил, что у всех помещиков скоро отберут крестьян, что мужицкие дети будут учиться на одной скамейке с господскими, а мы – с нашими горничными…

– Мой дядя настаивает, чтобы после выпуска я сделалась учительницею и учила самых простых детей, а взрослым внушала мысль о том, что теперь стыдно мучить крестьян, что это даже очень гадко…

– Мой папа (он служит в министерстве) говорит, что человек должен гордиться бедностью, – это значит, что он ничего не накрал, а что большая часть богачей богаты потому, что они наворовали на службе.

Все это мы обсуждали, обо всем вели бесконечные споры, судили-рядили вкось и вкривь, но хорошо было уже то, что у нас заработала, голова.

Нашему оживлению и развитию помогало и то, что наш библиотечный шкаф, в котором никогда не было ни одной книги для чтения, наполнился номерами журнала «Рассвет» Кремпина и другими книгами, пригодными для чтения юношества. Произведения русских классиков появились в нашей библиотеке несколько позже.

Внимательно осматривая в институте каждый уголок, Ушинский заметил одну всегда запертую комнату. Наконец она была открыта перед ним, эта таинственная дверь. Каково же было его удивление: он увидел огромную комнату, заставленную по стенам старинными шкафами с огромной коллекцией животного царства, с прекрасными для того времени коллекциями минералов, драгоценные физические инструменты, разнообразные гербарии.

Императрицы Мария Федоровна и Александра Федоровна, получив от кого-то эти сокровища, подарили их институту, где их никогда не употребляли в дело, где никто никогда не показывал их воспитанницам. Ввиду того что это были дары двух императриц, институтское начальство находило необходимым беречь их, то есть крепко-накрепко запереть в большой отдельной комнате, о существовании которой, вероятно, уже давным-давно никто не вспоминал, кроме сторожа, наблюдению которого они были поручены, но и тот, видимо, не очень затруднял себя заботами о них, так как немало дорогих вещей оказалось испорченными молью.

Впоследствии Константин Дмитриевич не раз вспоминал при мне об этой находке, особенно приятно поразившей его. Считая необходимым ввести преподавание физики и естествознания вообще, он прекрасно знал, какое встретит затруднение: начальство, косо смотревшее на введение чего бы то ни было нового, сделало бы все, чтобы затормозить преподавание этих предметов. Под предлогом того, что на покупку физических инструментов, различных коллекций и моделей пришлось бы затратить значительную сумму, начальство могло отложить введение преподавания естествознания в долгий ящик. К тому же в институте уже многие поговаривали о том, что производить физические опыты немыслимо в классе, а особого помещения для этого не имелось. И вдруг мечта Ушинского осуществляется так неожиданно! Сравнительно небольшую сумму, необходимую для ремонта испорченных вещей и на добавочные приобретения кое-чего, выдали без затруднения, – так поразил всех доклад Ушинского об его находке. «Начальство увидало в этом чуть не перст божий, споспешествовавший мне в моих предприятиях», – смеясь, рассказывал он об этом.

Для присмотра за кабинетом был приставлен особый сторож. Комната, еще недавно постоянно запертая, с большим удобством послужила для уроков физики: для опытов в ней все было под руками учителя.

Этот «музей» тоже внес в жизнь институток некоторое оживление. ««Все видели вечно запертую комнату, однако никто

не заинтересовался ею настолько, чтобы проникнуть в нее. Он один все смеет, все может, из всего извлекает пользу, обо всем думает», – рассуждали мы, проникаясь все большим благоговением к Ушинскому, и после находки музея начали смотреть на него, как на что-то вроде мага и волшебника.

Мы то и дело бегали осматривать «музей», но скоро это было строго запрещено. Вместе с Ушинским туда приходил посторонний человек, выносил оттуда порченые чучела животных и приносил их обратно в исправленном виде. Так как вход в кабинет был запрещен до приведения его в порядок, то мы еще сильнее стремились заглянуть в него. Однажды две воспитанницы нашего класса, увидав, что Ушинский только что вышел из «музея», вбежали в него. Никого не заметив и рассматривая животных, расставленных временно на полу, одна из них, указывая подруге на зверька, утверждала, что то был соболь, другая настаивала на том, что это – куница. Вдруг из-за угла шкафа вышел молодой человек и проговорил:

– Ни то, ни другое, mesdemoiselles, – это только ласка… Мне говорили, что институтки не умеют отличить корову от лошади? Правда?

– Какая дерзость! – закричала ему в упор одна из воспитанниц.

– Мы непременно пожалуемся на вас Ушинскому! – бросила ему другая.

– Ах, барышни, барышни! Вы даже не понимаете, что жаловаться стыдно!.. – со смехом возразил молодой человек, видимо нисколько не испуганный их угрозою.

Девицы как ошпаренные выскочили из «музея» и чуть не со слезами передавали подругам этот эпизод. Мы долго обсуждали сообща, как бы проучить «нахала». Нам казалось это необходимым, так как в этом случае была затронута наша корпоративная честь. Но мы пришли к убеждению, что это немыслимо. Ушинский обыкновенно уходил и приходил вместе с молодым человеком (оставлять постороннего у нас не допускалось), и на этот раз он вышел, вероятно, лишь на несколько минут; следовательно, всякая «история» с нашей стороны причинила бы большую неприятность Ушинскому, и он мог бы посмотреть на это с очень нелестной для нас стороны.

Это маленькое приключение имело большое влияние на мою личную судьбу. «Разве Ушинский не сдерживает порою улыбку, когда мы с ним разговариваем? Разве при наших рассуждениях с ним с его уст не срываются слова: «Как это странно, как это наивно!» А мой брат еще более бесцеремонно повторяет, когда я что-нибудь рассказываю ему об институтской жизни: «Как это

глупо, как это пошло!». Да… над нами все издеваются, все смотрят на нас как на последних дур! Учиться, учиться надо!» – вот какие мысли обуревали теперь мою голову, вот что ясно и определенно сложилось теперь в моем уме.

В первый раз за всю мою институтскую жизнь я написала матери неказенное письмо: в нем я описывала появление у нас нового инспектора, оживление и волнение, которое нас всех охватило, предстоящие у нас реформы, устройство нового класса, в котором будут преподавать новые учителя, извещала ее о том, что Ушинский предложил мне остаться в нем, и просила на это ее разрешения; об этом я писала и моему дядюшке.

Начались выпускные экзамены; подготовление к ним и в то же время чтение только что доставленных нам книг, новые мысли, взгляды и вопросы, перегонявшие и сменявшие друг друга, образовали в моей голове невообразимый хаос. Вследствие своей наивности и невежества я решила, что, наверное, существует такое руководство, которое может мне выяснить, чем и как было бы полезно заниматься, что мне следует читать раньше и что позже. Это заставило меня обратиться к одной подруге с просьбою, чтобы она попросила своего брата-студента снабдить меня таким руководством. Как она формулировала мое желание своему брату, я не знаю, но он прислал мне книгу Павского: «Филологические наблюдения над составом русского языка».

Смольный институт. Приемэкзамен на знание хороших манер

Боже мой, сколько мучений вынесла я из-за этой книги! Я отнеслась к ней как к кладезю величайшей премудрости, твердо верила в то, что как только я ее осилю, передо мной выяснится все и в жизни и в книгах. Но ужас охватил меня с первой же страницы. Я решительно ничего не понимала, перечитывала каждый период по многу раз, твердила наизусть, но в голове не прояснялось, а только затемнялось. Тогда я решила записывать в тетрадь непонятные для меня слова и выражения, рассчитывая на то, что объяснения Ушинского дадут мне ключ к уразумению глубины премудрости Павского, но для этого я считала необходимым прочитать книгу до конца. Однако с каждой страницей я приходила все в большее отчаяние, и вместе с непонятными для меня фразами, выписываемыми из Павского, и вопросами по этому поводу я заносила в тетрадь и отчаянные вопли моего сердца о моем умственном убожестве.

В это время я получила от родных разрешение на продолжение образования. Как диаметрально противоположны были по своему содержанию письма дяди и матери! Дядя писал мне, что мое желание остаться в институте весьма удобно для него и для его жены: ввиду того что моя мать не может взять меня к себе, я должна была бы жить в его семействе, а он находит меня слишком молодою для того, чтобы вывозить в свет и на балы. Моя же мать выражала изумление, что я вдруг пожелала учиться и для этого решаюсь даже остаться в институте; она приписывала перемену, совершившуюся во мне, всецело влиянию Ушинского. «До сих пор, – прибавляла она, – ты писала мне деревянные, официальные письма, глубоко огорчавшие меня. Если такая перемена могла произойти с тобой, которую я считала совсем окаменевшею, то это мог произвести только гениальный педагог». Она умоляла меня передать Ушинскому не только свое глубочайшее уважение, но и изумление, что он даже такой ленивой девочке как я мог внушить желание учиться. Она приказывала мне сказать от ее имени этому «необыкновенному человеку», что ее мечта о таком величайшем счастье как продолжение мною образования, вероятно, разлетится в прах. Она объясняла, что я была принята в институт по баллотировке, следовательно, имею право воспитываться на казенный счет только до выпуска; за остальное образование мое в институте ей пришлось бы, несомненно, платить, а для этого у нее нет никаких средств.

Хотя мне был очень неприятен конец письма, напоминавший о бедности, но я поняла, что скрывать это от Ушинского не имеет смысла. Моя мать была особа энергичная и, долго не получая от

меня ответа, могла еще ярче изобразить ему свое тяжелое материальное положение. Вследствие этого я решила сама кое-что прочитать Ушинскому из письма моей матери, но никоим образом не доводить до его сведения ее похвалы о нем: мне казалось, что он мог принять их за ее желание «подлизаться» к нему. В то же время я собиралась поговорить с Ушинским и насчет книги Павского. Я решила напрямик высказать ему, что совсем не поняла содержания этой книги и что это, вероятно, заставит его отказать мне в приеме на новые курсы. Я находила, что скрывать это от него было бы не только наглым обманом, но и совершенно лишним: мои занятия, конечно, скоро покажут ему отсутствие у меня умственных способностей. Как это ни странно, мне гораздо легче было сознаться в этом, чем в бедности, несмотря на то что Ушинский так открыто издевался над теми, кто стыдился ее. Стыд за свою бедность исчез у нас позже всех других недостатков и диких взглядов, усвоенных в институте.

Стараясь поймать удобный момент для переговоров с инспектором, я расхаживала по коридору с письмом матери, с книгою Павского и с тетрадкой, в которой были отмечены непонятные для меня слова и выражения. Но когда мне посчастливилось встретить Ушинского, я переконфузилась и стала бессвязно бормотать, что не могу перейти во вновь устраиваемый им класс, потому что не понимаю Павского; к тому же, и казна не будет меня держать бесплатно после моего выпуска. Он не мог сразу понять мой бестолковый лепет. Продолжая объяснять ему свои недоразумения, я подала ему книгу, а сама начала пробегать по тетради вопросы, которые собиралась ему сделать, как вдруг услыхала с верхней площадки, что меня зовет к себе инспектриса. Я окончательно растерялась и в рассеянности сунула ему в руки письмо, книгу и тетрадь с просьбою, чтобы он сам прочитал. Когда через несколько минут я вспомнила, что письмо в руках Ушинского, что он узнает даже содержание моей тетради, – я пришла в отчаяние, но дело было сделано.

Возвращая мне Павского, Ушинский заметил, что на основании совсем неподходящего чтения нелепо приходить в отчаяние. «Прочел я и вашу тетрадочку… Что же… она в полном смысле полна «сердца горестных замет»! Это все трогательно!.. Ваши замечания еще более побуждают меня уговаривать вас остаться в институте, чтобы вы имели возможность серьезно поработать. Со всеми вашими недоразумениями можете обращаться ко мне. Только никогда не читайте книг, не посоветовавшись раньше со мною, а Павского, пожалуйста, не раскрывайте больше». Относительно платы за будущее мое

обучение в институте он добавил, что постарается все уладить.

Не прошло после этого и месяца, как он вошел в наш класс, вызвал меня и сказал: «Вы будете стипендиаткой экзарха Грузии[146], который уже отправил в контору вполне достаточную сумму на ваше образование». Я сделала обычный реверанс, не сказав ему ни слова признательности, не имея ни малейшего представления о том, как трудно вообще выхлопотать какую бы то ни было стипендию, а тем более такую значительную, какая была внесена за меня, сколько хлопот и трудов стоило Ушинскому ее добиться. Всю силу великодушия этого благороднейшего человека я поняла гораздо позже: продолжая знакомство с Ушинским и после выпуска из института, я лично была не раз свидетельницею того, как он не только приходил на помощь советом, но и доставал работу нуждающимся, выхлопатывал им стипендии, а за некоторых вносил деньги из своего кармана. В последнем случае он неизменно просил не называть его имени тем, кому он помогал.

Выпускные экзамены окончены, а вот и выпуск. Церковь переполнена народом. Мои подруги, не пожелавшие продолжать своего образования, в первый раз, как птички из клетки, вылетают на волю. Все они в пышных белых платьях, в белых кушаках, в белых перчатках. Недостает только крыльев, чтобы походить на ангелов. Теперь, когда институты сделались полузакрытыми интернатами, когда институтки, оставляя школьную скамью, имеют хотя какое-нибудь представление о жизни, они уже не могут испытывать при выпуске такого волнения, какое испытывали воспитанницы дореформенного периода. Некоторыми из них овладевал невообразимый страх за будущее, и они ожидали чего-то страшного сейчас, сию минуту, точно вот-вот их поведут на эшафот; другие твердо верили в какое-то сказочное счастье, которое сразу свалится на их головы, как только они переступят порог института. Каковы бы ни были их надежды, все они были крайне взволнованны, и это отражалось на их лицах: у многих стояли в глазах слезы; щеки, даже у бледных воспитанниц, горели румянцем. Еще вчера, в неуклюжем форменном платье, девушка не отличалась особенною миловидностью, а сегодня, в рамке пышных белокурых или черных волос, она имела прелестный и грациозный вид. А я стояла тут же в своем форменном платье.

Безысходное отчаяние вдруг овладело мною. Мне сделалось невыразимо завидно и тяжело смотреть на подруг, навсегда оставлявших институт, а я меняла возможную свободу на прежнюю кабалу и неволю. «Счастливицы! – думала я. – Завтра их не разбудит ни свет ни заря проклятый колокол, вместо криков

бранчливых дам их горячо прижмут к сердцу родные руки! Зачем, зачем я осталась? Ничего не выйдет из моего ученья, да и на что оно мне пригодится?». Я бросила взгляд на присутствующих в церкви: среди мужчин и пестро разодетых дам, родственников выпускных, резко выделялись стройные фигуры в белом, говорившие о чистоте, невинности и юной прелести. В углу я заметила серьезную фигуру Ушинского. У меня закипела злоба против него, как против человека, который уговорил меня остаться в институте. Чтобы не разрыдаться, я вышла из церкви, и в первый раз в жизни никто не обратил на это никакого внимания.

Когда я пришла в класс, он был совершенно пуст. Тоска одиночества, непоправимая ошибка, которую, как мне казалось, я сделала, добровольно оставшись в прежней тюрьме, письма матери и дяди в ответ на мою просьбу остаться – все представлялось мне теперь в новом, несравненно более мрачном свете, чем прежде. И я в отчаянии, упав лицом на пюпитр, рыдала, рыдала без конца. Вдруг я услыхала позади себя торопливые, нервные шаги Ушинского. Бежать уже было поздно, и я почувствовала, что если он со мной заговорит, я выскажу ему все в глаза. На его вопрос о том, что я делаю, я в первую минуту молчала из боязни, что голос выдаст мои слезы.

– Чего вы вечно конфузитесь? – начал он, подвигая свой стул к моей скамейке и положив свой портфель на пюпитр. – Вы годитесь мне в дочери и могли бы без стеснения разговаривать со мною. Скажите-ка откровенно, ведь вам взгрустнулось потому, что не удалось сегодня, как подругам, надеть беленькое платьице и беленький кушачок? Пожалуйста, отвечайте откровенно, да не смущайтесь вы, бога ради.

Я не только не намерена была смущаться, но почувствовала, что на меня напала даже «отчаянность», совсем исчезнувшая в последнее время. Я отвечала, что конфузиться не буду: все равно, он всегда издевается над нами…

Он отвечал, что такое мнение крайне для него прискорбно, но он все-таки надеется, что это только недоразумение. И он начал говорить о том, что вследствие оторванности нашей от жизни наши взгляды и выражения нередко оказываются действительно странными, иногда даже комичными… Очень возможно, что как-нибудь, слушая нас, он улыбнулся, но он не предполагал с нашей стороны такой обидчивости, такого недоверия к нему. Издеваться над кем-нибудь из нас здравомыслящий человек не может: мы не виноваты в том, что нас здесь ничему путному не научили, что нам привили дикие понятия… Наконец он спросил, что я делала с тех пор, как

возвратилась из церкви, и получил в ответ, что ничего не делала. Он выразил удивление, как это можно целых два часа просидеть ничего не делая, даже без собеседника, говорил и о том, что человек, серьезно предполагающий работать, должен давать себе отчет в каждом проведенном часе.

Злое, мрачное настроение охватывало меня все сильнее. Мне казалось, что я своими заметками о Павском, а теперь и своими ответами достаточно унизила себя в его глазах, что теперь мне уже нечего терять в его мнении, и стала высыпать перед ним все, что думала перед его приходом. Он ошибается, говорила я ему, предполагая, что я взволновалась из-за того, что не могла надеть белое платье. Я несравненно более пуста, чем он думает, и вовсе не желаю казаться лучше, чем есть. Так вот, я считаю своею обязанностью признаться ему, что прихожу в отчаяние от того, что согласилась остаться в институте продолжать учение, которое меня вовсе не привлекает, а нередко кажется даже постылым. Да и к чему это учение? В ученые лезть я не собираюсь, а «синим чулком» называться не хочу.

– Да чего это вы из кожи лезете показать мне всю вашу институтскую пустоту? Раз вы уже более откровенны, чем это даже требуется в данном случае, то скажите по правде: вы, вероятно, думаете всеми этими словами уязвить меня, причинить мне боль? А между тем вы одна будете в накладе, если уедете с такой пустой головой… Если вы решили не учиться, так вам, конечно, лучше просить родственников взять вас завтра же отсюда.

Этот ответ меня и переконфузил, и разобидел, и я, еле сдерживая рыдания, начала жаловаться ему на то, что теперь взять меня из института уже немыслимо. Моя мать не может приехать за мной, следовательно, я вынуждена буду жить в семье дяди, а он находит, что я слишком молода, чтобы вывозить меня на балы, точно я просила когда-нибудь его об этом. Несчастнее меня нет человека на свете! Моя мать, моя родная мать, вместо того чтобы выразить желание повидать меня, обнять родную дочь после долгой разлуки, только в восторг приходит от того, что я могу продолжать свое учение.

– Вы не имеете ни малейшего нравственного права так говорить о своей матери! Это, знаете ли, даже совсем нехорошо с вашей стороны! Я читал ее письмо к вам и сам получил от нее недавно письмо (я узнала потом от матери, что она благодарила его за хлопоты о стипендии для меня) и нахожу, что она на редкость разумная женщина: вместо жалких слов, поцелуев, объятий и всех этих дешевых сантиментов она горячо высказывает одно желание – чтобы ее дочь была образованной

девушкой, чтобы она училась и трудилась.

Мое злобное настроение против Ушинского как-то сразу рассеялось, и мне вдруг страшно захотелось узнать, что он ответит на один мой вопрос.

– Когда вы прочли письмо моей матери… (я вам отдала его по рассеянности). Она так превозносит вас… вы могли подумать, что она к вам подлизывается…

Ушинский расхохотался.

– Ну, казните меня. Право же, немыслимо оставаться серьезным, слушая иногда, как вы выражаетесь! Уверяю вас, я не нашел, что ваша матушка подлизывается ко мне. Я уже говорил вам, что я лучшего мнения о ней по ее письмам, чем ее родная дочь. А вот за вашу заботу о моей нравственности, – ведь вы боитесь, чтобы похвалы не вскружили мне голову, – я приношу вам глубочайшую благодарность… Мне кажется, что тучи рассеялись, и теперь можно приступить к делу. Итак, решено, вы останетесь здесь, несмотря на ваше отчаяние! Так принимайтесь же за чтение! Я захватил для вас восьмой том Белинского и несколько томов Пушкина… Окажите мне маленькое доверие. Начинайте сейчас же читать «Евгения Онегина», а затем немедленно прочитайте критику Белинского на это произведение. Так читайте и остальные сочинения Пушкина. Я бы желал также, чтобы вы по этому поводу написали все, что вам придет в голову. Если вы добросовестно отнесетесь к моей просьбе, даю вам слово, что вашу досаду как рукой снимет.

Как мне было совестно всего того, что я наговорила Ушинскому! Мне так хотелось просить его простить меня за все мои глупости, но порыв отчаяния прошел, а вместе с этим улетучился и подъем смелости, когда я только и могла говорить все, что мне приходило в голову. Мною овладела обычная конфузливость, и я знала, что, если бы в эту минуту встретила Ушинского, я бы не решилась произнести ни одного слова. Мое волнение быстро улеглось уже потому, что мне удалось высказать все, что меня так смущало. Этому душевному умиротворению помогло и чувство благодарности, и надежда, что при Ушинском все в институте изменится к лучшему. «Наконец-то и в этой казарме, – думала я, – появился человек, который действительно заботится о нас, с которым можно поговорить и посоветоваться, который, несмотря на мои пошлые выходки, не только не отвернулся от меня, но поспешил даже оказать новую услугу, – и при этих мыслях теплая струйка крови прилила к моему сердцу и согрела его. – Что из того, что меня не интересует чтение, – думала я. – Ушинский сделал для меня все, что мог, и я оказалась бы неблагодарной, если бы не исполнила немедленно его

желания».

Хотя вновь устроенный класс именовался теоретически-специальным, но это было не совсем точное название: кроме естествознания, физики и педагогики, в нем проходили курс наук по программе среднеучебных заведений, но в более расширенном виде, чем в нашем прежнем выпускном классе. К тому же из этого седьмого класса желающие могли переходить в специальный класс, где во второй год своего пребывания воспитанницы должны были обучать детей кофейного класса под руководством учителей. Воспитанницы, оставленные во вновь сформированном классе, в числе которых была и я, поступая на новые курсы, переходили, собственно, в седьмой класс, но в ту минуту он не мог так называться потому, что при прежнем делении не было шестого класса.

Относительно воспитанниц, очутившихся в совершенно новом положении, то есть не вышедших из института по собственному желанию, не было установлено никаких правил: выпуск был в марте, а занятия в седьмом классе должны были начаться не ранее как через месяц, да и это не было еще точно определено. Какие классные дамы должны были руководить этими воспитанницами, что они должны были заставлять их делать до начала занятий, на это не было получено никаких инструкций. Классные дамы заявили, что они вовсе не желают торчать с нами, раз это не вменено им в обязанность. И действительно, они не обращали на нас ни малейшего внимания, «Пусть их околачиваются как знают», – говорили они про нас, и мы в полном смысле слова околачивались: кто из нас сидел в классе, кто в дортуаре, кто отправлялся в лазарет.

Времени для чтения было много, и я последовала совету Ушинского. Чем более я читала, тем более увлекалась чтением. Я скоро поняла, что прежде меня не прельщало чтение классиков только потому, что оно было отрывочно, а объяснения Старова лишь сбивали с толку. В несколько дней я так пристрастилась к чтению, что институтский колокол, отрывавший меня от него, сделался моим злейшим врагом. Я забыла все на свете и читала, читала без конца, читала днем, захватывая и большую часть ночи. Чтение так поглотило меня, что когда однажды я столкнулась с maman, выразившей удивление, что я не посещаю ее теперь, когда у меня так много свободного времени, я поблагодарила ее и сказала ей о том, какую работу дал мне Ушинский. Несколько позже я очень пожалела, что легкомыслие, а может быть и некоторая потребность протеста, заставили меня при этом прибавить: «Как обидно, что нас прежде никто не заставлял читать произведения русских писателей!». Хотя я заметила, что

maman как-то особенно сухо простилась со мной, но я уже несравненно меньше придавала значения всему тому, что происходило вокруг: вся погруженная в новый мир идей и случайно оторванная от чтения, я торопилась снова погрузиться в него. За обедами и завтраками я с восторгом передавала подругам, какие интересные вещи я читаю: скоро все они точно так же набросились на чтение.

Узнал об этом Ушинский и немедленно прислал нам остальные тома Пушкина, Белинского и других русских писателей, кажется, из своей библиотеки.

Мы с великим нетерпением ожидали лекций Ушинского, но так как занятия все еще не начинались, у нас явилась мысль просить его прочитать нам что-нибудь. В то время, о котором я говорю, он особенно сильно был завален работою и разносторонними заботами, связанными с преобразованиями в институте. Несмотря на это, он с восторгом отнесся к нашей просьбе и заявил, что у него как раз теперь свободный час, и он сию минуту может приступить к чтению. Хотя в это время в классе сидело всего лишь несколько человек, он сказал, что прочтет вступительную лекцию в педагогику.

Он начал ее с того, что доказал всю пошлость, все ничтожество, весь вред, все нравственное убожество наших надежд и несбыточных стремлений к богатству, к нарядам, блестящим балам и светским развлечениям.

– Вы должны, вы обязаны, – говорил он, – зажечь в своем сердце не мечты о светской суете, на что так падки пустые, жалкие создания, а чистый пламень, неутолимую, неугасимую жажду к приобретению знаний и развить в себе прежде всего любовь к труду, – без этого жизнь ваша не будет ни достойной уважения, ни счастливой. Труд возвысит ваш ум, облагородит ваше сердце и наглядно покажет вам всю призрачность ваших мечтаний; он даст вам силу забывать горе, тяжелые утраты, лишения и невзгоды, чем так щедро усеян жизненный путь каждого человека; он доставит вам чистое наслаждение, нравственное удовлетворение и сознание, что вы недаром живете на свете. Все в жизни может обмануть, все мечты могут оказаться пустыми иллюзиями, только умственный труд, один он никогда никого не обманывает: отдаваясь ему, всегда приносишь пользу и себе и другим. Постоянно расширяя умственный кругозор, он мало-помалу будет, открывать вам все новый и новый интерес к жизни, заставит все больше любить ее не ради эгоистических наслаждений и светских утех… Постоянный умственный труд разовьет в душе вашей чистейшую, возвышенную любовь к ближнему, а только такая любовь дает честное, благородное и

истинное счастье. И этого может и должен добиваться каждый, если он не фразер и не болтун, если у него не дряблая натуришка, если в груди его бьется человеческое сердце, способное любить не одного себя. Добиться этого величайшего на земле счастья может каждый, следовательно, человека можно считать кузнецом своего счастья.

Константин Дмитриевич Ушинский (1823—1870) – русский педагог, основоположник научной педагогики в России

От пламенного, восторженного апофеоза труда Ушинский перешел к определению, что такое материнская любовь, и какою

она должна быть. Любовь к своему детенышу заложена в сердце каждого животного: хищные звери – медведица, волчица – защищают его с опасностью для собственной жизни, нередко падая мертвыми в борьбе с врагом; они питают его собственной грудью, согревают собственным телом, бросают в нору сухую траву, листья, чтобы ему мягче было спать. Возможно ли, чтобы женщина, разумное существо, заботилась, как и зверь, только о физическом благосостоянии и сохранении жизни своего ребенка? Инстинктивно сознавая это, женщина к естественной заботе, вложенной в ее сердце матерью-природою, присоединила еще любовь, которую она считает человеческою, но в громадном большинстве случаев ее следует назвать кукольной, так как она является результатом мелкого тщеславия. Тут он привел в пример матерей, употребляющих все средства, чтобы красивее разодеть ребенка, сделать его миловиднее, – они играют с ним, как дитя с игрушкой. Уже с раннего возраста воспитатели должны развить в ребенке потребность к труду, привить ему стремление к образованию и самообразованию, а затем внушить ему мысль о его обязанности просвещать простой народ, – «ваших крепостных, так называемых ваших рабов, по милости которых вы находитесь здесь, получаете образование, существуете, веселитесь, ублажаете себя мечтами, а он, этот раб ваш, как машина, как вьючное животное, работает на вас не покладая рук, недопивая и недоедая, погруженный в мрак невежества и нищеты».

Теперь все эти мысли давным-давно вошли в общее сознание, всосались в плоть и кровь образованных людей, но тогда (1860 год), накануне освобождения крестьян, они были новостью для русских женщин вообще, а тем более для нас, институток, до тех пор не слыхавших умного слова, зараженных пошлыми стремлениями, которые Ушинский разбивал так беспощадно.

Все, что я передаю о первой вступительной лекции Ушинского, – бледный, слабый конспект его речи, тогда же кратко набросанный мною и притом лишь в главных чертах.

Чтобы понять, какое потрясающее впечатление произвела на нас эта вступительная лекция, нужно иметь в виду не только то, что идеи, высказанные в ней, были совершенно новы для нас, но и то, что Ушинский высказывал их с пылкою страстностью и выразительностью, с необыкновенною силою и блестящею эрудицией, которыми он так отличался. Что же мудреного в том, что эта речь огненными буквами запечатлелась в наших сердцах, что у всех нас во время ее текли по щекам слезы.

Вся внешность Ушинского сильно содействовала тому, чтобы его слова глубоко запали в душу. Худощавый, крайне нервный, он был выше среднего роста. Из-под его черных густых бровей дугою

лихорадочно сверкали темно-карие глаза. Его выразительное, с тонкими чертами лицо, его прекрасно очерченный высокий лоб, говоривший о недюжинном уме, резко выделялся своею бледностью в рамке черных, как смоль, волос и черных бакенов кругом щек и подбородка, напоминавших короткую густую бороду. Его тонкие, бескровные губы, его суровый вид и проницательный взор, который, казалось, видит человека насквозь, красноречиво говорили о присутствии сильного характера и упорной воли. Мне кажется, если бы знаменитый русский художник В. М. Васнецов увидел Ушинского, он написал бы с него для какого-нибудь собора тип вдохновенного пророка-фанатика, глаза которого во время проповеди мечут искры, а лицо становится необыкновенно строгим и суровым. Тот, кто видал Ушинского хотя раз, навсегда запоминал лицо этого человека, резко выделявшегося из толпы даже своею внешностью.

Много десятков лет прошло с тех пор, мой жизненный путь окончен, и я у двери гроба, но до сих пор не могу забыть пламенную речь этого великого учителя, которая впервые бросила человеческую искру в наши головы, заставила трепетать наши сердца человеческими чувствами, пробудила в нас благородные свойства души, которые без него должны были потухнуть. Одна эта лекция сделала для нас уже невозможным возврат к прежним взглядам, по крайней мере в области элементарных вопросов этики, а мы прослушали целый ряд его лекций, беседовали с ним по поводу различных жизненных явлений.

Дальнейшему изменению наших взглядов, совершенному перевороту в нашем умственном и нравственном миросозерцании содействовали и новые преподаватели. Тем не менее все, шло от Ушинского и через него: он был наставником и руководителем не только для нас, но и для приглашенных им учителей, главным виновником нашего полного перерождения. Наша жизнь, если можно так выразиться, раскололась на две диаметрально противоположные части: на беспросветное, бессмысленное, жалкое прозябание до его вступления и на только что наступившую новую эру, полную живого интереса, стремлений к знанию, к мыслям и мечтам, облагораживающим душу. Постоянное чтение книг, выбором которых руководили опытные наставники, шевелило наш мозг и быстро расширяло наш умственный кругозор.

И теперь еще, каждый раз, когда мой взор встречает портрет Ушинского, этого великого педагога, я вспоминаю его вступительную лекцию: необыкновенное волнение и глубочайшая признательность охватывают мою душу, и мне так хочется

преклонить колени перед светлым образом этого замечательного человека.

С благоговением сохраняя в наших сердцах память о заветах великого учителя, я должна сознаться, что не все его ученицы могли сделаться «кузнецами своего счастья». От наших отцов и матерей, пропитанных вожделениями крепостнической эпохи и узкоэгоистическими принципами, мы не могли получить в наследство надлежащего закала для альтруистических устоев. Он утверждал, что высшее счастье человека состоит исключительно в служении народу, что личное счастье ничто: оно эфемерно, призрачно, часто не дает даже нравственного удовлетворения, а потому оно и должно быть принесено на алтарь служения народу. Выполнение такого сурового требования было не по силам большинству молодых существ, только что вступавших в жизнь, которых она опутывала всеми своими чарами, которых она так заманчиво, так властно манила испытать личное счастье.

Выход из института

В первых числах февраля 1862 года я должна была сдать в институте последний экзамен. За неделю до него приехала в Петербург моя мать. Я умоляла ее взять меня из института в тот день и час, когда окончится мой последний экзамен, не ожидая официального выпуска. От последнего экзамена до формального выпуска должно было пройти более месяца, и, сидя в институтских стенах без всякого дела, я бы напрасно потеряла много времени. Должна сознаться, что хотя я действительно рвалась к занятиям, но все же на первом плане тут умысел был другой. Мне казалось, что если меня возьмут домой тотчас после последнего экзамена, это будет блистательным протестом против начальства и наглядно покажет ему, что я сидела последние полтора года в ненавистном для меня институте только ради нового преподавания. О желании сделать из моего ускоренного выхода протест и тем уязвить моих врагов в самое сердце я не говорила матери.

Экзамен окончился в двенадцать часов утра. Воспитанницы отправились завтракать, а я бросилась в дортуар, где меня уже поджидала матушка со свертками и картонками. Возвратившись из столовой, несколько подруг прибежали к нам и начали помогать мне одеваться, сопровождая свои услуги болтовней, шутками, звонким смехом, примеривая на себя то одно, то другое из моего туалета. Окруженная толпою молодых девушек, моя мать с восторгом наблюдала их оживленные лица и обнимала то одну, то другую из них.

Прежде всего мы отправились прощаться к инспектрисе. После инцидента на лекции истории Сент-Илер, кроме официальных замечаний, ни разу не разговаривала со мной, и я делала все, чтобы не попадаться ей на глаза. И вот после долгого промежутка холодных отношений нам пришлось наконец столкнуться с нею, чтобы распрощаться навсегда. Радушно поздоровавшись с матушкою, она прижала меня к своей груди со словами: «Конец всем недоразумениям. Я всех вас горячо любила! И ты когда-нибудь вспомнишь меня с добрым чувством!». При этом она высказала мне самые лучшие пожелания, просила навещать ее и сама обещала посетить нас. Мою мать, видевшую нашу maman в первый раз, но знавшую ее не только по моим, но и по дядюшкиным рассказам, она просто очаровала. Когда мы вышли от нее, она все повторяла: «Нет человека без греха! А все-таки она обворожительная женщина!».

Как только мы спустились вниз, швейцар доложил нам, что инспектор просит нас зайти к нему в приемный зал. Последние дни я обдумывала все, о чем хотела говорить с ним в этот знаменательный для меня день. Я собиралась сказать ему, что буду с благоговением вспоминать о нем, укажу ему, какое громадное значение он имел для нас, его учениц. Но меня охватил ужас при мысли, что если я сию минуту и не прощаюсь с ним окончательно, то через месяца два-три, когда мне придется уехать из Петербурга, навсегда потеряю его, и я мысленно повторяла себе, что вместе с ним потухнет для меня весь свет, что я останусь навсегда без руководителя и поддержки. У меня так забилось сердце, когда я вошла в залу, где расхаживал Ушинский, что я забыла все, что собиралась ему сказать, да у меня и не хватило бы смелости произнести перед ним такую речь. Увидев его, я так сконфузилась, что забыла даже отрекомендовать мою мать и стояла посреди комнаты с опущенной головой, делая усилия, чтобы не разрыдаться, а слезы градом катились из моих глаз.

Ушинский молча остановился передо мною, положил руку на мое плечо и с отеческою ласкою заговорил:

– Ну вот, ну вот… (Его всегда смущали слезы.) А я ведь приказал скорее позвать вас сюда, думал, что вы носитесь теперь всюду с видом победительницы! Боялся, что устроите скандал, какой-нибудь протест! Ну что же, еще не успели?

Слезы душили меня, и, не будучи в силах отвечать, я лишь отрицательно покачала головой.

– И прекрасно! Какие там счеты! – И, видя, что я все еще взволнованна, он обратился к матушке, которая начала горячо благодарить его за все, что он сделал для меня.

– Вы знаете, – говорил он мне, – что я никого из моих учениц не оставлю теперь в покое. На какой конец света вы бы ни заехали, вы должны давать мне отчет о своем времяпрепровождении, о своих занятиях. Ведь вас нужно держать в ежовых рукавицах!

Моя мать тоже шутливо возразила ему, что со мною можно теперь обойтись и без этого, что я сама только и рвусь к занятиям.

– Вы не очень-то полагайтесь на ее слова: она особа увлекающаяся! Правда, в последнее время она серьезно занималась, ну, а услышит звон шпор (он знал, что до отъезда в провинцию я буду жить в военной среде), и вся уйдет в звуки вальса!.. Жаль, очень жаль, что она не может жить среди людей трудящихся! Тогда я не боялся бы за нее! Ну, да я вам не дам погрузиться с головой в ваши оборочки и фалборочки! Через недельки две-три непременно нагряну к вам, узнаю, что вы путного сделали за это время. Вы не думайте, что я враг веселья, напротив даже, но развлечения могут быть только после труда!

И он, по-прежнему обращаясь то ко мне, то к моей матери, говорил о том, как необходимо развивать в себе вкус к здоровым удовольствиям: советовал ходить в театр на пьесы Островского, но перед каждым представлением прочитывать пьесу, которую придется смотреть, а если есть возможность, и критический ее разбор, указывал на необходимость посещать публичные лекции, особенно лекции Костомарова, с тем же условием, то есть чтобы до нее подготовиться к ее слушанию.

– Видите ли, я все толкую о развлечениях, но ведь кроме них, должны же вы подумать и о каком-нибудь серьезном умственном труде. Когда я к вам приеду, я привезу вам список книг, и мы сообща решим, над чем вам следует поработать во время вашего пребывания в Петербурге. Но рука об руку с серьезной умственной работой и здоровыми развлечениями вы должны выбрать еще какую-нибудь воскресную школу, чтобы обучать детей грамоте и посещать лучшие элементарные школы, прислушиваться к преподаванию хороших учителей. Я вам привезу рекомендательные письма и укажу, в какие из школ вам полезнее проникнуть. Вы со всеми уже простились здесь? – вдруг спросил он, протягивая мне руку на прощанье.

Я отвечала, что мы должны явиться еще к начальнице, которая дала нам знать об этом через инспектрису. Ушинский пристально посмотрел на меня своими проницательными глазами и строго добавил:

– Надеюсь, вы не унизите себя на прощанье какою-нибудь неуместною выходкой?

Каждое слово Ушинского было для всех нас, его учениц, законом, нарушить который никто бы не решился. Но если бы он и не предупредил меня о том, что я должна держать себя с начальницей в границах предписанного почтения, я сама уже решила, что не пророню у нее ни звука.

Однако, несмотря на то, что я строго выдержала обет молчания и была нема как рыба, визит наш к ней окончился весьма печально. Как только мы были введены в приемный покой начальницы, мы подошли с матерью к столу, за которым она сидела. Чуть-чуть кивнув нам головой в знак официального приветствия, она тотчас начала говорить о том, как радо институтское начальство, что оно на месяца полтора раньше положенного срока избавляется от присутствия в институте моей особы. Все это она произносила, обращаясь к моей матери и, по своему обыкновению, медленно отчеканивая слова, желая точно молотом вбить их в ее голову, но та все выслушивала молча. Я уже начинала надеяться, что все сойдет благополучно, как вдруг Леонтьева, по-прежнему обращаясь только к моей матери, начала припоминать, как она выразилась, «грязную историю с братьями вашей дочери, в которой такую недостойную роль играл ваш брат, а ее дядюшка, с виду почтенный генерал, наделавший всем нам массу неприятностей».

Тут уже вспыльчивая по натуре матушка не стерпела и, прервав разглагольствования начальницы, запальчиво заговорила о том, что только институтское начальство могло сделать что-то грязное из простого свидания ее сыновей с их родною сестрою. Что касается ее брата, то она, начальница Леонтьева, должна быть ему еще бесконечно признательна за то, что он не довел эту историю до сведения государя. Матушка прибавила еще, что она решительно не понимает, «зачем ее превосходительству понадобилось вспомнить об этой во всех отношениях выясненной истории, в которой кругом виновато было институтское начальство, поверившее клеветническому доносу классной дамы. Вероятно, ее превосходительство, – смело добавила матушка, – вспоминает эту историю потому, что она, ее превосходительство, привыкла говорить только с подчиненными, не смеющими возражать ей, что же касается ее, Александры Степановны Цевловской, то она не подчиненная ей, а потому и не желает выслушивать клевет, признанных за таковые даже институтским начальством, а что это было именно так, как она говорит, видно уже из того, что инспектриса просила ее брата не доводить эту историю до государя».

Такого потока горячей речи моей матери начальница не в силах была остановить. Величественно поднявшись с дивана, она

протянутой рукой гневно указала моей матери на дверь. Но та повернулась к ней спиной только тогда, когда договорила последнее слово.

Мы спускались уже по лестнице, когда, вся запыхавшись, нас нагнала Оленкина (dame de compagnie – компаньонка *(фр.)* Леонтьевой). Она протягивала мне какую-то книгу и с ужасом лепетала: «Какие неслыханные дерзости вы осмелились наговорить начальнице! И все-таки ее превосходительство так ангельски добра, так бесконечно снисходительна, что приказала передать вам Евангелие. Она надеется, что эта священная книга…». Но я заметила, что моя мать еще не остыла, порывается что-то возражать, и, схватив книгу, потянула матушку за собой.

Мы быстро спустились вниз, тронулись в путь, и я навсегда оставила стены alma mater, чтобы вступить на новую, совсем неизвестную мне дорогу жизни, к которой я была совершенно не подготовлена институтским воспитанием.

Александра Ивановна Соколова *(1833–1914)*

В биографии писательницы Александры Ивановны Соколовой (урожд. Денисьевой; наст. отчество – Урвановна; 1833–1914) много неясного.

Войдя в литературный мир театральной рецензенткой «Московских ведомостей», Соколова осталась в нем на долгие сорок пять лет и написала множество статей, фельетонов, рассказов, исторических этюдов, «уголовных романов» и, наконец, имевшие большой успех мемуары «Из воспоминаний смолянки» и «Встречи и знакомства». Ее хорошо знала газетная Москва по броскому псевдониму Синее Домино.

Биография и творчество Соколовой не изучены, и немногим известно, что она была матерью знаменитого фельетониста Власа Дорошевича, которого оставила в младенческом возрасте на воспитание чужим людям, отказавшись от материнских прав. Забытое имя писательницы не раз всплывало рядом с именем Дорошевича и требовало серьезного комментария, но исследователи наталкивались на отсутствие достоверных сведений о ней.

Из воспоминаний смолянки
Избранные главы

I

Привезли меня семилетней девочкой в Петербург и отдали в «Смольный» <…> когда еще называли это воспитательное заведение Смольным монастырем… Да! «Воспитательное Общество Благородных Девиц» было основано (еще в молодости Екатерины II) при Воскресенском Смольном женском монастыре!

…Состав институток был самый разнообразный… Тут были и дочери богатейших степных помещиков, и рядом с этими румяными продуктами российского чернозема – бледные, анемичные аристократки из самого Петербурга, навещаемые великосветскими маменьками и братьями-кавалергардами; тут же и чопорные отпрыски остзейских баронов, и очаровательные девочки из семей польских магнатов (потом всю жизнь они будут метаться между восторженным обожанием августейшей российской фамилии и горячей любовью к своей подневольной родине), и зачисленная на казенный кошт диковато застенчивая девочка из Новгород-Северского уезда Черниговской губернии – из семьи вконец обедневшего однодворца-дворянина, предки которого, однако, были записаны в «столбовую книгу» самых знатных людей еще допетровской Руси.

Впрочем, в этом заведении «для благородных»… воспитанницы должны были забыть о знатности и титулах своих родителей на все время своего учения, равно как и о различиях среди одноклассниц в одежде (понятие о классе включало в себя и его неизмененный в течение девяти лет состав, и класс как одну из трех ступеней, по три года в каждом, нашего пребывания в институте). Одинаковыми у одноклассниц были даже прически. Так, «меньшой» класс должен был обязательно завивать волосы, средний – заплетать их в косы, подкладываемые густыми бантами из лент, а старший, или так называемый «белый» класс, нося обязательно высокие черепаховые гребенки, причесывался «по-большому», в одну косу, спуская ее, согласно воцарившейся тогда моде, особенно низко…

Класс независимо от его «временного» названия делился на группы по воспитанию («дортуары» – каждая группа спала в своей комнате и была в течение всех девяти лет неизменна по своему составу; в нашем классе было десять дортуаров) и на отделения

по степени своих познаний (по успеваемости). Здесь мы поступали в ведение учителей (учительницы полагались только для музыки и рукоделия).

Учителя (одни и те же во все девять лет) занимались с нами, углубляя по мере наших возрастных и индивидуальных возможностей наши знания по преподаваемым ими предметам; нянечки (их нанимали из числа выпускниц Воспитательного дома для сирот из народа); пепиньерки – в качестве младших воспитательниц (эти спали в дортуарах вместе с нами), классные дамы (их работа по воспитанию считалась особенно ответственной), и тем более классная инспектриса (самое важное в каждом классе лицо) – все оставались с нами на все время нашего пребывания в институте. Так что, повторяю, менялись (в соответствии с переменами в нас самих) лишь возрастные обозначения класса, которые неофициально (об этом ниже) соответствовали определенным «цветовым различиям».

Помню, как мы, весь наш «меньшой» класс, еще не втянувшись в форму и аккуратность действительно, казалось бы, монастырской жизни, поголовно грустили по домашней свободе, за что и получали название «нюней» от среднего класса, облаченного в голубые платья и потому носившего название «голубого».

Императрица Александра Федоровна с дочерьми. Слева направо: Ольга, Татьяна, Александра Федоровна (сидит), Анастасия, Мария

Этот класс, составлявший переходную ступень от младших к старшим, был в постоянном разладе сам с собой и в открытой вражде со всеми. «Голубые» дрались со старшим («белым») классом, впрочем, носившим темно-зеленые платья, дразнили маленьких из класса «кофейного» (мы были в платьицах кофейного цвета) и даже иногда дерзили классным дамам – это было что-то бурное, неукротимое, какая-то особая стихийная сила среди нашего детского населения… И все это как-то фаталистически связано было с голубым цветом платьев! Но стоило пройти трем очередным годам, и те же девочки, сбросив с себя задорный голубой мундир, делались внимательней к маленьким, более уступчивы с классными дамами и только с заменившими их «голубыми» слегка воевали, защищая от них «кофейную» малышню. И уже этим, новым «голубым», выговаривал по приезде император Николай:

– Ну охота вам, mesdames, связываться с кафульками!.. Fi donc!

В институт я приехала из деревенской усадьбы и потому об особах царской фамилии имела представление как о персонажах народных сказок…

И вот однажды перед обедом по дортуарам «кофейных» пронеслась весть: «Государыня приехала! С Великой княжной Ольгой!..».

Прибежали классные дамы, вместе с пепиньерками стали обдергивать и поправлять «кафулек». В коридоре показался унтер-офицер Иванов с каменной, видимо, раскаленной на кухне плиткой, на которую он лил какое-то куренье… Куда-то, вихрем, пронесся наш эконом Гартенберг… Сторож Семен Никифорович появился в коридоре в новом мундире…

В столовую входим парами… И уже в воображении семилетней «девочки из деревни» видением встают и корона, и порфира, и блеск каких-то фантастических лучей… Я вместе со всеми кричу давно уже заученное приветствие…

Но где же императрица? К нам с приветливой улыбкой подходит худенькая, идеально грациозная женщина, в шелковом клетчатом платье, желтом с лиловым, и в небольшой шляпе с фиалками и высокой желтой страусовой эгреткой. Ни диадемы, ни порфиры… ни даже самого крошечного бриллиантика! Я разочарована…

Рядом с императрицей стояла высокая и стройная блондинка, идеальной красоты, со строгим профилем камеи и большими голубыми глазами. Это была средняя дочь государыни великая княжна Ольга Николаевна, впоследствии королева

Вюртембергская, одна из самых красивых женщин современной ей Европы (Ольгу Николаевну на ее новой родине так почитали, что в ее честь учредили носящий ее имя орден).

А тогда… Государыне доложили о моем несколько запоздалом в связи с болезнью поступлении в институт, и она милостиво пожелала меня увидеть. В ответ на мой низкий реверанс, отвешенный по всем законам этикета (с этими законами знакомили в Смольном сразу же, даже раньше правил грамматики), государыня улыбнулась, потрепала меня по щеке и сказала, что она передаст государю, какую маленькую диву привезли в Смольный.

А я, хотя и отвечала ей, благодарила ее вполне по тому же этикету, все еще сожалела о персонажах той сказки…

Каникул в нашем «институте-монастыре» не полагалось, и двери его, затворившиеся за еще совсем маленькой девочкой, отворялись уже перед взрослой девушкой.

…Хотя и правда то, что среди самых образованных женщин России было немало выпускниц нашего института, но некоторые из нас даже и в нашем классе радовали своих профессоров сообщениями о том, что прусский король Фридрих II основал Священную Римскую империю германской нации, а Александра Невского полагали среди польских королей!.. Из института, бывало, исключали за неисправимо вульгарное поведение, но никогда – за «неуды» в учении. При этом – ни звука огласки в первом случае («благородные родители» тихо забирали своих чад, выказавших себя не очень благородными) и никаких порицаний во втором (просто их переводили в «отделения со слабой успеваемостью», каковые были в каждом классе). Так что вполне затем могли выпустить из института вместе с этим их знанием о «польском короле Александре Невском»…

Правда, в музыке, танцах, во всем, что ожидало нас (вернее, могло ожидать) в нашей будущей жизни… преуспели почти все, и особенно все хорошо изъяснялись по-французски (на французском пели и даже некоторые слагали стихи). Впрочем, с теми, кто ленился понимать русский язык, переставали говорить и по-французски (разве что долго терпели в этом отношении девочек из семей наших горных и степных феодалов, не знающих других языков, кроме родного). Подчас даже меж собой, в своих дортуарах, девочки ставили таких – знающих французский, но ленившихся «понимать по-русски» – в самые неожиданные для тех положения, иногда смешные действительно…

Один из таких забавных случаев донесла до нас, новеньких, изустная история института. На этот раз инициатором его была даже и не смолянка, а великая княжна Александра, которую,

вплоть до ее замужества, часто привозили в институт к ее сверстницам, разумеется, уже после окончания теми занятий с учителями; иногда приезжал с ней и кто-нибудь из ее августейших родителей.

Ей очень нравилась одна из шести поступивших тогда в институт девочек из дворянских семей Швеции. Вопреки всем наблюдениям о замкнутости скандинавского характера эта восьмилетняя шведка была как раз очень общительна, но – только на одном, французском, языке… Русские слова она заучивала, скорее, как бы для коллекции, не придавая им ровно никакого значения.

И вот великая княжна, сама тогда еще совсем подросток, придумала, как более к месту употребить хотя бы одно из ее русских слов… С каковым и посоветовала ей подойти к высоченному «Zum Soldaten», любующемуся в это время игрой «царских рыбок» в аквариуме.

Девочка все так и сделала. Чтобы обратить на себя внимание этого, по ней, очень высокого солдата (а это был император Николай Павлович), она дернула его за фалду мундира и сказала, как ей казалось, только одно слово:

– Царь-рыба!..

…Интересно, сразу же догадался Николай Павлович, что эта, лично ему неизвестная, в рыжих кудряшках, «кафулька» имеет в виду то, что плавает в аквариуме?

А я в первые свои годы в Институте видела эту шведку уже золотокосой выпускницей «белого» класса, совершенно без акцента певшую романсы Варламова вместе с правнучкой Суворова Еленой Голицыной.

И раз уж я заговорила о наших институтских солистках, не могу здесь не вспомнить Фавсту Калчукову… Только верность этой девушки традициям своего рода (одного из самых знатных и уважаемых среди калмыков) не позволила ей стать профессиональной, сказать без преувеличения, выдающейся певицей. Ее голосом была увлечена пианистка Клара Вик, которая и в следующем году, по приезде в Петербург, приезжала в институт, на этот раз со своим мужем-композитором Шуманом; они, сменяя друг друга у пианино, чудесно играли нам.

Рассказать кстати – выступал у нас и знаменитый итальянский баритон Антонио Тамбурини; причем нам, девочкам, как раз больше всего понравилось, когда он пел вместе со своими сыном и дочерью. И, дважды бывая с гастролями в Петербурге, играл у нас сам Лист! Рассказывали, что уже после первого своего концерта в нашем рекреационном зале, он полушутя признался попечителю института герцогу Петру Георгиевичу

Ольденбургскому – чем мы ему сами понравились… Сказал, что, замечая на наших юных прелестных лицах трепет сопереживания со своими испытываемыми во время игры чувствами, он, уже оповещенный о «правилах поведения воспитанниц», играл и чувствовал себя у нас особенно непринужденно, заранее зная, что освобожден здесь от необходимости бессчетно раз потом раскланиваться в ответ на овации публики: в нашем «монастыре» аплодировать не полагалось!

В записках о своей юности в Смольном институте я упоминала великую княжну Александру Николаевну; она чаще других великих княжон бывала в институте, и потому хочется вспомнить здесь о ее судьбе то, что теперь, за давностью лет, многие, возможно, уже не знают…

Император Николай, обычно строго, когда находился с членами своей семьи в свете, соблюдавший по отношению к ним церемониал обращений, единственно эту из своих дочерей называл вплоть до ее замужества «Сашенькой». Рассказывали, что иногда он сам, столь обычно далекий от сентиментальности, присоединялся в Царском Селе к ее любимому занятию – кормлению лебедей.

Уже Александра была, что называется, девушкой на выданье, когда в столичном цирке стала выступать наездница (уже не помню ее имени и национальности, она, точно, была иностранка). Эта циркачка настолько разительно и лицом и фигурой напоминала Александру Николаевну, что, говорят, когда она в костюме амазонки проезжала после своего номера круг по манежу, зрители аплодисментами и выкриками одобряли в ее лице едва ли не самую великую княжну, озорно иногда звучало и само августейшее имя…

Наездницу, предложив ей утешительное вознаграждение, попросили уехать, однако она довольно резонно ответила, что своим успехом в цирке обязана не похожести на кого-то, а исключительно своему мастерству. Тогда, видимо, еще большая сумма была вручена антрепренеру, и, хотя труппа его уже было собиралась переезжать для выступлений в Москве, он отказал наезднице в дальнейшем ее участии.

…Передавали, что по выезде из России эту цирковую артистку спасло лишь ее нероссийское подданство: такую злую пообещала она Александре Николаевне судьбу.

Великая княжна Александра Николаевна вышла замуж за едва ли не самого красивого тогда из всех принцев Европы. Но уже вскоре, на чужбине, обнаружились у новоявленной принцессы Гессен-Кассельской признаки чахотки (это особая тема – из поколения в поколение у княжон Романовых не остывающая

ностальгия по Родине), но умерла Александра Николаевна родами. Ребенка, не увидевшего свет ни на минутку, положили в гроб вместе с ней.

Горе отца, императора Николая… это его личное, по персту судьбы, горе… могли видеть лишь самые близкие ему люди. Между тем вскоре за бешеные деньги доставлены были из-за границы редчайшие тогда черные лебеди – и от одних слышала я, что ими на царскосельском озере заменили белых, другие же утверждали, что черные плавали вместе с теми, которые кормились из рук «Сашеньки».

Я уже не застала тех дочерей декабристов, которые были приняты в Смольный институт по просьбам их вдов и их супруг. Недавно я прочитала, что среди воспитанниц Смольного была дочь Рылеева, однако это ошибка – она воспитывалась в Патриотическом институте. Среди других фамилий дочерей казненных или сосланных в Сибирь участников мятежа указывалась дочь Каховского. Уточню лишь, что в Смольном институте воспитывались две дочери Каховского – обе они вышли из института с серебряными медалями.

И мне рассказывали, что, бывало, когда дочерей императора еще подростками привозили к их сверстницам-смолянкам (с кем иначе было им играть в Зимнем дворце?), девочки, Романовы и Каховские, совершенно забыв, кто их отцы, весело, взапуски носились по нашему саду…

Далее я хочу рассказать о такой смолянке, какой была princesse de gouries (так, говорят, почти всерьез, принцессой, император Николай в беседах с попечителем Института называл эту дочь покойного владетеля одного из грузинских княжеств – Гурийского)…

Терезу Гурийскую я застала уже окончившей институт, но все еще в определении своей судьбы проживающую в нашем «монастыре» (правда, уже в отдельной комнате и с личной прислугой).

Тереза была замечательно хороша – обычною, тяжелой грузинской красотою: белая, полная, крупная, с большими миндалевидными глазами (уж не таких ли восточных красавиц называют «гуриями»?.. Да нет, эта поражала удивительной добротой). При этом она отличалась каким-то властным, доминирующим голосом (видимо, сказывалась порода восточных властителей), но вместе с тем – таким вдруг гомерическим хохотом, раскаты которого были хорошо знакомы всему Смольному «монастырю».

По окончании института она хотела получить (и получила!) придворный шифр, но вдруг стать фрейлиной отказалась (по-

моему, к немалому облегчению двора, уже по-европейски не готового к таким непосредственным в своих проявлениях натурам). Во всяком случае, графиня Разумовская, самая старая, важная и почетная из всех придворных дам того времени (по слухам, почти считавшаяся визитами с императрицей), привезя ей этот бриллиантовый шифр, была просто шокирована самой формой ее отказа и этой ее хорошо знакомой всему нашему монастырю громкой смешливостью. Так что затем пришлось успокаивать графиню, всегда гордую поручаемыми ей важными миссиями, самому императору…

И здесь, в напоминание нашим историкам дворянских родов, хочу указать на случай, из ряда вон в отечественной геральдике. Государю императору Николаю Павловичу было благоугодно указать, что… светлейшая княжна Тереза Гурийская после своего замужества, вопреки всем обычным в этом отношении постулатам, не только будет пожизненно названа светлейшей княгиней, но после своей свадьбы удостоит этим первым после великокняжеского титулом и своего избранника!

И как же после этого пришлось поволноваться двору!.. За сравнительно небольшой срок проживания Терезы в нашем «монастыре», уже после окончания ею института, эта необыкновенно влюбчивая девушка готова была наградить столь высоким титулом трех или даже четырех объектов своей симпатии, из которых, конечно, наиболее «в своем роде» был бы наш институтский учитель рисования, вообще не принадлежавший к дворянскому сословию.

За дело взялись по поручению императрицы… На первом же в аристократическом Петербурге балу Терезе представили служившего в столич-ной гвардии грузинского князя Дадиани, между прочим, тоже «светлейшего». Соплеменник тем более признал в Терезе красавицу; к тому же не мог не понимать гордый грузинский князь, что за фигура на историческом фоне Грузии эта дочь владетеля бывшего Гурийского княжества! Бракосочетание состоялось в придворной церкви, императрица собственноручно приколола невесте венчальную вуаль, великие княжны были с ней в храме в качестве подруг, а на свадьбе посаженным отцом был сам император. Тотчас после свадьбы князь вышел в отставку и увез супругу в одно из своих богатейших поместий в Грузии.

Здесь я хочу захватить своим повествованием особу, которая ко времени моего поступления в институт уже окончила его, но которая еще долго навещала нас, а впоследствии стала матерью героя, вошедшего в нашу отечественную историю, – Ольгу Полтавцеву… Высокая, стройная – помню ее однажды в легком

белом платье и яркой пунцовой бархатной мантилье, накинутой на плечи, – она была совершенная красавица! Позднее, когда она была замужем за «вторым Скобелевым» (хотя именно его потом будут в армии называть «Скобелевым Старшим»), она, смеясь, жаловалась моей тетке на «Скобелева Первого» – знаменитого коменданта Петропавловской крепости и одновременно первого в России военного писателя. Скобелев Первый являл собою пример редкого в России восхождения от «солдата Кобелева» до возведенного в права «потомственного дворянина Скобелева», дослужившегося до высшего в армии (перед фельдмаршальским) звания. Теперь же, как рассказывала нам эта его сноха Ольга Николаевна (сама тогда по мужу еще далеко не генеральша), бурно занимаясь со своим юным внуком Дмитрием военным делом, генерал от инфантерии предрек, что тот весь путь к его званию пройдет в армии за вдвое короткий срок.

…Не мог этот генерал и писатель, Скобелев Первый, даже и предположить, какое на самом деле высокое место в истории русской армии займет его внук! Как не мог он провидеть и трагическую судьбу матери этого исторического героя – нашей смолянки…

Успев увидеть сына во всей поистине всеотечественной его славе, сама Ольга Николаевна, уже вдова генерала, отдаст последние годы своей жизни милосердной работе для народов, освобождению которых от турецкого ига так много способствовали ее муж и сын: станет одной из главных фигур Общества Красного Креста на Балканах. Между прочим, кроме организации больниц и сельских лазаретов по оказанию первой медицинской помощи в Болгарии и Румынии, она оказалась одной из тех, кто материально и юридически оказал поддержку созданному там, близ Шипки, пожизненному приюту для тех изувеченных ветеранов русской армии, которые не захотели вернуться на родину.

В очередной поездке Ольги Николаевны по Румынии на ее экипаж напала шайка разбойников, в которой среди румын и болгар оказался бывший русский офицер, даже и воевавший под командой ее сына, – некто Узатис… Говорили даже, будто Ольге Николаевне было известно, что этот Узатис отказался от возвращения на родину со своим полком, поступил в румынскую полицию и что-де он взялся сопровождать ее ввиду большой суммы денег, которые она везла с собой (тогда многие в России жертвовали освобожденным от турок христианам Балкан), и что сам же он и убил ее. Однако я не думаю, что Ольга Николаевна могла довериться такому отщепенцу. Скорее всего, действительно имея отношение к местной полиции и зная, что… женщина

следует с большими деньгами, узнал тот, кого именно они убили уже из захваченных вместе с деньгами документов; потом стало известно, что в ту же ночь негодяй застрелился.

Пиетет особого отношения к императорской фамилии, разумеется, культивировался в институте, но уже тогда наступало время куда более свободного общения, если не с самим императором, то с другими лицами его августейшей семьи.

Вспоминается, например, из «голубого времени» (среднего класса) княжна Надинька Н. (не буду здесь называть ее фамилии, так как в связи с этой девушкой коснусь неординарных взаимоотношений ее родителей). Прехорошенькая и не глупая вовсе, эта институтка при посещении Смольного великим князем Константином Николаевичем взялась уверять его, что его невеста, не в пример ему самому, красивее (а это была очередная в доме Романовых немецкая принцесса – уже в Петербурге перешедшая в православие Александра Иосифовна, и впрямь красивая очень). И что, добавила расшалившаяся наша девица Надинька, гораздо достойнее ее в качестве ее мужа мог бы быть его, великого князя Константина, брат – великий князь Николай (тот приехал в институт вместе с ним, но присутствовал в это время на экзамене в старшем классе).

Константин Николаевич улыбнулся и, поддержав ее в шутливом тоне, сказал, что он ревнует ее к своему брату.

– Что ж, может, вы и правы в своем предположении!.. – сказала Надинька. – Приведите, пожалуйста, его Высочество Николая Николаевича, я хочу его видеть!

Константин громко рассмеялся и предложил девице-шалунье променять разговор с его братом на коробку конфет, которая по согласию Надиньки, видимо, наконец одумавшейся, и была принесена камер-лакеем на подносе. Великому князю легко было это исполнить, так как в дни так называемых императорских экзаменов, когда весь двор обыкновенно присутствовал при танцах и пении воспитанниц, с утра в Смольный привозилась царская кухня, и приезжали придворные повара и камер-лакеи.

Теперь-то мне понятно, что Надинька хотя бы так развеселила тогда себя за переживаемую ею горесть в связи с разладом друг с другом ее родителей… Отец и мать ее (та вдруг перешла в католичество) жили порознь, и это не могло не сказаться на характере их дочери, который был очень неровным. Помню явственно, как в Мраморном зале, где обычно проходили свидания воспитанниц с родными, с Надинькой сделался нервный припадок: в зал сначала вошел ее отец и почти тотчас – ее мать… Остановившись, они враждебными взглядами смерили друг друга…

– Папа!.. Мама!.. – могла только выговаривать девочка и вдруг разразилась рыданиями.

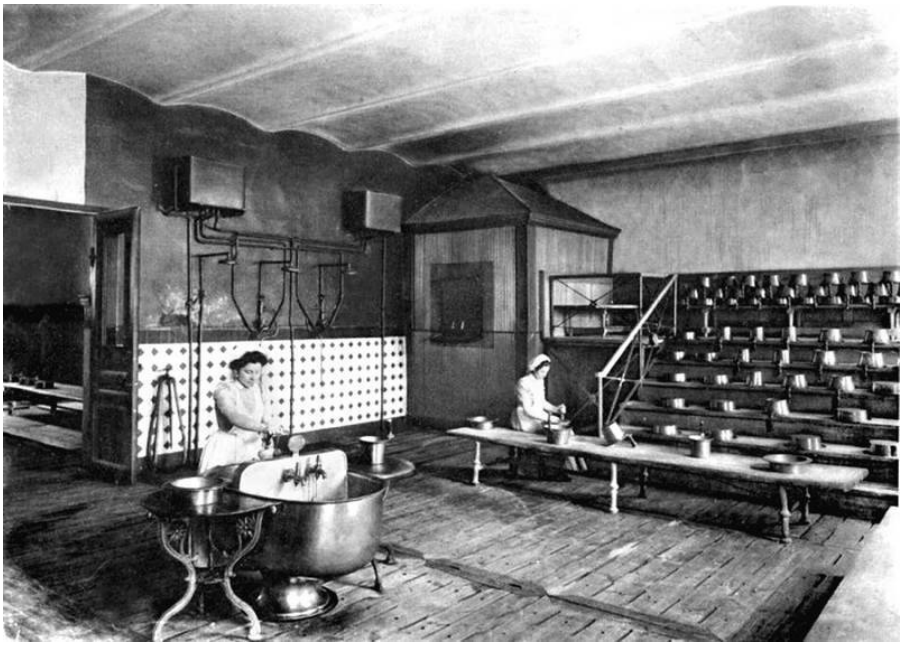
Отец уступил: молча поцеловал дочь, положил гостинцы и вышел из зала бледный как полотно.

Но в связи с так называемым благородным происхождением и благородным воспитанием питомиц нашего института (чувствую теперь, что эта оговорка о «так называемом» – явная здесь с моей стороны дань времени: тогда, во дни моей юности, я просто не поняла бы ее) нельзя, говорю, в связи с этим не сказать о тех проявлениях чисто сословного взгляда на жизнь русского общества, примеры которого из жизни института прояснились для меня в качестве явления много позже.

II

Начну с рассказа о созданной при Институте как бы второй его половине, которая формально считалась равноправной, но – для девочек из семей «почетных граждан», именитых купцов, фабрикантов, банкиров, священников, чиновников, то есть, собственно, не дворян… В простоте душевной устроители этой «половины» назвали ее Мещанской!.. И хотя уже вскоре от такой своей «простоты» опомнились и переименовали эту половину Института в «Александровскую», но было поздно… Иначе как «мещанками» мы уже не называли тамошних своих однокашниц (кухня у нас была общая). Но в то время как воспитанницы нашей, «Николаевской половины», два раза в год ездили кататься в придворных каретах (с парадным эскортом офицеров!), воспитанницам Мещанской (Александровской) половины придворных экипажей не присылали и кататься их никогда и никуда не возили.

Точно так же не возили их и во дворец для раздачи наград (и уж, разумеется, выпускниц-«мещанок» не брали во двор фрейлинами), не было у них ни императорских экзаменов (в присутствии особ из императорской фамилии), ни так называемого «императорского бала», на котором с нами танцевали великие князья, иностранные принцы и особы высочайшей свиты.



Смольный институт. Помывочная. Фото 1889 года

То же обидное для детского самолюбия различие сказывалось и в том, что при встрече с любой из нас девочка-«мещанка» должна была первой отвешивать почтительный реверанс, а уж затем отвечали реверансом ей… «Мещанки» и на службах в институтской церкви стояли только на своей стороне, вместе со всеми нашими нянечками, кухарками и другими разного рода служанками. Даже сад, в который мы выходили гулять, был разделен на две половины. Зимой сквозь щели в заборе девочки Мещанской половины могли видеть, что только для нас выстилали по аллеям доски, чтобы юные аристократки «не обожгли» ноги о снег.

Да, теперь вижу, что значение свершенного затем государем императором Александром II освобождения касается не только крестьян, но и раскрепощения нас самих от очень многих крепостей вековых убеждений.

Одной из таких крепостей, которыми до этого держались устои общества, было убеждение в необходимости телесного наказания крепостных холопов, солдат и даже работников по свободному найму. Так, в Смольном институте, созданном ведь под влиянием гуманных теорий энциклопедистов, прислугу секли розгами за провинности, степень которых к тому же слишком часто определялась весьма субъективно.

Больше того: секли и женщин! И еще больше: всех провинившихся (дворников, конюхов, истопников, кухонных

работников, исключая здесь работающих за повара, равно как и всякого рода служанок, даже наших нянечек) секли солдаты!.. Это были солдаты небольшой команды, приставленной к институту как для его внешней охраны, так и для соблюдения внутреннего порядка.

…Госпожа Б., у которой была в служанках невольная героиня этой истории, согласно <своему> высокому положению классной инспектрисы, занимала квартиру в помещении самого института; для ведения домашнего хозяйства имела она право на услуги двух оплачиваемых институтом служанок (именно последнее обстоятельство сказало здесь свою роковую роль). Одной из этих служанок и была выпускница Воспитательного дома для сирот из народа Саша. В лицо я запомнила ее как прихожанку, почти непременную на службах в нашей институтской церкви, в то время как обо всех других обстоятельствах жизни этой, помнится, милой и вместе с тем, кажется, скромной девушки узнала я уже после всего случившегося…

Саше изъявлял свою симпатию унтер-офицер команды Иванов, и уже они были помолвлены, когда вдруг из письменного стола классной инспектрисы исчезло десять рублей…

Скорее всего, действительно, деньги таки пропали, но ей, госпоже Б., прежде чем столь решительно увериться в том, кто их взял, надо бы было вспомнить и то, что всем было известно о необыкновенных, поразивших своей трагикомичностью всех служащих института усилиях ее второй (гораздо более ею любимой служанки) по вхождению с унтер-офицером Ивановым в те же отношения, в какие он обещал вступить Саше. Впрочем, хозяйка Саши заявила, что если та даже успела эти десять рублей потратить, она их ей простит, но что она должна признаться…

Понятно, чего стоило бы Саше подобное признание в глазах того, кто уже вслух объявил ее своей будущей супругой! Напрасно Саша клялась всеми святыми (а я сама и отметила-то среди других эту девушку по выражению на ее лице той искренней убежденности, с какой она во время служб в нашем храме произносила вместе со всеми «Верую!..»), напрасно обещала отработать эти проклятые десять рублей, но что, однако, признаваться ей, Саше, не в чем. Инспектриса сама попросила начальницу нашего института прислать солдат с розгами и сказала Саше, что уже отдано распоряжение возглавить предстоящую экзекуцию унтер-офицеру Иванову!..

Обезумев от самой возможности такого позора, Саша кинулась по лестнице вверх… Уже на бегу ей, может быть, показалось, что крики сзади – это крики погони… Через слуховое

окно выскочила она на крышу…

Кто не знает величественной высоты здания Смольного института!.. Причем этот смертельный Сашин полет первой увидела (вскрикнула!) сама же хозяйка: она как раз в это время сидела у окна!

…Госпожа Б., мать трех молодых и уже отмеченных вниманием двора генералов, не была хотя бы уволена из института!

В то время, как именно что в паре с этим, здесь поведанным, заставил тогда, быть может, кое-кого задуматься (конечно, только не нас, институток) другой эпизод, произошедший по времени почти рядом с первым…

Ко времени выпуска из института графини К. семья ее не только разорилась, но все ее члены умерли. Эту молодую, прекрасно воспитанную девушку пригласило к себе в дом в качестве старшей компаньонки, а говоря проще – гувернантки своей юной дочери петербургское и тоже по-графски титулованное семейство. Но, увы, эта милая, еще мало знающая жизнь девушка повела себя здесь так, будто дом этот вовсе ей не чужой…

Получив свое первое месячное вознаграждение, графиня-гувернантка все его употребила на то, чтобы в как можно более выгодном свете предстать на балу, который в обычной для высшего общества очередности готовились дать в этом доме, как вдруг к вечеру графиня-хозяйка попросила ее перейти в комнату воспитанницы и переночевать вместе с нею. Сначала графиня-гувернантка даже не поняла хозяйку… Пришлось той терпеливо ей объяснить, что девочке-подростку, с одной стороны, еще не дается права быть на великосветском балу, с другой… что, оставшись одна, вряд ли она утерпит, чтобы не проникнуть в бальный зал и что, уж без сомнения, проведет она эту ночь без сна. Так не запирать же юную графиню на замок или приставлять к ней с приказом удерживать ее силой… простую служанку!

…Об «ужасном по своей оскорбительности положении», в котором вынуждена была всю эту ночь пребывать графиня К., а затем о том, с какими слезами она рассказывала об этом в институте своей бывшей классной инспектрисе, стало известно императрице. Тотчас в этот дом было послано лицо, которое, не входя с хозяевами в объяснения, увезло выпускницу-графиню, и даже говорили, что пошатнулась служебная карьера самого хозяина-графа! За судьбой же этой молодой графини императрица следила до тех пор, пока та не составила себе очень хорошую партию с князем В.

Разумеется, что в наше время классной инспектрисе госпоже

Б. смерть хотя бы и простой служанки просто так с рук не сошла бы; в то время как гувернантке, хотя бы и титулованной, резонно бы заметили, что при всем уважении к ее графскому титулу, брали ее на работу… и что в эту «бальную ночь» ей просто было необходимо, учитывая возраст своей воспитанницы, быть с той рядом.

Да, теперь, в наше время, в большинстве дворянских семейств прежнее сословное чванство уступает место воспитанию гуманности или, как принято теперь говорить, интеллигентности; и вот, кажется, уже даже члены семьи государя императора в проявлениях повседневной жизни сходят со своих «августейших высот», в частности, хорошо сейчас говорят о простоте и естественности поведения великих княжон.

И все же, однако, дворянство, теперь больше не претендуя на какие-либо юридические или гражданские преимущества по сравнению с другими сословиями (уже хотя бы, например, для того, чтобы сословие буржуа не могло использовать в своих целях сословное озлобление «унтер-офицеров Ивановых»), оно, наше отечественное дворянство, остается наиболее ответственной, культурной, в лучшем смысле этого слова наиболее интеллигентной частью общества. Больше того. Если мы, по примеру нашего Поэта (А.С.Пушкина. – *Прим. ред.*), дорожим памятью о предках, то нельзя и уйти от того факта, что история дворянских родов – это история Российского государства и не обязательно родов русских, как это всегда, хотя бы и на примере Смольного института, помнили наши монархи (потому-то и не соглашались с теориями уважаемого Ивана Аксакова и еще более ранних славянофилов). Ибо чувство долга перед государством, ответственность за его безопасность давно стали общими как для русских, так и для кабардинских, татарских, осетинских, малороссийских, валашских, грузинских, калмыцких и других дворянских родов. Именно это исторически, веками, и крепит наше общее отечество – Россию.

Кстати сказать, когда я в 1852 году оканчивала институт, в него были приняты несколько девочек из знатных семейств Казани и горских народов. Вспоминается, например, разговор о трудностях воспитания некой «княжны Чеченской…».

И как раз в этой связи хочется привести разговор, в котором недавно пришлось мне участвовать, – о возможности приема в институт девочек из тех знатных российских семей, в которых исповедуется мусульманство; это дворяне тюркского происхождения, которые не желают перехода своих дочерей в христианство (само по себе это явление говорит о том, что дворяне различных вероисповеданий осознают свою

историческую роль в Российской империи, но – отнюдь не в растворении этих своих исповеданий в ее основной религии, в православии).

– Я думаю, – высказала на этот счет свои соображения наша собеседница, одна из нынешних руководительниц Института, – что обучение девочек из семей тюрков дворян можно было бы только приветствовать, если бы эти девочки вели у нас тот образ жизни, для которого они родились.

Однако трудность здесь заключается даже не в том, что наш институт находится как бы при монастыре православном – в конце концов это при проявленной здесь воле государя императора можно было бы как-то и решить. Воспитываются же у нас и лютеранки, и католички – приезжают к нам и пастор и ксендз, и сами эти девочки выезжают по воскресеньям в кирхи и костелы…

Но если еще могут быть у всех воспитанниц нашего института общими профессора, то воспитательницами девочек из тюркских семей должны бы были быть женщины-мусульманки, причем такие, которые бы сочетали в себе как вполне искреннюю убежденность в своей религии и в первенствующей роли принятого этой религией образа жизни, так и, одновременно, в согласии с давними традициями нашего института, были бы открыты для европейской цивилизации… Найдутся ли в настоящее время у российских тюркских дворян женщины на такую именно роль?

Не могу утверждать наверное, но позволю себе смелость предположить, что как раз в связи с той женщиной, о которой я только что рассказала в этой истории, оборвана была служба эконома нашего института (впрочем, не имея явно никакого другого дохода, кроме жалованья, он, говорят, уже успел к этому времени составить многотысячное приданое обеим своим дочерям)…

Дело в том, что если младшие воспитательницы, обедающие вместе со своими воспитанницами, и все «рядовые» служащие института, также имеющие отношение лишь к той пище, которая равно готовилась и разве что только подавалась им отдельно, не имели и в мыслях своих претендовать на лучшее питание, чем дети «благородных родителей», то сами эти дети воспринимали бедноватое, если не скудное, свое питание как условие нашей «монастырской» жизни. Хотя (как поняли это мы, конечно, уже позже) средства на наше содержание отпускались достаточные.

И как раз через некоторое время после начала служения в институте этой женщины, о которой я здесь рассказываю, произошло событие, как говорят, «из ряда вон»… Разумеется, что

она сама не имела отношения к нашей пище, но, возможно, что именно по ее подсказке одна из ее дочерей, ставшая тогда фрейлиной, что-то о нашем питании сказала государыне…

…Государя в этот день никто в институт не ждал; как вдруг быстро разнесшаяся по всему Смольному весть о том, что он приехал и проследовал с внутреннего или, лучше сказать, с «черного входа» – и не куда-нибудь, а на кухню! – повергла одних в недоумение, других – в крайний испуг…

Уже впоследствии нам стало известно, что государь, подойдя к котлу, в котором только что был сварен рыбный суп, точнее, уха, опустил в котел ложку, попробовал довольно жидкое варево и сказал:

– Даже дешевой такой рыбы пожалели… Ну, а теперь, что на второе? Н-да… Моих солдат лучше кормят!

Нет сомнения в том, что эконом, в волнении на первых порах уже было поспешивший в столовую, однако оповещенный на пороге об этом мнении государя, именно потому и потерял сразу все силы и решимость для какого-то… хотя бы на шаг передвижения.

…От расследования… спас эконома случай, вполне в общем-то обычный в нашей институтской жизни, однако, на счастье «бедного» эконома, совпавший по времени с этим злосчастным случаем.

Именно в тот час мы готовились к поездке в Екатерининский институт на выпуск его воспитанниц, куда обыкновенно возили сразу от тридцати до сорока смолянок (представительниц всех дортуаров «белого» (старшего) класса), для чего двор присылал нам свои экипажи.

В силу особенных забот о внешней «приятности во всех отношениях» нам заказаны были к этому дню белые кисейные платья, сделана вступившая тогда «в силу» очередная модная прическа и куплены были для всех на казенный счет большие серьги из белых бус в золотой оправе.

Легко понять, что такой довольно изысканный туалет очень шел к нашим лицам и что цветник молодых девушек, одетых в бальные туалеты, представлял собою привлекательную картину, – об этом наша инспектриса сразу же догадалась. Мы как раз готовились к обеду, как вдруг всех назначенных на поездку в Екатерининский институт загнали в рекреационный зал и начали торопливо наряжать в бальные туалеты.

И мы все, ничего не понимая, «парадировали» в этом именно туалете в столовую (там было по-зимнему отнюдь не тепло, а мы явились в платьях, предназначенных для хорошо отапливаемого бального помещения – кисейных, с открытыми воротами и

короткими рукавами). Всех нас, «парадных», поставили вперед, нарушив этим обычный порядок занимаемых нами в столовой мест, и мы, не садясь за столы, ожидали появления государя.

Он вышел из кухни мрачнее тучи, холодно поздоровался с наскоро приехавшим попечителем института герцогом Ольденбургским (того бросились из Зимнего оповестить, когда Николай Павлович, уже перед выездом, сообщил императрице о предстоящем ему маршруте).

– Так где же эконом? Почему он не является? – громко сказал государь. Он, как мы узнали об этом впоследствии, уже допросил старшего повара о представляемых тому продуктах…

Но в эту минуту инспектриса нашего класса вдруг выступила вперед, сделала реверанс так, как никогда, может быть, ей лучше не удавалось, и ловким образом обратила внимание государя на наш «парад». В то время как мы стояли, совершенно тогда еще не понимая причины его появления именно из кухни…

Государь взглянул на нас, удивленно поднял бровь и, обращаясь ко мне, как к ближе всех стоявшей из «парадных», спросил:

– Боже мой!.. Что это вы так вдруг разрядились? – А я, наверное, уже тогда, была настроена против скучной «натуры» как в жизни, так и в литературе… Я поклонилась и ответила:

– Мы примеривали платья. Не хотели лишиться счастья видеть Ваше императорское величество и прибежали, как были…

Государь улыбнулся, поклонился нам (ведь прибежали к нему навстречу «как были» – столько сразу молодых красавиц) и сказал:

– Нижайшее вам за это спасибо!

Затем, уже на французском языке, он стал шутить с нами, спрашивал, кто из нас его «обожает», а на наше молчание, смеясь, заметил:

– Что это? Неужели никто? Как вам не стыдно!.. Всех, даже, наверное, дьячка из своего церковного причта обожаете, а меня – никто?.. – Несколько успокоенный, государь улыбался нам уже почти весело.

В эту минуту дано было знать злосчастному эконому, что он может появиться. Тот вошел бледный и трепещущий. Герцог Ольденбургский дал ему знак приблизиться к Его Величеству. Эконом еще сильнее побледнел, и опять с ним случилась эта невозможность даже и переступить…

Государь издали взглянул на него и сдвинул брови. Кто когда-нибудь видел императора Николая в минуты гнева, тот, конечно, знает силу и мощь этого исторического взгляда: в эту, такую именно минуту, эконом зашатался…

– Ты эконом? – громко прозвучал голос императора. – Впрочем, ты уже… не эконом! Однако скажи, как ты мог?..

Теперь уже бывший, эконом не в состоянии был отвечать: он вдруг понял, в каком качестве предстанет он теперь в своем будущем…

И в следующую минуту оно, это будущее, грозно бы определилось (уголовное расследование явилось бы для эконома первым его «этапом»); но тут опять поспела наша ловкая инспектриса и начала что-то сладко напевать относительно подаренного нам императрицей бального туалета и того, как мы все «признательны Вашему и Ее Величествам»!

…Нарушены были на этот раз все порядки: вместо обычного обеда срочно приготовили нам какие-то закуски (были обещаны конфеты, которые на другой день и были присланы), и мы все – нарядной, цветущей своей молодостью волной, не замечая холода, прошли в швейцарскую провожать государя.

Вдруг вспомнились сейчас еще две из моих одноклассниц, имена которых по тем же «светским» соображениям называть не стану: красавица Л. из семьи представителя исторически известного всей России рода (однако обнищавшей настолько, что из офицеров одного из полков столичной гвардии уехал он служить главой полиции в одну из сибирских губерний) и Катенька Н., дочь черниговского столбового дворянина-однодворца. Вернее же, вспомнились забавные и одновременно несколько грустные обстоятельства последних дней нашего пребывания в Смольном институте…

Наш императорский экзамен, за которым обыкновенно следовал форменный бал, был на этот раз назначен не в Зимнем дворце, а в Аничковом.

Экзамен сошел удачно, солистки пели очень мило, а за объединенный хор нашего класса не боялся никто!

По окончании характерных танцев последовала раздача наград, которые императрица сама вручала воспитанницам, и затем, удалившись ненадолго и предоставив нам в ее отсутствие напиться чаю, она вернулась в бальном туалете, в бриллиантах и – разрешила великим князьям открыть бал…

Приглашения на все легкие танцы предоставлялись личному выбору наших августейших кавалеров (и уж остальных из нас приглашали члены императорской свиты, а также и иностранные принцы: их в те времена, до Крымской войны, всегда много «сияло-кормилось» в Санкт-Петербурге).

Что же касается разнообразных кадрилей, то они входили в «церемониал», то есть: первую кадриль старший по возрасту из великих князей (но не цесаревич) должен был танцевать с

воспитанницей, получившей на экзаменах первый шифр, следующий великий князь – со «вторым шифром» и так далее; иностранные принцы и чины императорской свиты следовали за ними (сам же государь и наследник-цесаревич в этом «светском разборе» не участвовали). Бал открывался вальсом, в течение которого великий князь Николай Николаевич (тогда он был еще совсем молод и это только потом, в отличие уже от его ныне здравствующего сына, великого князя Николая Николаевича, стали называть «старшим»…) почти не отходил от красавицы Л., не получившей при ее слишком скромных успехах в науках никакой награды и потому в «танцевальный церемониал» не вошедшей вовсе (впрочем, в других танцах она кавалерами не была обойдена отнюдь). Старшим из танцующих великих князей в то время был Константин Николаевич.

Состоялась и первая кадриль… Великие князья протанцевали ее по указанию церемониймейстера, и затем, после следовавшей за нею польки-мазурки, оркестр проиграл ритурнель второй кадрили, которую великий князь Николай Николаевич должен был танцевать с воспитанницей, удостоенной почетного второго шифра, но замечательно некрасивой особой. Она, предупрежденная о том, что танцует с великим князем Николаем Николаевичем, сидит и ждет своего августейшего кавалера. Никто другой ее, конечно, не приглашает, а между тем все другие воспитанницы уже приглашены, уже стоят в парах… Бедная «почетная шифристка» сидит и чуть не плачет. Кадрили этой, однако, не начинают, ждут Его высочества…

Государь видит замешательство и окидывает залу пристальным взглядом. Наконец вдали, в одном из задних каре, видит он великого князя Николая Николаевича с красавицей Л., которой тот что-то нашептывает и которая ему улыбается…

Последний выпуск воспитанниц Смольного института. 1917 г.

Государь сдвигает брови и подзывает наследника (будущего императора Александра II). Выслушав отца, Александр Николаевич моментально отстегивает саблю и, подойдя к обойденной «шифристке», приглашает ее на кадриль. Та встает растерянная, потрясенная вдруг столь неожиданным своим торжеством: танцевать с цесаревичем!..

По окончании кадрили наследник доводит свою торжествующую даму до ее прежнего места, а подозванный к государю великий князь Николай Николаевич, наоборот, с убитым видом надевает оружие, что означает: танцевать он больше не смеет, и садится сзади императрицы-матери. Та качает головой и в ответ на его объяснения ей разводит руками. Явно, что танцевать сегодня государь ему больше не разрешает… И лишь когда прошла добрая треть всего бала, императрица, видимо, упросила своего супруга разрешить их сыну продолжить танцевать. Один миг – и великий князь вновь подле красавицы Л., опять он нашептывает ей объяснения…

Все это было так молодо, так безобидно, так свежо той первой свежестью минутного нового увлечения, что и сердиться на это было нельзя.

После выпитого за ужином «за наше здоровье» шампанского поданы были громадные подносы с лежавшими на них красивыми

и богатыми бонбоньерками с гостинцами, которые раздали нам сами великие князья. После чего их величества и Его Высочество цесаревич простились с нами.

Мы встали из-за стола около двенадцати ночи и все-таки, по настоятельной просьбе великих князей, Николая Николаевича и Михаила Николаевича, танцы возобновились – и окончились, наконец, замечательно долго длившейся, очень оживленной мазуркой.

С последним раздавшимся аккордом все как-то вздрогнули, точно будто какая-то связь с прошлым порвалась – и на всех нас повеяло чем-то неведомым…

А красавица Л. потом в дортуаре горько плакала, пресерьезно упрекая своего отца, переведшегося на службу в Сибирь, за то, что «благодаря» такой его оплошности она лишена возможности в течение всей своей жизни танцевать с великими князьями.

В ту ночь угомонились мы лишь перед самым утром: изъяснениям восторга, печали и других наших девичьих переживаний, казалось, не будет конца.

Между прочим, помнится, почти все мы тогда сожалели, что не мог быть приглашен на императорский бал двоюродный брат одной из нас – Г.П. Данилевский, тогда еще студент, а впоследствии ставший известным литератором. Он так хорошо, нет, просто прекрасно танцевал, был столь очаровательным кавалером, что мы душевно всегда соучаствовали во всех перипетиях его жизни. Например, когда он, собственно, удостоился чести облачиться в студенческий мундир, многие из нас целую неделю носили на руке бантики из синего с золотыми полосками бархата…

В день выпуска мы прошли в церковь и в последний раз разместились на клиросе, чтобы пропеть молебен; но петь не смогли, горло сжимало от слез.

По окончании молебна отец Красноцветов обратился к нам:

– С Богом! В новую для вас, широкую уже… дорогу; счастливо подниматься на новые жизненные ступени… Благослови вас Господи!.. Прощайте! – и, еле сам сдерживая слезы, удалился в алтарь.

«Дорога в жизнь» сразу же оказалась слишком широкой – и уже у самого институтского порога (на дворе стоял холодный в том году март) резко обозначались эти самые «жизненные ступени»…

У подъезда ожидали нас всех, но экипажи разнились так же, как и наша, увы, уже не форменная, из скромного камлота, одежда. Одних из нас раззолоченные ливрейные лакеи облачали в соболя, другим подавались меха подешевле (рыжие лисьи или

сурковые и даже заячьи). Катеньке Н. помогли надеть простенькое, на вате, пальто, купленное на выходное пособие, и подали платок…

К ее-то, Катеньки, выпуску из института и пришел пешком из Черниговской губернии упомянутый выше дворянин-однодворец, по одежде и внешности своей уже совсем обычный крестьянин. К тому же за все эти долгие годы учения Катеньки в Петербурге он, отец ее, ослеп, и теперь дрожащими от волнения руками обнял он ее и в растерянности все целовал, целовал ее, плачущую от жалости и к нему и… к самой себе.

Еще раньше нам стало известно, какие принес он дочери подарки: этот вязанный из толстых шерстяных ниток платок от ее старшего, уже давно семейного брата (его-то сын и стал поводырем слепого на долгом пути в Петербург) и – несколько аршин красного ситца (чтобы сшила она себе «столичное платье») прислала мать…

На последние дни пребывания дочери в столице слепой дворянин-однодворец снял для нее номер в дешевой, где-то на окраине города, гостинице, рядом с ночлежным домом, в котором он с внуком ночевал сам. Этот вполне тоже крестьянского обличья мальчик и вывел их обоих, деда и тетку, на подъезд института… И уже было направил к ним свою повозку заранее сговоренный извозчик, как вдруг, загородив дорогу ему, «ваньке» (то есть извозчику даже и не «столичному», а «шатучему по городу»), подкатила роскошная, четверней вороных, карета.

Обдав из-под соболей эту «дворянскую» семью горделивым взглядом, прошла к карете выпускница Александровской («Мещанской») половины института… То есть этой выпускнице полагалось бы садиться в экипаж на подъезде именно своей, Александровской «половины», но она, дочь известного своими миллионами фабриканта, хотя бы под конец брала теперь верх над аристократками-николаевками.

Слава Богу, уже на другой день о предстоящем Катеньке Н. «будущем»… стало известно императрице – и молодая девушка была возвращена в Смольный институт в качестве учительницы рукоделия.

Вера Николаевна Фигнер *(1852–1942)*

Вера Николаевна Фигнер (по мужу Филиппова; 25 июня (7 июля) 1852, деревня Никифорово, Тетюшский уезд, Казанская губерния – 15 июня 1942, Москва) – российская революционерка, член Исполнительного комитета «Народной воли», позднее эсерка.

Родилась в 1852 г. в дворянском семействе в Казанской губернии; окончила курс Казанского института для благородных девиц; в 1870 г. вышла замуж за судебного следователя Филиппова, в 1871 г. уехала вместе с ним за границу и поступила в Цюрихе на медицинский факультет; в 1873 г., когда русское правительство потребовало от русских учащихся в Цюрихе немедленного возвращения на Родину, под страхом вечного изгнания из России, уехала в Берн. Одновременно с этим произошел ее разрыв с мужем; дело скоро кончилось формальным разводом. В 1875 г. была арестована сестра Веры Фигнер, Лидия.

Вера Фигнер вернулась в Россию, чтобы продолжать начатую ее сестрой пропаганду. В декабре 1876 г. она принимала участие в революционной демонстрации на Казанской площади в Санкт-Петербурге. Около этого времени она вступила в революционный кружок народников, уцелевший от полицейского разгрома в 1874 г. и известный под шутливым прозвищем троглодитов; он старался организовать дело социалистической пропаганды в крестьянстве. Вместе с сестрой Евгенией Вера Фигнер поселилась в деревне Самарской губернии в качестве земской фельдшерицы, но вскоре оставила место вследствие преследований, вернулась в Санкт-Петербург и принимала деятельное участие в организации партии «Земля и Воля». Летом 1878 г. она опять начала работать в деревне в качестве земской фельдшерицы и приобрела большую популярность среди крестьян. После покушения 2 апреля 1879 г. Вере Фигнер грозил арест, и она принуждена была скрыться и перейти на нелегальное положение. Когда в партии «Земля и Воля» началась борьба между старым народническим течением и новым – народовольческим, Вера Фигнер стала одной из наиболее влиятельных сторонниц последнего и приняла деятельное участие в исполнительном комитете партии Народной Воли; вместе с тем она вела пропаганду в кругах рабочих, студенческих и друг. Она имела близкие знакомства в литературных кругах Петербурга; Н. К. Михайловский поддерживал с ней дружеские отношения и в воспоминаниях своих (напечатанных после его

смерти в» Революционной России») отзывался о ней как о человеке исключительной духовной силы. В феврале 1883 г. Фигнер была арестована; в тоже время был уничтожен исполнительный комитет Народной Воли. В 1884 г. она судилась по процессу 14 в военно-окружном суде и приговорена к смертной казни, но помилована и заключена в Шлиссельбургскую крепость, где и отсидела 20 лет в крайне тяжелых условиях. В Шлиссельбурге она начала писать стихотворения; некоторые из них удалось переслать друзьям, и они были напечатаны в «Ниве» (при выборе журнала имелось в виду, что «Нива» проникает в Шлиссельбург, и автор может увидеть свое произведение в печати). В 1904 г., на основании амнистии, Фигнер была освобождена и поселена в Архангельской губернии, в 1905 г. переведена на Родину в Казанскую губернию, а в 1906 г. отпущена за границу. В 1906 г. она издала сборник стихотворений и напечатала рассказ «Моя няня», а также ряд биографических статей о своих товарищах по шлиссельбургскому заключению в сборнике «Галерея шлиссельбургских узников» (часть I, СПб., 1907).

Запечатленный труд
Избранные главы

Институт

Я поступила в институт в 1863 году. Разлука с родными, с деревней – это было уже Никифорово, к которому я еще не привыкла, – мне не была тягостна, и, попав в целый рой девочек, я быстро освоилась с новой средой и новым порядком дисциплинированной жизни.

Моими первыми классными дамами были Марья Степановна Чернявская и m-lle Фурнье, совершенно непохожие друг на друга. Марья Степановна была прелестна. Некрасивая лицом, скроенным по-мужски, изуродованная большим горбом на спине, она была очаровательна в обращении; ее низкий грудной голос просился в душу, а ласковый взгляд серых глаз и улыбка сразу вызывали доверие. Она была молодая, румяная шатенка, довольно полная, имела пухлые теплые ручки и вся была какая-то мягкая и теплая: в ней было что-то материнское, вероятно это и влекло к ней всех нас. По характеру она не была рыхлой, бесцветной; за ее мягкостью чувствовалась и твердость, когда нужно было проявить ее, – без этого она не пользовалась бы уважением, а мы не только любили, но и уважали ее. Этому способствовало и то, что она обладала знаниями, и в затруднительных случаях у нее всегда можно было найти нужную помощь. Классных дам, у которых в этом отношении не было отчетливости, в институте обыкновенно презирали.

Совершенно иной тип представляла из себя другая дама – Фурнье, или Фурка, как в детской злобе мы звали ее между собой. Старая, высохшая дева, черноглазая, с желтым, мертвенно-неподвижным лицом иностранного типа, она была противна со своими прилизанными начесами черных волос и ревматическими, узловатыми пальцами некрасивых рук, всегда вымазанных йодом. И голос соответственно фигуре этой мумии был у нее сухой, лишенный гармоничности и интонаций. Казалось, не только тело, но и душа ее высохла и превратилась в пергамент. Кроме формализма, от этой педантки мы ничего не видали и не могли ждать. В учебных занятиях помощи от нее мы не получали, но ущерб, и очень большой, она нам наносила, потому что все часы, свободные от уроков, заполняла французской диктовкой, в которой мы не видали никакого смысла.

Протест

Как внешние, так и внутренние качества делали Фурнье для нас неприемлемой, и когда мы перешли в V класс, то стали думать, как бы от нее избавиться. Первая попытка в этом направлении была довольно наивного свойства. Кто-то из воспитанниц написал на классной доске лаконическое воззвание: «Просим вас оставить нас». Мы надеялись, что Фурка обратит внимание на надпись, прочтет и поймет, к кому относится обращение. Но она и не подумала посмотреть на доску.

Тогда одна из девочек, Иконникова, написала ту же фразу на клочке бумаги и, поставив подпись: «Весь V класс», положила на стол, у которого сидела Фурнье. Долгое время бумажка, обошедшая раньше все скамьи и нигде не встретившая протеста, оставалась незамеченной. Наконец Фурнье увидала ее и прочла.

«Что это значит? – спросила она, поднимаясь с места. – Кто положил эту записку?» – раза два повторила она вопрос. Мы молчали. Тогда она вышла из класса с запиской в руках и отнесла ее начальнице.

Начальницей института была Сусанна Александровна Мертваго, старая, серьезная и добрая дама, ценившая в воспитанницах только ум и способности. При ней институтские нравы совершенно изменились: ложный светский блеск, господствовавший при ее предшественнице Загоскиной, исчез. Та отличала хорошеньких, имела фавориток и держала салон, в котором ее любимицы из старших классов обучались на практике «хорошим манерам» и светской болтовне. При Сусанне Александровне культ красоты и грации прекратился; институтки перестали заниматься наружностью и выходили из учебного заведения почти пуританками.

Сусанна Александровна вошла красная, с головой, трясущейся от волнения. «Кто написал и положил записку на стол?» – повторила она вопрос Фурнье. Но мы продолжали упорно молчать. «Чем же вы недовольны?» – спросила она наконец. Мы, 12-летние девочки, не знали, что сказать, не умели формулировать то гнетущее настроение, которое вызывала сухость Фурнье, и едва могли пролепетать, что Фурнье мучает нас диктантом. «Кто же написал записку?» – продолжала настаивать Мертваго.

Мы не сговорились, как вести себя. Все произошло экспромтом, и теперь мы осрамились. В задних рядах сгрудившейся толпы произошло замешательство, послышался шепот: «Скажи!.. Скажи!..». Иконникова выступила вперед и заявила, что записку написала и положила она.

«Пойдем», – сказала Сусанна Александровна и увела ее с собой.

Что будет?! – перепугались мы. Иконникову исключат! – было общей мыслью, и было стыдно, что пострадает одна она.

Однако дело кончилось благополучно. Иконникову, которая, говоря вообще, ничем не выдавалась и училась плохо, продержали в больнице три дня и затем, к облегчению нашей совести, вернули в класс. Но за поведение ей поставили ноль, а всем остальным вместо 12 – по девятке.

О Фурнье нам сказали, что она заболела; временно ее заместила другая классная дама, а потом ее перевели в младший, седьмой класс и прикрепили к нему навсегда, тогда как обыкновенно классные дамы вели свой класс от начала и до выпуска.

Я была в последнем, «голубом» классе, когда память об изгнании Фурнье была еще жива, и маленькие «корешки», так же искренне ненавидевшие Фурку, как в свое время не терпели ее мы, приставали к нам, прося научить, как избавиться от нее.

Мы смеялись и замалчивали свой секрет.

Что мы избавились от Фурнье, было хорошо, но велико было горе, что наряду с этим мы потеряли и любимую Марью Степановну. Ее уволили из института: мы любили ее, и этого было достаточно, чтоб Фурнье изобразила ее как вдохновительницу нашего протеста, хотя она и не подозревала о нашем замысле.

П. А. Черноусова

После временных заместительниц с начала следующего учебного года, когда по цвету платья мы стали называться «зелеными», нашими классными дамами стали Анна Ивановна Бравина и Прасковья Александровна Черноусова. Они, подобно Чернявской и Фурнье, были совершенно не похожи друг на друга. Бравина, девушка лет 30, высокая, очень близорукая, некрасивая блондинка, потерявшая свежесть молодости, была добрая, но неумная и бесхарактерная. Ее знания были сомнительны, так что и с этой стороны она не была в наших глазах авторитетна; мы в грош не ставили ее, не слушались, и вне уроков в ее дежурство в классе царили шум и беспорядок. В противоположность ей Черноусова, старше ее годами, была изящная в своей болезненной худобе, умная, энергичная брюнетка с правильными чертами лица и маленькими тонкими руками; она прекрасно владела языками, особенно немецким. Ими занималась она с нами помимо учителей, очень бездарных, и была очень полезна, тогда как

занятия с Бравиной только тяготили нас. Мы сразу поняли и сделали расценку их обеих, и Черноусова с начала и до конца пользовалась нашим полным уважением.

С IV класса я потеряла первенство: привыкнув, что все дается мне легко, я перестала учиться и спустилась на 3-е, а в следующем году, кажется, даже на 4-е место. После, когда мне минуло 15 лет, я опомнилась: до выпуска оставалось два года. Если б я осталась по-прежнему небрежной, то не получила бы шифра. В то время я уж не думала о том, чтоб попасть в придворные фрейлины, но учителя, в особенности преподаватели литературы, истории и географии, так отличили меня, что я прекрасно понимала, что первое место должно принадлежать мне, и если шифр дается первой, то он должен быть дан мне.

Ни дома на каникулах, ни в институте никто никогда мне не внушал, что надо быть прилежной. Только раз, когда в V классе я получила по русскому языку единицу, Сусанна Александровна подошла ко мне, взяла за руку и со словами: «Ты получила единицу, – значит, больна» – отвела меня на сутки в больницу. Там меня уложили в постель, и смотрительница Аносова с громадным носом, за который мы ее не любили, держала меня на диете и отпаивала липовым цветом, который с тех пор я возненавидела.

Обдумав ввиду приближения выпуска свое положение, я решила учиться. Но тут явилось осложнение – Черноусова постоянно сбавляла мне баллы за поведение, а в институтах, известное дело, поведение ценится выше всего: если в течение двух последних лет ученица не имеет за все месяцы 12, при выпуске она лишается какой бы то ни было награды, а у меня постоянно было 11. Это происходило оттого, что между Черноусовой и мной беспрестанно происходили мелкие недоразумения. Сначала она ко мне благоволила, выказывала даже пристрастие, которое коробило меня, так как было несправедливостью по отношению к другим, а дома благодаря отношению родителей к детям во мне развилось чувство равенства и потребность в нем. Когда я шалила, все сходило мне с рук: «Фигнер – живая девочка», – оправдывала меня Черноусова. «Она настоящая ртуть!» – говорила она, и этим дело кончалось. Но я была не только шалунья, но и задира, легко подмечавшая слабые стороны других. Жертвой моих насмешек бывала моя соседка по парте – добрая, хорошо учившаяся Рудановская, с которой я дружила. Тем не менее, случалось, я доводила ее до слез. Тогда Черноусова, вместо того чтоб пристыдить меня, говорила ей в утешение: «Ну, что тут обижаться! Фигнер – прямая девочка: у нее что на уме, то и на языке!».

Однако добрые отношения с Черноусовой с течением времени прекратились: начались придирки с ее стороны и столкновения. За два года до выпуска случилось, что Черноусова по совершенно непонятному поводу сказала: «Фигнер служит и нашим, и вашим». Я рассердилась и ответила такой же необоснованной и несправедливой фразой: «Вы судите по себе». Это был полный разрыв: она пожаловалась, и в присутствии всех учениц я получила от Сусанны Александровны выговор за дерзость.

Сестры Вера и Лидия Фигнер

Смешно сказать, но при институтских нравах, – быть может, в этом была и правда – подруги уверяли, что Черноусова меня ревнует к воспитаннице старших классов Ольге Сидоровой, которую, по институтскому выражению, я обожала. Сидорова, дочь знакомого и сослуживца моего отца, отличалась

замечательной красотой и феноменальной памятью. Она училась превосходно, но, хотя целой головой была выше своих одноклассниц, первых наград ей не давали. Она была на дурном счету у начальства, потому что во всем заведении одна была затронута новыми веяниями. Начитавшись Писарева, о котором никто из нас не слыхал, она увлекалась естествознанием и после смерти Писарева говорила, что он умер не случайно, а правительство утопило его за его сочинения. На вакатах она читала «Колокол»[147], который получал ее отец, хранивший, как она говорила, это издание под тюфяком, а батюшке на исповеди – неслыханное дело! – напрямик заявила, что в бога не верит.

Сидорова была на два класса старше меня, и то, что она говорила мне о Герцене, Писареве и правительстве, было выше моего понимания, нисколько не затрагивало и не интересовало. Но мне нравилось ходить с ней вечером по коридору, угождать ей, любоваться ею. Из ревности ко всем, кому она оказывала внимание, я делала много глупостей и неприятностей самой Сидоровой, но в моем отношении к ней было и серьезное чувство, влечение к оригинальной и выдающейся личности. Когда она вышла из института, два года мы переписывались. Быть может, ей не с кем было поделиться мыслями, и в письмах она поверяла мне интимные подробности своей жизни. Она хотела учиться; изучение природы влекло ее, а родители втягивали ее в светскую жизнь. Недовольная окружающей средой, она блистала в Самаре на балах и не могла, не решалась порвать с родными и перестроить свою жизнь. За ней ухаживал между другими один из Жемчужниковых, не знаю, поэт или его брат. Нисколько не увлекаясь им, она все же дала согласие выйти за него замуж.

Брак, однако, не состоялся: Сидорова простудилась на балу, быть может умышленно, схватила воспаление легких и умерла, когда ей было 19 лет. Ее интересные письма и фотографии затерялись в деревне во время моего заключения в Шлиссельбурге.

Так или иначе за увлечение личностью Сидоровой или по другой причине, но почти три года Черноусова ссорилась со мной, а потом совершенно неожиданно однажды пригласила к себе и сказала: «Я устала бороться с вами за влияние на класс. Будем жить в мире». Эти слова так удивили меня, что я не нашлась, что отвечать: я не сознавала, что между нами идет борьба, да еще за влияние на класс! И это говорила умная, твердая Черноусова мне, которая была девчонкой в сравнении с ней.

После этого объяснения Черноусова переправила мне баллы за все истекшее время и потом, хотя мое поведение ничуть не

изменилось, всегда ставила 12. Исполняя свое решение, последние два года я относилась внимательно к урокам, опять стала первой и при выпуске получила золотой шифр, о котором мечтала в детстве.

На совете, когда присуждались награды, Черноусова настаивала, однако, чтоб шифр был присужден не мне, а Кротковой, моей большой приятельнице, хорошей, тихой девушке, фамилия которой соответствовала ее характеру. Но учителя отстояли мое первенство.

Итоги

Что дало мне шестилетнее пребывание в институте? Культурную выправку; и, как во всяком закрытом учебном заведении, совместная жизнь со многими, находящимися в одинаковом положении, развила во мне чувство товарищества, потребность в нем, а правильный ход учения и твердый распорядок дня приучили к известного рода дисциплине. Если до школы я училась охотно, то институт воспитал вдобавок привычку к умственной работе. Но в смысле научного знания и в особенности умственного развития эти учебные годы не только дали очень мало, они задерживали мой духовный рост, не говоря уже о том вреде, который приносила неестественная изоляция от жизни и людей.

В общем, состав институтских учителей был неудовлетворителен. Лучшим был профессор духовной академии Порфирьев, читавший русскую словесность и иностранную литературу. Курс литературы Порфирьева был очень хорош, но доходил лишь до 40-х годов. По русской литературе нам не говорили ни о Белинском, ни тем более о последующих критиках, не говорили даже и о современных беллетристах. С Тургеневым мы были знакомы только по рассказу «Муму», который был дан однажды для разбора.

По истории профессор той же духовной академии Знаменский целый год держал нас на сухой мифологии греков и римлян и на истории Персии и Вавилона. А средней и новой истории нас учили по Иловайскому[148].

В старших классах хорошим преподавателем географии был Книзе; о других учителях не стоит упоминать. Достаточно сказать, что Левандовский, читавший зоологию и ботанику, не показал нам ни скелета, ни хотя бы чучела какого-нибудь животного и ни одного растения. Ни разу мы не заглянули в микроскоп и не имели ни малейшего понятия о клетке и тканях.

Правда, Чернявский и Сапожников, преподававшие первый

физику, второй минералогию, могли бы научить нас кое-чему, но в их распоряжении в течение года был один час в неделю, и курс был до смешного мал.

Зато четыре года нас морили над чистописанием. Семь лет учили рисованию, причем за все время никто не обнаружил намека хотя бы на крошечное дарование; учителя рисования мы не уважали: он не умел приохотить к занятиям; на уроке у него никто ничего не делал, но все получали 12.

Пение и музыка были необязательны, за них была особая плата, и занятия ими зависели от воли родителей.

По окончании классов вечером шло приготовление уроков на завтра, и много времени уходило у одних на составление, а у других на переписывание записок по разным предметам. Учебников (кроме Иловайского) совсем не было. Мы учились со слов учителей, но каким образом? Две-три лучшие ученицы были обязаны поспешно, со всевозможными сокращениями записывать то, что рассказывает учитель. Потом, сравнивая записи, дополняя пропуски, мы сидели, недоумевая над тем, что означают те или другие первые буквы недописанного слова, и с великим напряжением памяти и соображения составляли общий текст, который остальные девочки должны были каждая для себя переписать в тетрадь.

Прибавьте, что священник давал толстую тетрадь «Литургия» и другую – «Христианские обязанности», которые тоже мы должны были переписывать.

История, русская и иностранная литература, ботаника, зоология, физика, минералогия, педагогика – все было писанное и большей частью составленное самими ученицами.

Можно себе представить, как мы были перегружены этим совершенно ненужным писанием и переписыванием. Мы имели роздых только во время перемен, из которых одна продолжалась час, другая – два часа. Признаться, нам и шалить было некогда.

Летом мы иногда гуляли в институтском саду со старой липовой аллеей и оврагом, в который боялись заглянуть, а зимой нас выводили на воздух раза два: для зимы не существовало теплой одежды, и мы надевали довольно легкие капотики на вате. Физических упражнений – если не считать одного часа танцев в неделю – мы совсем не имели и росли хрупкими, малокровными созданиями.

Но если о физическом развитии девочек в институте не заботились, то что сказать о моральном воспитании, о приготовлении к жизни? Этого воспитания совсем не было. Ни о каких обязанностях по отношению к себе, к семье, к обществу и родине мы не слыхивали – никто нам никогда не говорил о них.

Чтение в институте не поощрялось. О необходимости его во все годы никто не обмолвился ни единым словом. Из моих одноклассниц, кроме меня и трех-четырех девочек, никто не брал в руки ничего, кроме учебных тетрадей.

Вечером, когда очередная работа была сделана, украдкой я поднимала доску пюпитра: за ней от глаз классной дамы скрывалась книга.

Не удовлетворяясь этим, я читала ночью и в этом во всем институте была единственной. Свеч не полагалось; в обширном дортуаре теплился скудный ночник – сальная свечка, опущенная в высокий медный сосуд с водой. Но в углу комнаты, где спали три старших класса, стоял столик с образом Христа, и перед ним нашим усердием зажигалась лампада; масло для нее мы покупали на свои гроши, а когда их не хватало, я заменяла его касторкой.

По ночам дежурила сердитая-пресердитая Мария Григорьевна, маленькая, худенькая старушка в черном чепце и платье, с огненными, черными глазами и следами большой красоты на правильном лице. Замаливала ли она грехи молодости или от роду была набожная, только по целым часам она молилась в комнате, где стояла ее кровать дежурной. Пользуясь религиозностью маленькой мегеры, я отправлялась к нашему угловому столику и, став на колени, погружалась в чтение.

Время от времени Мария Григорьевна прерывала моление и делала обход всех дортуаров. Заслышав ее кошачьи шаги, я принималась класть земные поклоны и не переставала, пока чувствовала, что она стоит за моей спиной. А она постоит-постоит и уйдет, видя, что поклонам конца нет; тогда я вновь принимаюсь за книгу, спрятанную под стол.

Читала я большею частью английские романы, которые добывали мои лучшие подруги Рудановская и Кроткова от родных, которые жили в Казани.

В институте существовала, однако, библиотека, но книг из нее мы в глаза не видали: они хранились в шкафу, ключ от которого был у инспектора Ковальского, декана университета, который редко заглядывал в институт. Лишь раз Черноусова дала мне том Белинского, взятый из этого книгохранилища. Но я совершенно не привыкла к серьезному чтению; к тому же этот том заключал статьи о театре, об игре Мочалова в роли Гамлета, а я вплоть до выпуска не бывала в театре. Не удивительно, что статьи не заинтересовали меня; я читала только романы и повести, и за все шесть лет института ни одна серьезная книга не попадала мне в руки, кроме этого тома Белинского.

Литературные влияния

В эти годы всем умственным развитием своим я была обязана чтению, которому отдавалась во время вакатов по указанию матери. Но, сидя в деревне весь день за книгой, я поглощала, как и в институте, только романы, повести и рассказы, правда, лучшие из того, что помещалось тогда в толстых журналах. Серьезных статей мать мне не предлагала. Таким образом, мое чтение было односторонне – оно било исключительно на чувства. Два последних года института не было и этого чтения – на вакаты старших девочек не пускали: боялись тлетворных влияний.

Мне было 12 лет, когда мать дала мне небольшую повесть давно забытого, да и в свое время малоизвестного писателя Феоктиста Толстого «Болезни воли». Я прочла и пришла в недоумение: почему автор дал повести такое странное название? Почему он назвал болезнью стремление героя к правде, его отвращение ко лжи, сделавшееся источником его страданий и несчастий, разрыва с другом, с родными и, наконец, с любимой девушкой? Он поступал так, как следует, думала я. Где же «болезнь воли»? Я пошла к матери со своим недоумением. А мать объяснила, что, конечно, всегда надо говорить правду и требовать ее от других. Но в незначительных случаях относиться к отклонениям от правды так строго, как относился молодой человек в рассказе, нельзя. Нельзя порывать отношений, если люди дозволяют себе ничтожную, невинную ложь, иначе человек рискует остаться одиноким и сделаться несчастным, как сделался несчастным герой Толстого; его чрезмерная правдивость приняла уже, по словам матери, размеры болезни. Это объяснение уронило мать в моих глазах: я отошла неудовлетворенной и огорченной.

Год спустя дядя Куприянов позволил мне взять в институт два толстых тома журнала, в котором печатались романы Шпильгагена, и между прочим «Один в поле не воин»[149]. Этот роман произвел на меня неизгладимое впечатление. Я хорошо поняла и характеры действующих лиц, и социальную сторону романа: благородные стремления Сильвии и Лео и пошлость буржуазной среды, в которой Лео ошибочно искал поддержки. Ни один роман не раздвигал моего горизонта так, как раздвинул этот, он поставил два лагеря резко и определенно друг против друга: в одном были высокие цели, борьба и страдание; в другом – сытое самодовольство, пустота и золотая мишура жизни. Оценка, сделанная в 13 лет, была настолько правильна, что, когда через много лет я перечла роман, мне не пришлось менять ее.

Человеческая личность слагается обыкновенно под влиянием

едва уловимых вкладов, которые делают люди, книги и окружающая жизнь. Но бывает, что который-нибудь из этих элементов делает в душе глубокую зарубку и закладывает фундамент новой строящейся личности.

В моем развитии такую основу положило произведение Некрасова «Саша», которое Порфирьев дал нам для разбора.

Известно содержание этого произведения: умный, образованный и видавший виды Агарин попадает из столицы в деревенскую глушь. Там в простой патриархальной семье соседа по имению он встречает молодую девушку, не затронутую никакими идеями. Он начинает развивать ее, много и красно говорит об общественных задачах, о работе на благо народа. Под влиянием этой проповеди в душе Саши появляются идеалистические стремления и запросы. Но через год или два при новой встрече ей приходится разочароваться в учителе. Перед Сашей, расцветшей умственно и нравственно, раскрывается истинный лик Агарина – пустого болтуна, который «по свету рыщет, дела себе исполинского ищет» и, бросая красивые слова, только ими и ограничивается, а в реальную жизнь не вносит решительно ничего. Саша видит, что у ее героя слово расходится с делом: разочарованная, она отходит от человека, который пробудил ее ум и казался ей идеалом.

Над этой поэмой я думала, как еще никогда в свою 15-летнюю жизнь мне не приходилось думать.

Поэма учила, как жить, к чему стремиться. Согласовать слово с делом – вот чему учила поэма, требовать этого согласования от себя и от других учила она. И это стало девизом моей жизни.

Татьяна Григорьевна Морозова *(1904–1997)*

Морозова Татьяна Григорьевна (1904–1997) – дочь генерал-лейтенанта, участника Русско-японской войны, Первой мировой и Великой Отечественной войн Григория Федоровича Морозова (1872–1947). До революции училась в Харьковском институте благородных девиц; в 1921 г. окончила единую трудовую школу, поступила в Кубанский педагогический институт. В 1922 г. перешла на педагогический факультет 2-го МГУ (в дальнейшем Московский государственный филологический институт им. Ленина), где училась у Н.К. Пиксанова. По окончании работала в школах Москвы и Казахстана, в Уфимском пединституте. В 1945 г. защитила в МГУ кандидатскую диссертацию «Философская проблематика в творчестве В.Г. Короленко». В 1955–1957 гг. по направлению Министерства просвещения читала в Китае лекции по русской литературе. С 1966 по 1982 г. работала на кафедре русской литературы МГПИ. Автор более 50 работ по истории русской литературы, составитель сборника «В.Г. Короленко в воспоминаниях современников» (М., 1962).

В Институте благородных девиц

Настало время отдать себе отчет в своих жизненных просчетах и достижениях. Не коренятся ли их истоки в твоем характере, с наибольшей ясностью проявляющемся в детском и юношеском возрасте?

Я не обдумывала заранее форму своих воспоминаний. Я писала, как вспоминалось, и о том, что запомнилось. Здесь ничто не выдумано. Все дано, как сохранила моя память. Все лица названы их подлинными именами.

Я испытывала большое затруднение в точном определении времени пережитых явлений. Стремясь к хронологической точности, я использовала некоторые материалы, на которые и ссылаюсь в соответствующих местах.

История нашего института – факт истории. Харьковский институт[150] благородных девиц был создан в 1812 году. В 1912 году отмечалось столетие его существования.

Я поступила в институт в 1915 году. Мне не пришлось закончить институт, но я была его питомицей до последних его дней.

Мне кажется, что факты и обстоятельства последних дней жизни института не менее важны и интересны, чем время его становления и роста. Это – второй мотив, помимо личных побуждений, который руководил мной в моей не такой уж легкой работе.

Я поступаю в институт

Подготовка

Харьков. Зима 1914–1915 годов. Идет германская война. Мой отец – капитан, командир роты 124-го пехотного Воронежского полка, стоявшего в мирное время в Харькове.

Мне десять лет, и я учусь в очень хорошей частной школе Веры Александровны Платоновой, жены известного в Харькове профессора-психиатра. В эту школу я поступила шести лет, и, наряду с общеобразовательными предметами, мы рано начали изучать немецкий и французский языки, занимались рисованием, лепкой, пением.

В этом году мама все чаще принималась рассказывать мне и моей младшей сестре Наташе об институте. Обычно начиналось с полушутливой угрозы: «Вот будете шалить, отдам вас в институт.

Там заставят вас по струнке ходить»«. А затем все оказывалось очень интересным и привлекательным. Институт – это такая школа, где девочки и живут и учатся. У них очень красивая форма. Правда, их будят очень рано, в семь часов, и каждое утро девочки должны по пояс мыться холодной водой. В каждом классе две классные дамы. Один день в институте говорят на французском языке, другой день – на немецком. Поэтому выпускницы института хорошо владеют иностранными языками. Все это говорилось таким тоном, будто это было необыкновенно заманчиво, даже раннее вставание и обтирание холодной водой.

И вот весной 1915 года меня всерьез стали готовить в институт – в VI класс. В институте самым младшим был VII класс. Ни младшего, ни старшего приготовительного, как это было в гимназиях, в институте не существовало. Старшим же, выпускным, был I класс.

Среди документов, которые нужно было подать при зачислении в институт, значилось свидетельство об исповеди и причастии. Мы пришли с мамой в полковую церковь. Священник увел меня за небольшую перегородку и спросил: «Табак куришь?» «– «Нет» «. – «Водку пьешь?»«– «Нет» «. – «Родителей слушаешься?» «– «Слушаюсь» «. Он накрыл мне голову епитрахилью[151] и отпустил мои грехи. Мама меня спросила: «О чем с тобой говорил батюшка?» «. Я пересказала маме наш диалог. Мама подошла со мной к священнику. «Батюшка, – сказала она, – ну о чем вы спрашиваете маленькую девочку? Разве она солдат?»«. Священник засмеялся и сказал: «А о чем ее спрашивать? И то она неправду сказала, что родителей слушается. Наверное, не слушается…».»

Это была первая в моей жизни исповедь.

Экзамены

Я была допущена к экзаменам.

Большой зал (позже я узнала, что он называется рекреационным) был весь уставлен, на небольшом расстоянии один от другого, маленькими столиками. У каждого столика стояли стулья и сидел преподаватель – экзаменатор. В глубине зала стоял большой стол, за который прежде всего и села группа девочек писать диктант. А потом мы переходили от столика к столику сдавать отдельные предметы.

Харьковский институт благородных девиц на старинной открытке

У внутренней стены зала, где высились большие застекленные шкафы, расположилась немолодая, но красивая француженка Мария Францевна Зубова. Здесь у меня произошел неожиданный казус. В группе девочек, подошедших к ней, была и я. Мария Францевна задала какую-то письменную работу. На столе стояла большая, странной формы чернильница. Я неловко повернулась, чернильница опрокинулась, чернила широкой лужицей расползлись по столу и стали капать на блестящий паркетный пол. Я не успела смутиться, как Мария Францевна с такой необыкновенной поспешностью стала успокаивать меня, что мне стало смешно. «Нитшего! Нитшего!» – быстро говорила она и, порывисто вскочив, куда-то умчалась. Она вернулась с девушкой, одетой в синее платье и белый передник. Девушка спокойно вытерла фиолетовую лужицу на столе и такую же лужицу на полу. Мной овладело озорное настроение, и пока Мария Францевна просматривала наши письменные работы, я весело отчеканила вслух спряжение глаголов. Потом я была очень огорчена, узнав, что мое прекрасное знание parfait и plus-que parfait не было учтено, а за письменную работу мне было поставлено «7» – скромное «удовлетворительно».

Последний экзамен был по Закону Божьему. Священник почему-то сидел не за столиком, а у окна. Он хитро и насмешливо щурился и поглаживал большую седоватую бороду. Я встала перед ним. Он о чем-то спросил меня, а потом велел прочитать «Отче наш». Я прекрасно знала молитву, но почему-то в одном

месте приостановилась. «Вот и сбилась», – насмешливо произнес священник и подсказал мне нужные слова. Я дочитала молитву до конца, но вместо того, чтобы отвесить поясной поклон, как полагалось, я сделала реверанс. Священник опять посмотрел мне в лицо с легкой усмешкой и отпустил меня.

Я была принята в институт. Но маме сообщили, что я зачислена не на казенный счет, а на частную стипендию. Пожилая женщина, рано потерявшая дочь, внесла в институт соответствующую сумму и выразила желание, чтобы на основанную ею стипендию была зачислена дочь офицера, находящегося в действующей армии. Выбор пал на меня. Одновременно маме сообщили, что старая дама желает видеть девочку, ставшую ее стипендиаткой. Вот мы с мамой и отправились к этой незнакомой почтенной даме.

Я не знаю, что чувствовала мама, но я, несмотря на свой юный возраст, ощущала некоторую неловкость от этой непредвиденной зависимости.

Мы вошли в большую полупустую комнату, очевидно переднюю. Слева у стены были вешалки и большая дверь, а напротив стоял ряд стульев. Из боковой двери, очевидно по докладу горничной, вышла худенькая пожилая женщина. Не пригласив нас в комнату и не предложив нам сесть, она перемолвилась с мамой несколькими словами, мельком взглянула на меня, и мы ушли. Я долго помнила фамилию этой моей непрошеной благодетельницы, но теперь, к сожалению, совершенно забыла.

И вот я зачислена в VI класс Харьковского института благородных девиц, что на центральной улице Харькова – на Сумской, дом 33.

В списке необходимых в институте предметов значилось: крест на золотой или серебряной цепочке или на черном шнурке; Евангелие, молитвенник, шкатулка такого-то размера с ключиком для хранения мелких вещей, кружечка, зубная щетка, щетка для ногтей, зубной порошок, мыльница, мыло, губка; гребенка, частый гребешок, ножницы; черная лента в косу определенной ширины или круглый гребень для тех, у кого волосы были короткими; мешок из холста для хранения сладостей в столовой, иголки, две катушки, белая и черная.

Мы с мамой целый день с длинным списком в руках ходили по городу. Были затруднения со шкатулкой. После некоторых обсуждений решили, что я возьму папину, которую он привез с японской войны. Молитвенник я взяла школьный, а Евангелие, в ярком синем переплете, мама привезла мне потом: в день покупок мы не нашли в книжных магазинах ни одного нового экземпляра.

В первый раз в жизни мне надели на шею золотой крестильный крест на серебряной цепочке. Я была снаряжена.

В классе

И вот я в классе. Вечер. Класс ярко освещен. Очевидно, первые дни съезда. Девочки свободно ходят по классу, некоторые же сидят, негромко переговариваясь. Я сижу в самом центре класса. На меня никто не обращает внимания. Я чувствую себя несколько скованно. Неподалеку от входной двери у стены стоят небольшой столик, кресло и стул. За столиком сидит немолодая, довольная полная женщина в синем платье. Это наша французская классная дама. Меня удивляет, что она не подходит ко мне или не подзывает меня к себе, ни о чем не спрашивает и не делает мне никаких наставлений. «Ну, – думаю, – завтра будет другая, главная, она все мне расскажет».

Поднявшись на одну или две ступени кафедры, лицом к классу, стоит девочка и смотрит вперед. «Какая хорошенькая девочка!» – думаю я, взглянув на нее. У нее темные брови, большие синие глаза и нежный румянец на белом личике. Я невольно любуюсь ею. А за партой, что передо мной, сидит спиной ко мне очень большая и толстая девочка. У нее круглая голова, покрытая коротко остриженными черными волосами. Вдруг эта голова поворачивается ко мне, и я вижу лицо этой девочки, тоже круглое, очень белое, очень румяное. Яркие красные губы слегка приоткрываются, обнажая белые зубы, и я слышу обращенный ко мне плаксивый тягучий голос: «Девочки надо мною смеются…».

В этот момент к нам подходит девочка небольшого роста и, слегка посмеиваясь, говорит: «Ах ты, Верочка, Верочка Кулакова! Обрадовалась – новенькая! Начала свои жалобы и свои откровенности! Постыдилась бы! – Это Лида Алексеева. Продолжая посмеиваться, она обращается ко мне. – Ты не слушай ее!».

Вера Кулакова запрокидывает голову назад и громко смеется, а потом роняет голову на парту и смеется еще громче.

«Она глупая», – невольно подумала я.

Вдруг я вижу Милу Семенову и Женю Лобову – девочек, с которыми я держала вступительные экзамены. Я радостно бросаюсь к ним. У Милы небольшой орлиный нос и очень пышные мелко-мелко вьющиеся короткие волосы – целая копна волос. В классе ее станут звать Мишка – Мишка Семенова. Смуглая,

миниатюрная Женя Лобова, умная и изящная, на все институтские годы стала, как и Мишка, моей близкой приятельницей.

Так класс постепенно наполняется живыми лицами, живыми девичьими фигурками.

В дортуаре

Нам велят построиться в пары и идти спать. По извилистой каменной лестнице мы поднялись вверх и оказались в дортуарном коридоре. Дортуар – огромная комната. Посередине, изголовье к изголовью, два ряда кроватей. Вдоль внутренней стены еще кровати. Между кроватями небольшие тумбочки для умывальных принадлежностей, ночной обуви и других мелочей. В ногах у каждой кровати табуретка, на которую мы должны аккуратно сложить дневную одежду.

Мне хочется спать. Умывшись и быстро раздевшись, я укутываюсь одеялом. Но едва я начинаю засыпать, крепкий твердый палец несколько раз ударяет меня по голове и чей-то голос тихо спрашивает: «Ты спишь?». Я с трудом поднимаю голову и вижу: за изголовьем, лицом к моему изголовью, лежит та самая девочка, которая в классе показалась мне такой хорошенькой. «Нет», – отвечаю я с трудом. «Завтра рано утром будет звонок, ты сразу вставай», – говорит шепотом хорошенькая девочка. «Хорошо», – отвечаю я и опять закрываю глаза. Но едва я начинаю засыпать, как тот же палец, который кажется мне железным, стучит по моей голове. «Завтра будет другая классная дама», – слышу я уже знакомый шепот, закрываю глаза и зеваю. Но через минуту по моей голове опять стучит железный палец и знакомый голос спрашивает: «Ты не спишь?». Мне хочется притвориться спящей, промолчать или даже сказать, что она мешает мне заснуть, но мне неловко, и я тихо отвечаю: «Не сплю!» – «Ну ладно, спи!» – милостиво разрешает неугомонный палец, но мне уже трудно заснуть, и я только через некоторое время погружаюсь в сон.

Утром, когда мы одеваемся, я рассматриваю девочку, которая мешала мне спать и которая накануне показалась мне такой хорошенькой. «Нет-нет! Она совсем не хорошенькая, – думаю я, взглядывая на нее. – Правда, у нее белое личико, темные брови и довольно большие синие глаза. Но лицо у нее худое и длинное, щеки впалые, скулы выделяются, торчит вперед подбородок, нос длинный, утиный. Нет-нет! Она совсем не хорошенькая!..» Тем не

менее это – еще одно мое знакомство. Зовут ее Туся Антонова.

Общий распорядок дней

Распорядок дня был у нас необычайно четок.

Резкий звонок будил нас в семь часов утра, и с величайшей точностью в этот же момент в дверях дортуара появлялась наша классная дама. Она наблюдала, как мы одевались, мылись, убирали свои постели. Рукавчики мы привязывали легко и просто два раза в неделю, когда нам выдавали чистые передники, пелеринки и рукавчики. Это было в четверг и в воскресенье, в так называемые приемные дни. Единственно, чего мы не могли сделать самостоятельно, – завязать сзади бант передника. Это охотно мы делали друг другу. Под платьем мы носили нижнюю юбку, сшитую из плотного материала, всю в сборках; юбка делала пышными красиво спадающие сборки платья. Наши платья не доходили до пола, что делало наш наряд достаточно легким и изящным. Надо было лишь умело завязать бант пелеринки.

Умывшись, одевшись и причесавшись, мы под водительством классной дамы парами спускались в актовый зал – на утреннюю молитву, на которой часто присутствовала начальница.

Я совершенно не помню, в чем состояли наши завтраки, обеды и ужины, – признак нормального питания. Помню лишь, что котлеты постоянно подавались непрожаренными и от стола уносили целые блюда разваленных красных котлет. Хлеб давался без ограничения. Из третьих блюд помню мороженое, так как я его не любила, и пирожное Sandkuchen (зандкухен[152]), все усыпанное орехами, которое я очень любила.

В пять часов, между обедом и ужином, нам давали чай с маленькими круглыми булочками, еще теплыми и очень вкусными. Их пекли в собственной пекарне. Перед обедом и ужином нас подводили всем классом к туалетной комнате («малютке») – мыть руки. И не было никакой толчеи, никаких столкновений. Очевидно, время было рассчитано до минуты для каждого класса.

В столовой перед едой читалась или пелась старшим классом молитва («Отче наш»).

В институте была собственная церковь и свой священник, который вел и уроки Закона Божия, – отец Павел Грома[153], тот самый, который меня экзаменовал.

Каждую неделю нас дважды водили в церковь: вечером в субботу ко всенощной и утром в воскресенье к обедне. Пел хор из

воспитанниц института. Короткое время в хоре пела и я. Мне сказали, что у меня альт. Думаю, что у меня недостаточно был развит слух, поэтому я вскоре выбыла из хора. Каждый класс имел в церкви свое место. Переходя в старший класс, мы передвигались в церкви на новое место.

Радостными днями в нашей институтской жизни были приемные дни. «Сегодня приемный день» или «Сегодня прием», – говорили мы как о дне праздника. В воскресенье с десяти часов до двенадцати, в четверг с пяти часов дня до семи часов вечера двери института открывались для наших родных и знакомых. Это были дни и часы тепла и радостного возбуждения. «Не пришли на прием» было подлинным горем, вызывало слезы и подавленное настроение. Но и расставание после приема иногда заканчивалось слезами.

Девочки, родители которых жили в других городах и не могли приезжать для свидания, казались какими-то брошенными, сиротливыми и, кажется, учились хуже.

Приемы происходили в актовом зале. Двери зала, находившиеся прямо против нашей парадной мраморной лестницы, крылья которой гармонично сходились на верхней площадке, были широко раскрыты. Слева от дверей в зале ставили небольшой столик, за который садилась дежурная классная дама, а рядом с ней девочки, обычно младших классов, которые не ждали гостей и потому охотно выполняли роль гонцов – добрых вестников, сообщавших счастливице о приходе гостей. И для девочек это было большим развлечением.

Посетитель должен был сообщить дежурной даме не только фамилию и имя девочки и класс, в котором она учится, но и свое родство с ней. Все это записывалось в журнал посетителей. Мы же должны были войти через боковую дверь из рекреационного зала, чинно сложив руки, сделать реверанс и, отыскав глазами своих родных, так же чинно направиться к ним. Редко кто из нас выдерживал эту церемонию чинности и благонравия. Увидев родное лицо, со всех ног бросаешься вперед, и все окружающее забыто! Но как много зависело от того, кто из классных дам дежурил у входа! Иная могла лишить свидания за нарушение установленного этикета.

Мама приходила всегда своевременно, садилась в определенном месте, и найти ее глазами в зале было нетрудно. В следующем году в институт поступила моя младшая сестра Наташа, и мы сидели около мамы, прильнув к ней с двух сторон.

Раза два или три мама приводила с собой на прием нашего трехлетнего братишку Павлика. Обычно девочки забирали его ненадолго в класс, забавляли его и забавлялись сами.

Два часа пролетали быстро в разговорах, поцелуях, поедании сладостей, которые, минуя швейцара, обязанного отправлять их в столовую, попадали прямо к нам в наши стенные шкафчики в классе.

Вечером приготовление уроков, ужин, молитва, которую в классе читала дежурная, и сон.

Каникулы

Волнующими и радостными были разъезды на каникулы. Трудно и представить себе, как тосклива и однообразна была бы наша затворническая жизнь в институте, если бы не было этих просветов, этих выходов в мир родных, близких, друзей – на свободу. Нас отпускали под Рождество до 8 января. Эти каникулы совпадали с праздниками: Рождество, Новый год, Крещение. Затем были пасхальные каникулы и, наконец, лето.

Вот приходит день разъезда. Сидишь в классе и ждешь, когда в дверях класса покажется швейцар Яков и провозгласит: «Барышня Морозова! За вами приехали!». Срываешься с места и мчишься вниз, в маленькую приемную. Бросишься маме на шею и в соседней комнате сбрасываешь с себя казенное одеяние, чтобы облечься в свое, домашнее. И так странно ощущаешь в первый момент после длинной формы короткое, едва прикрывающее колени домашнее платье. И едешь обыкновенно на извозчике с мамой домой.

Начальницы

На боковой стене рекреационного зала, где мы проводили перемены, над роялем висели два больших поясных портрета в золоченых рамах: бывшие начальницы института. Первый из них особенно притягивал мое внимание. На нем была прекрасно, как живая, написана маслом важная старуха в темном платье и темной кружевной наколке на голове. На верхней губе благообразного и свежего лица ясно выступали густые седые волосики.

Гуляя в перемены по залу, я останавливалась иногда перед портретом и, облокотившись на казавшийся высоким рояль, пристально вглядывалась в чужое, строгое и так осязаемо живо изображенное лицо. Медленно прочитывала надпись на медной

дощечке, укрепленной на позолоченной раме: «А. М. Голохвастова[154]». И усики на женском лице, и фамилия казались странными и вместе с тем внушительными. «Голохвостова», – подставляя другую, казавшуюся более уместной, букву, пыталась я читать. Но было некрасиво. «Голохвастова», – читала я снова, еще более внимательно вглядываясь в неподвижное лицо.

Кто был начальницей, когда я поступала в институт, я не знаю. Я даже не знала, что существует такое лицо – начальница института. Но когда нашей начальницей стала Ольга Александровна Милорадович, ее знали, мне кажется, все.

Ольга Александровна была красивая женщина лет пятидесяти, довольно высокая и умеренно полная. У нее было не просто красивое, но приятное, симпатичное лицо. Мы часто ее видели. Она бывала на утренней молитве в актовом зале. Она стояла на особом месте во время богослужения в церкви. Мы встречали ее в классном коридоре. Всегда одетая в синее шелковое платье, свежая, серьезная и приветливая, она сеяла вокруг себя свет и радость. Казалось, значение самого института повышается оттого, что во главе его стоит такая начальница. Одним словом, Ольга Александровна была радостным явлением в нашей институтской жизни[155].

Наши классные дамы и учителя

Нашей «французской» классной дамой была Наталья Николаевна де Витте, та, которая дежурила в день моего приезда. Это была женщина лет пятидесяти, невысокого роста, довольно полная, с правильными чертами смуглого лица и карими глазами. Редкие темно-русые волосы спереди были взбиты в небольшой хохолок, а сзади собраны в маленький пучок. На шнурке у нее висело пенсне, которое она поднимала к глазам, когда с кем-нибудь говорила. Целыми днями она сидела за своим столиком, поднимаясь очень редко. Когда нам надо было идти в столовую, на перемену или в дортуар, тогда она проявляла некоторую активность и по-французски произносила: «Arrangez-vous» («Подравняйтесь…», «остановитесь» *(фр.)*. – *Прим. ред.*) – когда мы должны были выровняться, построившись в пары, и «Arrêtez-vous» – когда мы должны были остановиться. В основном же она говорила с нами по-русски. И мы сами обращались к ней по-французски с единственной стереотипной фразой, прося разрешения выйти из класса.

Но французский язык она знала превосходно. В этом я

убедилась, когда в старшем классе решила прочесть по-французски отрывок из Гюго и постоянно обращалась к ней за помощью.

Наталья Николаевна была слабый, нервный и больной человек. Была у нее одна непонятная и очень неприятная болезненная странность. Прохаживаясь около своего столика, она закладывала руки назад к пояснице, нервно сжимала и разжимала пальцы, зрачки ее при этом сходились к переносице и глаза начинали странно и неестественно вращаться, а на губах появлялась не то растерянная, не то блаженная улыбка. Было в этом что-то ненормальное. Некоторые из девочек в эти моменты показывали на нее пальцем и смеялись. Я смеяться не могла. Смотреть же на нее в эти моменты мне было крайне неприятно.

Наталью Николаевну не уважали, за глаза постоянно называли Наталешкой, но внешне всегда держались в отношении ее вполне прилично. Другая наша классная дама (немецкая), Евгения Владимировна Басова, была человеком совсем другого типа. Она была относительно молода, лет тридцати пяти, одевалась не без щегольства, носила своеобразную высокую светлую прическу, высокие каблуки (и то и другое, очевидно, чтобы казаться выше). Она была полна, и тугой корсет не мог скрыть сильно развитого бюста и полных бедер. Держалась авторитетно, могла быть несправедливой.

Помню один случай, когда Евгения Владимировна «отчитывала» наш класс за какую-то провинность (я не была к ней причастна). Прежде чем вести нас в дортуар, она поднялась на кафедру и, отчитав нас, заключила: «Какие-то беспардонные!». Это слово я слышала впервые, поэтому легко его запомнила. Это было самое резкое выражение, которое прозвучало из уст нашей воспитательницы.

Но и Евгения Владимировна не пользовалась нашим уважением и любовью. И ее за глаза иногда называли Евгешка. И вокруг ее личности вились некоторые не совсем уважительные разговоры.

Клепка

В один из первых же дней моего пребывания в институте Лида Алексеева спросила: «Ты любишь арифметику?» – «Да, – ответила я, – люблю». – «Ну, здесь разлюбишь», – уверенно заявила Лида и стала рассказывать о страшной учительнице – Клеопатре Петровне, которую боится весь институт, несмотря на

то, что она преподает только в трех младших классах. «Нет, не разлюблю», – упрямо подумала я. Но учительница оказалась действительно умевшей наводить ужас. Это была очень здорового вида полная блондинка лет сорока, с румянцем во все полные щеки. Большой валик поднимал ее желто-русые волосы высоко над выпуклым лбом. Глаза у нее были несколько навыкате, над ними едва вырисовывались маленькими дугами светлые брови. Нос был слегка вздернут, полный «двойной» подбородок завершал очертания ее лица. Ее крепкая полная фигура была туго затянута в корсет. От нее веяло энергией, здоровьем и опрятностью. За глаза Клеопатру Петровну мы называли Клепкой, рассказывали о ней анекдоты, иронически посмеивались… и боялись.

В классе на ее уроках царила напряженная тишина, а к концу урока мы сидели с воспаленными щеками и блестящими глазами от пережитого в течение часа страшного напряжения.

Клепка не допускала, чтобы на уроке раздавался малейший лишний звук. Она запрещала употреблять резинку, точить во время урока карандаши. Девочка, у которой во время урока ломался карандаш, чувствовала себя мученицей, не знавшей, как поступить. Мы заготавливали на этот случай несколько тщательно отточенных карандашей.

Отвечать Клепке было страшно до чрезвычайности. Лучшие ученицы терялись до беспамятства, утрачивали способность соображать.

Клепка кричала на нас грубо, оскорбительно, свирепо, не теряя при этом спокойствия. «Что вы мечетесь у доски, как телячий хвост? – кричала она на растерявшуюся девочку. – У вас вместо головы кочан капусты! У вас не голова, а тыква!» – громким сердитым голосом убеждала она отвечавшую. Это в институте, где с десяти лет нас величали на «вы» и, вызывая, должны были прибавить слово «госпожа»: «Госпожа Морозова».

Объясняла Клепка лаконично и предельно ясно, изредка сплывая с кафедры, и диктовала четкие определения и правила, которые мы записывали в толстые тетради, обязательные у каждой из нас.

В нашем классе была девочка по имени Тоня Москвина. За первое полугодие у Тони стояла шестерка, ей грозило или второгодничество, или исключение из института.

Я стала с ней заниматься. Вскоре мы писали классную контрольную. И вдруг после того, как Клеопатра Петровна выставила в журнале отметки за классную работу, в графе Тони, которая за полугодие ни разу не была спрошена, появились три отметки, поставленные задним числом на небольшом расстоянии,

одна за другой. Отметки были такие: шестерка и две пятерки. Мы были возмущены. Я заявила, что сама пойду с Тоней к начальнице. Девочки горячо поддержали меня. Теперешним школьникам трудно себе представить, какой это был смелый и решительный шаг. Начальницей тогда у нас была Ольга Александровна Милорадович, о которой я уже говорила.

Какова же была наша радость, когда отметки этого злополучного дня не были учтены в полугодии.

В общем, по моим воспоминаниям, нас, детей и юных девушек, окружали допотопные монстры.

Вспоминается лишь одна молодая и внешне привлекательная классная дама – Екатерина Ивановна Малиновская. Она была высока и стройна, но следы надвигающегося старения уже ложились на милое лицо. История сняла проблему классных дам в Институте благородных девиц. Но чтобы быть справедливыми в своих суждениях, не следует ли подумать о том, как формировался контингент классных дам. Как они пришли к этой роли, как дошли до жизни такой? Почему они были обречены на безбрачие? На одинокую жизнь в стенах института? Чем заполнялась их жизнь кроме суточного дежурства около молодых озорниц?

Наказания

Самым тяжелым наказанием было у нас лишение свидания с родными. «Не пойдешь на прием» воспринималось как настоящее горе. Но за все годы моего пребывания в институте я не помню случая, чтобы в нашем или другом классе кто-нибудь был наказан столь жестоко.

Самым же неприятным, даже позорным наказанием считалось «стоять под часами». Провинившаяся высылалась из класса и должна была определенное время выстоять в классном коридоре под часами, висевшими высоко у двери в актовый зал. Но и это наказание применялось очень редко. В моей памяти не запечатлелась ни одна фигурка, одиноко стоящая под часами.

Но на мою долю однажды выпало это почетное наказание. Случилось это еще в VI классе, и я плохо помню повод. Кажется, я слишком оживленно разговаривала с кем-то из девочек и даже спорила. Евгения Владимировна велела мне выйти из класса и стать под часами. Я безропотно покинула класс. Стояла я под часами минут десять, не более, все посматривая, не идет ли кто-нибудь по коридору. Очень мне не хотелось, чтобы меня видели

публично наказанной. Но коридор был пуст, а Евгения Владимировна вскоре выслала за мной дежурную.

Движение

Если спросить, чего мне больше всего не хватало в первое время моей институтской жизни, я бы сказала: «Движения!». Часами мы сидели в классе на уроках, вечерами должны были готовить задания. В переменах прогуливались в зале кто группами, кто в одиночку, кто парочками, обнявшись. В первые дни я общалась то с одной девочкой, то с другой, но, по существу, я была одна. Как-то мне понравилась одна девочка V класса – Маруся Синицкая. Я искала ее в перемену: перемолвишься словечком, пройдешь несколько шагов вместе – и конец перемены.

Однажды в великой жажде движения я помчалась с одного конца рекреационного зала в другой и так разбежалась, что заскользила по паркету, как по льду на катке. Не в состоянии остановиться, я со всей силой разбега ударилась грудью о рояль, стоявший у стены. От ушиба я потеряла сознание и упала. Надо мной тотчас тревожно склонилось несколько головок, кто-то побежал за классной дамой. Когда подошла Евгения Владимировна, я уже очнулась и открыла глаза. Кто-то сказал: «Обморок!» – «Ну, тут обошлось без обморока», – услышала я холодный, почти ироничный голос Евгении Владимировны. Девочки подняли меня, взяли под руки и отвели в лазарет. Часа через два я уже сидела в классе. Из комнатных игр мы знали одну – в камешки. Камешки нам заменяли кусочки пиленого сахара, который мы получали в столовой к чаю.

Стены здания были очень толсты, подоконники очень широки. На этих подоконниках мы и подбрасывали кусочки сахара в разных вариантах. Это была игра младших классов, и движения здесь было очень мало.

Туалетная комната (мы называли ее «маленькой комнаткой», «petite chambre» – по-французски, а чаще просто «малюткой») состояла из двух довольно просторных частей. В задней были установлены унитазы, отделенные друг от друга перегородками, в передней же был ряд раковин для умывания, и высоко под потолком на специальной перекладине висело, спускаясь почти до пола, длинное полотенце. Мы передвигали его, когда нижний конец его становился влажным или грязным. Вот это полотенце и выбрала я для своих физкультурных занятий. Схватившись за

одну его часть, я раскачивалась на нем, как на гигантских шагах. Слава Богу, и полотенце, и деревянная перекладина выдерживали этот груз.

Вскоре я научилась у девочек ходить на пальчиках, как ходят балерины. В наших легких и мягких прюнелевых (сделанных из прюнели: плотной хлопчатобумажной, шелковой или шерстяной ткани. – *Прим. ред.*) ботиночках это было и легко и трудно. Но я была тоненькая, худенькая. Сначала я могла сделать всего несколько шагов, а потом ходила вдоль всей свободной стены класса – в одну сторону и обратно. Это было движение! Это было движение, притом не лишенное изящества!

Осенью, весной и зимой мы гуляли в большие перемены в нашем парке. Теннис и крокет были в распоряжении старших, но я никогда не видела их играющими. Зимой на дорожки парка клали доски, и мы ходили парами под руководством классной дамы по этим доскам. У нас, разумеется, были уроки гимнастики и танцев. Но они, если не ошибаюсь, были раз в неделю поочередно. На уроках гимнастики мы снимали наши формы и надевали легкие серо-голубые платьица длиной до половины голени и с полукороткими рукавами. Эти занятия слегка оживляли однообразное течение наших дней.

На уроках танцев мы снимали пелеринки и разучивали разные па и позиции. Из танцев мы выучили полонез. Остальные танцы – вальс, польку, мазурку, падеспань, падекатр и другие – мы выучили как-то стихийно. Танцевать я очень любила.

Эта странная Борткевич…

В стипендию, на которую я была зачислена, не входила оплата музыкальных занятий. И в те часы, когда девочки, взяв ноты, расходились в разные уголки института, где были расставлены инструменты, я и еще несколько учениц оставались в классе и по большей части учили неприготовленные уроки. Но вскоре я сказала маме, что мне тоже хотелось бы учиться музыке. Мама внесла недостающую сумму, и я приступила к занятиям. Моей учительницей была назначена полька Борткевич.

О Борткевич, ее странностях и чудачествах, ходили целые легенды. И как только узнали, что моей музыкальной наставницей будет Борткевич, меня стали, посмеиваясь, посвящать в ее причуды.

Прежде всего говорили о курьезах в ее костюме: на одной ноге у нее может быть надет белый чулок, на другой – черный, на

левой ноге туфля одного фасона, на правой – другого; говорили, что она неимоверно пудрится, употребляет духи с невероятно резким и неприятным запахом.

Говорили также, что она очень требовательна к своим ученикам и крайне несдержанна. На уроках в пылу раздражения она бьет своих учениц по рукам, ломает и выворачивает им пальцы. Сама же она играет превосходно, необычайно музыкальна, у нее абсолютный слух. С особой значительностью, но и тут не без легкой усмешки, рассказывали о ее замечательном выступлении в концерте, который был устроен в институте несколько лет назад.

Естественно, что после подобной характеристики я шла на первое свидание с «этой странной Борткевич» не без волнения.

Но неожиданно наша встреча прошла очень просто и спокойно. Борткевич спросила меня, занималась ли я когда-нибудь музыкой, знаю ли я ноты. Я ответила, что музыкой еще не занималась, но ноты знаю. Она взяла мою руку, слегка согнула мои пальцы. После этого она посадила меня за рояль.

Борткевич оказалась уже немолодой и некрасивой женщиной. Ее утиный нос и все темное лицо было действительно сильно напудрено, а вокруг небольших серых глаз лежали темные круги, которые не могла скрыть и пудра. Одета она была в поношенное, но сшитое не без претензий темное шелковое платье, на шее лежала меховая горжетка, в которую она зябко куталась, а в руках была муфта. От нее исходил резкий запах духов. Особенно запомнились мне ее небольшие, но широкие и темные руки с недлинными широкими пальцами, очень мягкими, как будто без костей, сухие и горячие, и коротко остриженные круглые ногти. Занималась она со мной неровно, часто останавливала меня, заставляла повторить, сделать снова, иначе, лучше. Но я не помню, чтобы она при этом когда-нибудь сердилась. Иногда она клала свою горячую мягкую руку на мою, изменяла ее положение и то замедляла, то, наоборот, ускоряла, а то и совсем останавливала движение моих пальцев. «Что же, это и есть «выкручивание» пальцев?» – спрашивала я себя с усмешкой, вспоминая рассказы моих подруг.

Я занималась охотно, добросовестно, но при этом должна была признаться, что мне трудно, что я не понимаю, чего она от меня хочет, и что она ищет во мне то, чего во мне нет. Удивляло и слегка раздражало, что Борткевич категорически запрещала учить наизусть даже самые простые пьески, тексты которых были в наших музыкальных сборниках. А была, например, в одном из них песенка Герцога из «Риголетто» Верди («Сердце красавицы…»). К ней Борткевич и притрагиваться не позволила.

Однажды Лида Алексеева с удивительной смелостью и напористостью стала просить Борткевич сыграть нам что-нибудь. После долгих и многообразных отговорок Борткевич, к большому моему удивлению, медленно и как будто жеманясь подвинула свой стул к роялю и подняла руки. Изумительно легкими и быстрыми прикосновениями пальцев она пробежала по клавишам, и из-под ее прикосновений единым музыкальным потоком полились нежные, поистине волшебные звуки.

Мы замерли. Борткевич играла минуты две-три, не больше, и вдруг оборвала игру. Мы на мгновение растерялись – так неожиданно умолк этот пленительный поток звуков, а затем мы, обе разом, бросились к ней, уговаривая, упрашивая, умоляя продолжить игру, начать снова, сыграть что-нибудь другое, но обязательно, обязательно сыграть опять. Все было напрасно. И в памяти осталось впечатление мгновенно мелькнувшего прекрасного видения, мелькнувшего и исчезнувшего навсегда.

И несмотря на все это, я ушла от Борткевич. В следующем году в институт поступила моя сестра Ната. Для занятий музыкой она была прикреплена к Ольге Ивановне Ганн, которая пользовалась репутацией толковой и спокойной учительницы. Лида Алексеева тоже начала заниматься музыкой и тоже была прикреплена к О. И. Ганн.

Лида стала меня уговаривать оставить Борткевич и перейти к Ганн. Я колебалась. Я не верила, что Борткевич сделает из меня то, что хочет. Соблазняло меня, что ученицы Ганн много играли наизусть и быстро шли вперед. Ната тоже хвалила свою учительницу. Я сказала об этом маме. Мама, выслушав меня, написала заявление о том, что ей хотелось бы, чтобы обе ее дочери учились у одного преподавателя, а именно у О. И. Ганн. Ее просьба без затруднений была удовлетворена.

Занятия у О. И. Ганн показались мне удивительно скучными. Это были спокойные, методически размеренные упражнения и, как мне показалось, без вкуса и любви.

Не понимая ясно, я чувствовала, что в моей нелепой, смешной Борткевич есть что-то такое, чего нет и не может быть у разумной, толковой и авторитетной Ольги Ивановны. Не отдавая себе ясного отчета, что произошло, я стала настойчиво, не объясняя причин и не обращаясь к посредничеству мамы, проситься обратно к Борткевич. Разумеется, безрезультатно.

«Ты не плачь, береза бедная…»

Осеннее солнце заливало сад. Сквозь оголявшиеся ветви деревьев оно пробивалось вниз и подвижными пятнами ложилось на дорожки, устланные вялыми и сухими желтыми листьями. Было мягко и весело идти.

Я и Оля приближались к выходной калитке. Уже был звонок, оповещавший конец перемены. С отдаленных концов сада бежали девочки. «Скорее! Скорее! – закричали нам из группы наших одноклассниц. – Новый учитель по литературе! Учитель, молодой! Скорее! Скорее!» И они поспешно побежали вперед. Мы с Олей ускорили шаги.

Минут через пятнадцать все сидели за партами. В класс вошел молодой человек в очках, со светло-русой бородкой, невысокий, но стройный. В классе стало тихо.

Он остановился в середине класса, не поднимаясь на кафедру, между нашими партами и окном. Он заговорил о поэзии как о роде литературного творчества, о стихе, о значении интонации в чтении, о том, чем она определяется, о роли пауз и негромким голосом начал:

Острою секирой
Ранена береза…
По коре сребристой
Покатились слезы…

Дочитав стихотворение до конца, он заставил кого-то прочесть его по книге и задал к следующему уроку приготовить читать это стихотворение наизусть.

Стихотворение казалось странным, не похожим на те, которые мы привыкли читать и слышать. Вообще все было необычно. Запомнилась сдержанность его жестов.

Накануне следующего занятия весь класс твердил: «Ты не плачь, береза, бедная, не сетуй…».

Я осторожно про себя или вполголоса тоже повторяла строки заданного стихотворения. Слова оказались слишком нежными для произношения вслух.

«Кто хочет прочесть стихотворение?» – после некоторой паузы спросил учитель, войдя в класс на следующий урок и стоя на прежнем месте. Класс напряженно молчал. Он повторил вопрос. Класс остался тих и недвижим. Молодой человек стал теребить бородку. Я нечаянно сделала какое-то легкое движение, отнюдь не означавшее желание выступить. «Вы хотите? – поспешно обратился учитель ко мне и сделал шаг в мою сторону. – Пожалуйста, прочтите…» Я в замешательстве встала. «Острою секирой, – услышала я дрожь своего голоса, – ранена

береза. По коре сребристой, – вела я дальше, держа голос на одной ноте, с трудом от волнения выговаривая слова, – покатились слезы… Лишь больное сердце не залечит раны…» – закончила я.

В классе еще дрожал звук негромкого напряженного голоса…

«Вы не работали над стихотворением», – сказал учитель, глядя мне в лицо серьезно и печально. Что-то больно дрогнуло в сердце. Я молча села. «Я не работала?» – думала я грустно. Я работала. Я с любовью заучила коротенькие строчки чужого стихотворения. Мне оно нравилось. Оно казалось необычайно тонким и будило в душе грустное нежное чувство. Но чувство, очевидно, оставалось внутри и от волнения не передавалось в звучании голоса. Как же надо работать? Что нужно делать?

После меня учитель вызвал еще кого-то. Затем стал говорить о стихе, о музыке стиха. И он обещал в ближайшее время принести на урок скрипку.

Мы очень ждали этого дня. Но больше новый учитель не пришел. Мы больше его не видели, ни его, ни скрипки. Почему? Это осталось для нас загадкой. Это осталось одним незавершенным, но светлым эпизодом в нашей однообразной институтской жизни. Но и теперь, когда мне на уста приходят строки стихотворения А. К. Толстого о раненой березе, я неизбежно вспоминаю о молодом человеке, желавшем раскрыть нам тайну единства музыки и поэзии.

Молодые души

«Обожание»

Специфической особенностью институтского быта считается «обожание». Обычно обожание изображают как явление уродливое, нелепое, смешное, искусственное и вместе с тем широко распространенное в институтской среде. В мое время в нашем институте «обожание» было явлением совсем незаметным. Я бы даже сказала, его не было. Но я «обожала».

Сначала я познакомилась с девочкой старше меня на один класс – Марусей Синицкой. Я встречала ее в рекреационном зале, подходила к ней, и мы обменивались несколькими словами. Мне нравилось ее правильное овальное личико и синие глаза. Мы были на «вы», я относилась к ней с некоторым почтением, как к старшей, но нас, смею думать, связывала взаимная симпатия. Почему это называлось «обожанием»? Просто здесь сказывалась жажда дружеского общения, Оли в институте тогда еще не было.

Я убеждена, что «обожание» имеет место в среде любого учебного заведения. В институте оно усиливалось замкнутостью жизни и бедностью серьезных внешних впечатлений. По опыту собственной восьмилетней работы в средней школе знаю, что и советскую школу не миновала влюбленность юных в старших, трогающих молодое воображение.

«Мне душно, мне тесно в стенах института…»

Я не знаю, многие ли из моих одноклассниц писали дневники. Это было делом интимным. Но знаю, для некоторых из нас дневники составляли важную сторону их душевной жизни. Моя подруга Оля писала дневник не часто и довольно скупо. Я не могла и помыслить коснуться ее дневниковой тетради.

Одной из самых значительных, самых важных черт моего пребывания в институте стала моя дружба с Олей Феттер. Это не была обычная поверхностная или сентиментальная «институтская» дружба. Это была настоящая глубокая органическая душевная связь, сердечная привязанность друг к другу, возникшая и выросшая сама собой, и которая, как мне кажется, неудачно выражается словом «дружба». Если бы у меня не было близости с этой умной, одаренной девочкой, моей любви к ней и ее любви ко мне, моя жизнь в институте была бы гораздо более пуста, скудна, тосклива и даже тяжела. Наша дружба обогащала нас, делала полнее, значительнее, радостнее, счастливее наше существование.

Оля была старше меня на два года, была девочкой другой среды и судьбы. Она была, вероятно, одаренней меня, разносторонней как личность. Но мы дружили «на равных», были совершенно равны в наших отношениях. Мы никогда не ссорились. У нас никогда не было ни малейших столкновений или недоразумений. Наша дружба включала в себя глубокое уважение и абсолютное доверие друг к другу. Вместе с тем мы никогда не стесняли друг друга. У каждой из нас была своя независимая жизнь. Я писала дневник, Оля к нему не притрагивалась. У каждой из нас был круг своих приятельниц, которые не мешали нашей основной дружбе.

Помню одно свое довольно аляповатое стихотворение, вписанное в текст дневника, вероятно, в V или не позднее IV класса:

Мне тесно, мне душно в стенах института,

Мне хочется волей свободной дышать,
Мне хочется страстью бездумной упиться,
Мне хочется жить, и любить, и страдать!

Стихотворение совершенно не соответствовало моему темпераменту и моим реальным настроениям, но все же оно в преувеличенной форме выражало какие-то порывы и действительную душевную неудовлетворенность.

Романы… Романы… Романы…

Это, вероятно, произошло в IV классе. Из института загадочно исчезла Вера Кулакова. Ее задержали на одной из станций под Харьковом, в обществе молодого офицера, и отправили домой. Больше в институте она не появлялась.

Летом во время каникул при переходе в III класс Варя Яржембская познакомилась где-то с каким-то юнкером или молодым офицером. Он влюбился в нее и стал писать ей в институт.

Всегда сдержанная, даже замкнутая, казавшаяся мне высокомерной, общавшаяся только со своей подругой по Смольному Ниной Манюковой, Варя неожиданно стала удивительно развязной. Она читала вслух получаемые письма и издевательски смеялась.

Я недоумевала. Как можно слова любви и поклонения произносить таким насмешливым, пошлым тоном?! И казалось, что, издеваясь над молодым человеком, она публично хвастается своей победой. Таким же тоном она читала вслух свои насмешливые ответные письма, не обращая внимания на то, слушают ее или нет.

Я потеряла к Варе всякое расположение. Примерно в те же дни, когда разыгрывался «роман в письмах» Вари, Женя Лобова как-то подошла ко мне и тихо сказала: «Пойдем, я что-то покажу». Мы подошли к ее парте, Женя подняла ее крышку, вынула небольшой конверт, а из него фотографическую карточку. На меня открыто и прямо глянуло привлекательное умное лицо молодого офицера. (Опять офицер!) «Он сказал моей маме, – произнесла Женя шепотом, – я надеюсь, когда Женя окончит институт, она будет моею». Женя тихо счастливо засмеялась и совсем по-институтски воскликнула: «Дуся!» – и поцеловала карточку.

Женя была дочерью казачьего офицера. В это время ей было лет пятнадцать – шестнадцать. Она не была красавицей. Небольшого роста, смуглая, с тонкими почти черными волосами, небольшими карими глазами, с очень красиво очерченным ртом и великолепно белыми зубами, она все же могла казаться очень привлекательной. Уже начавшие полнеть плечи, тонкая талия и очень красивые, правильной формы руки придавали ее облику обаятельную женственность. Кроме того, она была умна.

Женя – моя приятельница с первых дней институтской жизни. Она часто тосковала, подходила ко мне и говорила: «Мне плохо», – и глаза ее туманились. А я не умела развеять ее тоску, сказать ей бодрящее слово. Но я умела выслушать. Когда мы были во II классе, она подарила мне открытку с подписью: «Помни Женю Л.» Я, как видите, помню.

И у меня был роман. Но роман не реальный, а воображаемый. Героем его стал один персонаж Тургенева.

К четырнадцати – пятнадцати годам кроме Пушкина, Лермонтова, Гоголя, которых я читала очень рано, я прочла Гончарова, Лескова, Станюковича. Но завладел моим сознанием Тургенев.

Живому восприятию Тургенева, вероятно, способствовало то обстоятельство, что к дому, в котором мы жили в эти годы в Чугуеве, прилегал большой сад. У самого дома росли большие старые липы, а дальше – множество фруктовых деревьев. Сад заканчивался довольно глубоким обрывом, поросшим густой травой и кустами. Соседний дом был пуст, а сад, в котором он стоял, был запущен настолько, что ветви его деревьев, стоявших у ограды, спускались в наш сад. Была иллюзия уединенной дворянской усадьбы.

Увлечению чтением, игре воображения способствовала изолированность нашей жизни на новом месте в те трудные революционные годы. У меня совсем не было общества, кроме членов нашей семьи. Я была одна со своими книгами и своими мечтами.

Вот моим героем и стал литературный персонаж, и конечно, Тургенева.

И мне грезилось, что в соседнем пустом доме кто-то живет. Там есть прекрасный юноша. Он немного старше меня, он умен, серьезен, добр. А зовут его Сережа, Сергей. И встречаемся мы с ним по вечерам у ограды, отделяющей наш сад от соседнего, и разговариваем тихо о каких-то невинных вещах, о книгах. И за этими простыми разговорами мне мерещилась живая душевная близость между мной и этим несуществующим молодым человеком.

Так и остался в моей памяти большой сад, а за его оградой старый деревянный дом, в котором живет серьезный близкий мне юноша, оставшийся моей мечтой.

Религия

Я росла в традиционно религиозной семье. Все ее члены были, разумеется, своевременно крещены. Помню крестины брата, который родился в 1913 году. Священник был приглашен к нам домой, и после обряда было устроено соответствующее застолье.

В комнатах у нас висели иконы. Рождество, Пасху, Крещение отмечали в нашей семье торжественно, но скорее не как религиозно-памятные дни, а просто как большие праздники. Так, по крайней мере, воспринимала эти дни я девочкой.

В канун Рождества мы, дети, под маминым руководством и с ее участием украшали большую елку. Обязательным был торжественный постный ужин с традиционными на Украине кутьей (рис с изюмом) и узваром (компот из сухофруктов). Рождество знаменовало и приглашение детей из близких семей «на елку» и поездку в нарядных платьях в Офицерское собрание, где в огромном зале стояла большая елка, играл оркестр, были танцы и скромные рождественские подарки.

Под Пасху пекли куличи (на Украине их называли «пасха»), красили яйца, заблаговременно выращивали на тарелках овес, в зелень которого клали окрашенные яйца. Получалось ярко и красиво. Обязательно делали сырную (творожную) пасху. С вечера накрывали стол, который был очень ярок и красив. Были цветы, почему-то обязательно гиацинты. Куличи, вероятно, святили в церкви, но делали это денщик или домашняя работница.

Я не помню, чтобы мои родители ходили в церковь. Только однажды под Пасху, когда отец был на фронте, мама уехала в какой-то женский монастырь под Харьковом – помолиться о благополучии мужа. Неожиданно папа приехал из действующей армии. Он сейчас же отправился в монастырь и произвел там страшный переполох ночным вторжением в женскую обитель. На следующий день мама и папа вернулись домой спокойные и радостные.

С раннего детства я знала, что на небе живет Бог, который сотворил мир, вокруг него множество Ангелов с белыми крыльями, что у меня есть свой Ангел-Хранитель.

В школе, в которую я поступила шести лет, я уже учила

библейские легенды о сотворении мира, об Адаме и Еве, о Всемирном потопе, о Благовещении – явлении Архангела Гавриила Деве Марии, возвестившего ей о предстоящем рождении ею Сына Божия, об Ироде, умертвившем тысячи младенцев, надеясь погубить среди них недавно рожденного Мессию, о распятии Иисуса на кресте и о Его чудесном Воскресении.

Молитвенных настроений у меня не было. В Харькове мы жили на Петинской улице (теперь она Плехановская), неподалеку стояла Михайловская церковь. В ней в положенные часы шла служба и звонили колокола. Когда они звонили по вечерам (благовест?), мощные басовые удары раздавались с такой силой, что действовали на меня угнетающе. «Ну зачем они звонят?!» – повторяла я почти плача.

Чувство же святыни, сливаясь с чувством прекрасного, возвышенного, возникло в моей душе довольно рано.

В школе я выучила наизусть стихотворение Лермонтова «Ангел» («По небу полуночи ангел летел…»). Это стихотворение мне очень нравилось, разумеется, нравится и теперь. В этом стихотворении я бессознательно чувствовала тонкую поэтизацию «безгрешных миров», «звуков небес», неземной чистоты, дыханье возвышенного.

В институтском быту религиозным традициям мы платили немалую дань. Но в нашей духовной жизни религиозные настроения, вера, как мне кажется, не играли большой роли.

Утро начиналось общей молитвой в актовом зале, на которой обычно присутствовала начальница. Может быть, это было недолго удержавшееся нововведение Ольги Александровны. Я помню ее присутствие в актовом зале. Пели молитву старшеклассницы. Старшеклассницы же пели молитву перед трапезой («Отче наш»). На ночь перед отправкой в дортуар молились в своем классе. Читала молитву дежурная или одна из желающих. Раз или два за все время пребывания в институте читала молитву и я, как дежурная. Но вскоре, по присущей мне некоторой застенчивости, я навсегда передала эту обязанность охотницам.

В церковь нас водили регулярно: каждую субботу – вечером, каждое воскресение – утром. Церковь у нас была своя в здании института. Вход в нее из рекреационного зала шел через небольшой коридорчик, застекленный с обеих сторон.

В церкви каждый класс имел свое место и по порядку вливался в церковное помещение по блестящему паркетному полу: младшие впереди, старшие сзади. Переходя в старший класс, мы передвигались на новое место в церкви.

Строились мы правильными рядами по пять или шесть

человек. Сзади за нашими рядами на полу лежал ковер, и на нем стояло несколько кресел, обтянутых красным плюшем. Это было место для начальницы и другого начальства, а также для возможных гостей. Их присутствие придавало службе большую торжественность, но начальство и гости бывали чрезвычайно редко. В задней стене церкви на некоторой высоте были небольшие хоры. Служил в церкви тот же священник, который экзаменовал меня, – о. Павел Грома.

В церкви пел свой хор, состоявший из девочек разных, но преимущественно старших классов. Недолгое время по собственному желанию пела в хоре и я. Мне сказали, что у меня альт. Но мое пение не удовлетворило участников хора, и меня скоро деликатно выставили, заявив, что я пою «не так, как надо». Я, помню, совсем не обиделась.

Около каждого класса стояло несколько стульев, на которые в течение службы классные дамы периодически сажали слабеньких на несколько минут передохнуть. За время моего пребывания в институте помню два случая, когда девочек выводили под руки из церкви: им от долгого стояния становилось дурно.

Я была тоненькая, худенькая и, несмотря на розовость щек, могла казаться слабенькой, и первое время классные дамы не раз предлагали мне сесть – передохнуть. Но я твердо отказывалась, без труда выстаивала всю службу, и мне перестали предлагать сесть.

В дни Великого поста нас водили в церковь чаще, готовили нам постную пищу (как и в среду и в пятницу). Помню очень вкусные маленькие рыбешки – копчушки. Остальной пищи не помню.

Во время поста старшеклассницы читали в столовой не «Отче наш», как обычно, а молитву Ефрема Сирина. Служба в церкви во время поста была особенно торжественная. В определенный день три (две?) старшеклассницы выходили во время службы на середину церкви и пели «Иже херувимы» или «Да исправится молитва моя». Пели хорошо, слушать было приятно. Кроме того, в этом выступлении был элемент театральности, это привлекало.

В конце поста нас ждала исповедь, а затем причастие. Должна признаться, что сейчас не вспомнила бы ни об исповеди, ни о причастии, если бы случайно не нашла одной своей старой записи – свидетельство, что этим столь важным обрядам я придавала столь малое значение, что они не оставили следа ни в душе, ни в памяти.

О. Павел Грома вел у нас и уроки Закона Божия. К сожалению, в нашем батюшке не чувствовалось ни благодушия, ни душевной теплоты. Иногда он казался даже грубоватым.

На уроках Закона Божия мы читали Евангелие на старославянском языке. Известное знание старославянского языка, полученное от этого чтения, мне впоследствии пригодилось в моих филологических занятиях. В старших классах мы изучали катехизис – то есть заучивали наизусть главные догмы Православия в форме вопросов и ответов. Сейчас я не помню ни строки из этой книги.

Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что религиозная стихия мало владела нашими умами и нашими душами. В воспоминаниях об институте другие стороны нашего быта, наших впечатлений, нашей жизни ярче, сильнее выступают в моей памяти. Они и отлагались глубже.

Я никогда, до последнего класса, не говорила с Олей на религиозные темы – свидетельство отсутствия серьезного интереса к этой стороне человеческого сознания. Я думаю, что большинство из моих сверстниц, не подвергая сомнению ни религиозных догм, ни ритуала церковного действа, не были религиозно настроены. Истинно и глубоко впитавшие христианское учение и мораль, подлинно верующие у нас были редчайшие единицы. Верующей была Люба Советова и, кажется, Нина Циглер.

В течение почти пяти лет регулярно посещая церковь, я не знала текстов церковного богослужения, не воспринимала его смысла.

И вот наступил момент, когда я совершенно непроизвольно ощутила мир, вселенную без Бога. Это произошло внезапно, но явилось следствием какого-то постепенного внутреннего несознаваемого процесса. Это было, несомненно, озарение, освобождение от чего-то наносного, навязанного, выдуманного.

Мир очистился. Бога не было. Не было и дьявола, и белокрылых ангелов. Было огромное мировое пространство, воздушный океан, в котором «без руля и без ветрил» в гармоническом единстве плавает множество планет: огромное, изливающее жгучий свет солнце, луна с ее туманными излучениями, чудесное сочетание звезд и наша зеленая Земля. Было волшебно хорошо, величественно, таинственно и вместе с тем просто и ясно. Христос? Я не знаю. Да, вероятно, был такой светлый человек. Но… я о нем мало думала.

Нет, я не могу больше молиться Богу, думать о Его святой воле. Не хочу стоять в церкви как истукан, без мысли и воли. Я не верю в Бога…

И вот при первом посещении церкви в тот момент, когда Наталья Николаевна усаживала уставших, я заявила, что тоже хочу сесть. «Ты же здорова», – сказала Наталешка недовольным

шепотом, однако посадила меня на ближайший стул. Но едва я опустилась на его сиденье, мне стало так щемяще стыдно, так неловко, что я еле высидела положенные минуты. Я, только что приобщившаяся к ощущению величия и красоты вселенной, унижаюсь до такого мелкого поступка, до такого пошлого проявления своего безбожия! Как я могла совершить эту пошлость?! Больше я никогда не садилась в церкви.

Но христианское вероучение вошло в противоречие с теми познаниями, которые давала нам наша скромная институтская программа, но которые, тем не менее, формировали наши представления о мире. Основы христианской морали противоречили сущности моего характера, моей естественной природе. Мне бессознательно, органически не нравилась мораль христианского самоотречения, смирения, самоуничижения. Эта мораль не отвечала моему ощущению жизни, и это часто определяло и мое отношение к людям, мои симпатии и антипатии. С институтом я рассталась в спокойном состоянии безверия.

Институт и революция

«Красный бант»

В классный коридор вошла группа мужской молодежи и направилась прямо к квартире начальницы. Говорили, что это студенты ветеринарного института, который помещался рядом с нашим. Они потребовали, чтобы нас вывели на улицу.

Мы пошли вниз, в гардеробную – одеваться. Кто-то сказал, что необходимо, чтобы на груди было что-нибудь красное. У меня в шкатулке оказалась широкая красная лента. Я продела ее в петлю пальто, завязала бантом и спрятала его за борт пальто так, что снаружи остался лишь уголок ленты.

Все было необычайно, весело. На улице нас поставили на тротуаре вдоль ограды нашего института. По мостовой стройными широкими рядами шли и шли люди. Они пели. В руках у многих из них были красные флаги, цветы. Все были радостны, оживлены. «Институтки! Идите с нами!» – кричали они нам.

Когда мы возвращались и я, тоже почему-то радостная и оживленная, шла по коридору в группе своих одноклассниц уже в расстегнутом пальто, мой бант освободился и ярким цветком алел на борту черного пальто. Рядом со мной шла Наталешка. Она схватила мой бант и стала трепать его из стороны в сторону,

раздраженно приговаривая: «Вот, нацепили красные банты, а сами ничего не понимают! Ничего не понимают!».

Когда мы поднялись в класс, нам рассказали, что студенты вошли в актовый зал, сорвали со стены портрет царя и разрезали его ножом. Одна из старшеклассниц, которая присутствовала при этом, притворилась, что теряет сознание, и упала на портрет. Подруги унесли ее на портрете в лазарет. Они гордились, что спасли портрет от окончательного уничтожения.

Это был февраль 1917 года. Февральская революция.

Актовый зал остался без портрета царя.

Но Наталья Николаевна была права: мы ничего не поняли. И в нашем быту ничто не изменилось. Для меня это было второе полугодие V класса. Мне было двенадцать лет.

Отъезд О. А. Милорадович

Осенью 1917 года нас ожидало грустное событие. Нашу начальницу, заслужившую нашу любовь, Ольгу Александровну Милорадович, переводили в другой институт, кажется, в Новочеркасск.

7 ноября 1917 года я писала бабушке в Екатеринослав: «Наш класс хочет устроить прощальный концерт Ольге Александровне. Я рисую программы».

Теперь я совершенно не помню, состоялся ли наш концерт. Помню лишь один эпизод, который отложился в сознании как свидетельство заботливого внимания к нам нашей начальницы, а не как память о концерте.

Я шла по классному коридору и несла на спине в комнату пепиньерок ширму. В этот момент из своей квартиры вышла Ольга Александровна и увидела силуэт небольшой девочки, которая несет на спине громоздкий предмет, похожий на шкаф. «Остановитесь! Остановитесь! – закричала Ольга Александровна и поспешно направилась ко мне. – Разве вам можно носить такие тяжести?!» Я остановилась. Когда Ольга Александровна приблизилась, недоразумение разрешилось. В день отъезда Ольги Александровны весь институт выстроился в коридоре. Каждый класс стоял вдоль стены своего класса. Мы плакали. Мы сильно плакали. Мы плакали навзрыд. Это было одно из самых сильных переживаний за все годы пребывания в институте. Вероятно, здесь присутствовал элемент экзальтации, массового заражения определенным настроением.

Ольга Александровна обошла все классы и, тоже плача,

поцеловала каждую девочку. С дороги (из Ростова) она прислала в институт большое письмо и кроме него каждому классу по открытке. Простую теплую открытку «воспитанницам четвертого класса», то есть нашему классу, мы разыграли. Открытку выиграла я. Она сохранилась. Она у меня.

Год 1917-й. Октябрь. Голод

Между тем революционные события, потрясавшие Россию, своеобразно проявлявшиеся на Украине, не могли не отразиться на жизни института. Но институт продолжал существовать, он жил, сохраняя свой порядок. Если теперь всмотреться в даль прошлого, то поражаешься сочетанию устоявшихся традиций в жизни института, своего рода инерции его существования и неизбежного воздействия на его быт общественных потрясений.

29 октября 1917 года я писала бабушке, жившей под Екатеринославом: «Родная и дорогая моя бабуся! Как ты поживаешь? Как твое здоровье? Я и Ната пока здоровы. Отметки у меня ничего.

У нас ужасное происшествие: зарезали нашу экономку 19-го ночью. Ужасно. После этого ночей не спали. Трое каких-то забрались к ней в комнату, обокрали и зарезали. Служили панихиду».

Письмо писано после Октябрьской революции, но о ней ни слова. О ней мы просто слыхом не слыхали. А местное событие, весть о котором принесли нам утром дортуарные девушки, взволновало нас как потрясающее событие. Теперь оно воспринимается как знак наступавших общественных бурь.

И в этом же письме, в котором я писала об убийстве экономки, я сообщала: «Знаешь, бабуся, у нас издается журнал. Наш класс издает. Я дала свое летнее стихотворение «Майский вечер», еще загадки кое-какие. Буду рисовать».

Между тем понемногу стала нарушаться строгая и привычная упорядоченность дня. Все чаще мы простаивали минут десять – пятнадцать на лестнице при спуске в столовую: не был готов обед.

Но самое разительное, что давало себя знать порой весьма мучительно, был голод. Мы стали голодать. В письме к бабушке от 9 ноября 1917 года я прямо писала: «Есть хочется безумно. Теперь нам дают по одному кусочку хлеба. В прошлом году кто сколько хотел, столько и брал. В начале этого года давали по два, а теперь по одному».

«Хитительница»

Из наших стенных шкафчиков стали пропадать продукты: у кого-то исчез пирог, у другого пачка печенья, у третьего бутерброд, а у кого-то и просто кусок хлеба. Девушки, убирающие класс? Но этого никогда не было…

Вскоре «хитительница» была обнаружена. Ею оказалась девочка Смольного института Лена Долье. Она плакала и во всем призналась.

Лена была прелестная девочка с мягким и нежным личиком, светлыми локонами и красивыми карими глазками. Сущий ангел. И вдруг…

Огромное пустое пространство внезапно легло между мной и ею. Я смотрела на нее с недоумением, отчуждением и неприязнью. Ну как она могла?! Разве она не чувствовала, что делает что-то стыдное, позорное?! И вот теперь плачет… Позор на весь институт…

Еще с большим недоумением я увидела, что Лена окружена особым, повышенным вниманием. Настоящая героиня дня! Она все время ходит, окруженная целой группой девочек, обнявшись. Что это? Что их так тянет к ней? Неужели скандальность истории? Скандальный душок?

Я взглянула на Лену. Личико ее было серьезно и бледно. А может быть… может быть, они более правы, чем я со своим отчуждением?! Может быть, они просто жалеют ее?

Через неделю та же история повторилась с нашей девочкой. И так же группа сочувствующих несколько дней ходила с ней обнявшись… А на лице ее я не заметила и тени смущения… Я недоумевала. Что же, голод сильнее всего? И можно все простить??

Нет! Нет!

Хлеб… хлеб…

Выходя из столовой, я и Геня Буйко задержались и отстали от класса. У Гени в руках был ломтик хлеба. «Ты что? Не съела?» – удивилась я. «Я всегда оставляю часть своего хлеба для маленьких. Они трудней переносят голод». Геня Буйко была девочка из Смольного, болезненная на вид и очень некрасивая. На ее круглом бледном лице сильно выдавался вперед небольшой острый нос, а подбородок был резко усечен, и, если смотреть на ее лицо в профиль, оно образовывало острый угол. Кроме того,

она была очень близорука и постоянно ходила в очках… Держалась она несколько обособленно.

И вот она, сама полуголодная, делится крохами своего хлеба… Нет, мне не понравилось ее самопожертвование. Мне почудилось здесь что-то ненормальное, нездоровое, родственное христианской жертвенности, своего рода самоуничижение. Мне даже показалось, что она своим самоотречением и великодушием хочет возместить свои физические недостатки, отсутствие внешнего благообразия. Может быть, так и было.

Мне было органически чуждо ее настроение, а все-таки я подумала: «Геня Буйко несчастливая, но хорошая девочка. Одна таскает чужой хлеб, а эта делится своим последним».

Невероятное происшествие

С левой стороны здания института, если подойти к нему с улицы, была сложенная из кирпича невысокая, но плотная стена-забор. Я никогда не обращала на нее внимания, так как она была отделена от входа деревьями и покрыта вьющейся виноградной лозой.

И вот однажды утром в класс вошла женщина в сером платье и белом переднике и что-то тихо сказала Евгении Владимировне. Евгения Владимировна позвала: «Морозова! Феттер!». Когда мы подошли к ее столу, она велела нам следовать за женщиной в сером платье.

Была ранняя осень. Мы пошли за ней, не надевая пальто, и дворами подошли к внутренней стороне той самой кирпичной стены, которую могли видеть с улицы. За ней оказался двор. Какой огромный двор! А в нем какие огромные сараи! Около сараев стояли большие кузлы, одни и другие. Около одних две незнакомые девочки в зеленых платьях пилили огромное бревно. Нам велено было делать то же: не хватало дров готовить обед. Мы с Олей с трудом вытащили из сарая длинное бревно, взвалили его на вторые козлы и стали пилить.

И вот четыре девочки в зеленых платьях, белых передниках и белых пелеринках часа два старательно пилят толстые бревна.

Так вот где наши дрова, которыми отапливают наше здание, на которых готовят обед и пекут наши булочки!

Мы устали, но отнеслись к этому случаю как к неожиданному чрезвычайно забавному приключению. Больше пилить дрова нас не звали. Может быть, звали других?

К концу ноября 1918 года гражданская война на Украине приняла крайне острый характер. Был создан советский украинский фронт, начали поход большевистские повстанческие дивизии, было разгромлено движение Петлюры. 29 ноября 1918 года Временное рабоче-крестьянское украинское правительство низложило правительство гетмана.

Мы, разумеется, об этом ничего не знали. Но руководство института, понимая серьезность положения, решило прекратить деятельность института и отправить нас по домам. Это, вероятно, было в начале ноября. Насколько я помню, в этот год (III класс) мы занимались очень недолго.

Отпуская нас, нам сказали, что мы уезжаем на небольшой срок и поэтому можем часть своих вещей оставить в институте.

Своих дневников я больше не видела.

3 января 1919 года в Харьков вступили войска красных, и в течение двух недель советская власть установилась на всей территории Харьковской губернии.

В Чугуеве я и сестра поступили в местную гимназию: я в V класс, соответствовавший нашему III-му. В гимназию я ходила в институтской форме. Белую пелеринку, передник, рукавчики я теперь стирала и гладила сама.

Класс был совсем другой, чужой. Мои отношения с новыми одноклассниками были нейтральны, но с двумя девочками я подружилась.

Дома у нас теперь никаких работниц не было. Мама сама готовила обед, мы с сестрой убирали комнаты. Однажды я мыла пол в большой комнате. К порогу подошла бабушка и вдруг с какой-то горечью говорит мне: «Никак не могу понять, кто же вы: барышни или горничные?!». Я очень удивилась: «Барышни, конечно, барышни! Мою пол, а все равно я барышня!».

Вместе с бабушкой приехала и ее библиотека. Я запойно читала.

Когда пришла весна, мы с папой разделали в саду грядки, посадили картофель, морковь, зелень. Кроме того, на моей обязанности лежало готовить топливо для кухни. Сидя на бревне, я топором рубила большие сухие ветви. Рядом лежал том Тургенева, и я не могла оторвать глаз от книги. Мама выходила на крыльцо и спрашивала плачущим тоном: «Таня, ну скоро ли? Мне же надо готовить обед!». И я с трудом отрывала глаза от книги.

Год 1919-й. Последние дни

25 июля 1919 года армия генерала Деникина после напряженных боев вытеснила красных и заняла Харьков, а затем и всю Харьковщину. Начался новый поворот в нашей жизни. Самым значительным следствием смены власти было для меня возобновление деятельности института, его новое открытие и приезд Оли ко мне на несколько дней в Чугуев.

Одно письмо

«Адрес: г. Харьков. Сомовская ул., 1 – 25. Н. М. Петровой, для меня.

Милая, дорогая моя, славная Васюточка.

Как давно я тебе не писала. Веришь, столько непредвиденных дел, маленьких и больших, что, право, некогда было написать. Как только я от тебя приехала, нам заявили, что надо очищать квартиру. Начались поиски, конечно, безуспешные. Одна комната, без отопления, небольшая, со всеми неудобствами стоит от 400 р. до 1000 р. в месяц (в нагорной части, а по окраинам положительно все занято). Мама, бедная, не знала, что делать. Ты понимаешь, что у нас творилось. Наш дом заняли под фабрику и уже перешли, а мы все никак не могли выбраться. Наконец нас приютила у себя одна знакомая, на Рашкиной даче (опять на старом пепелище). Но перевозка! Ужас. Одна подвода стоила в то время (так как подводы реквизировали) 500-600-700 рублей, смотря куда ехать. Наконец переехали.

Деньги, конечно, получили от продажи вещей. Ну, первые 2–3 дня устанавливались, потом как будто и ничего себе стало. Но вдруг заболевает мама. Температура 40, бредит, горит (это было ночью). Я, понятно, не спала. То компресс, то вода. Господи, думаю, неужели у мамы тиф? Кое-как дотянули до утра. Пришел доктор. Плеврит в очень сильной форме. Тут настали для меня деньки. Чуть с ума не сошла. Ночью с мамой вожусь. Утро настает, то воды принести, то дров расколоть, сготовить хоть какой-нибудь обед, об Тосе позаботиться, денег раздобыть – и все я одна. Только недавно мама стала поправляться, но ужасная слабость. Сейчас и то мама говорит: чего сидишь. Но уж тебе я не могу не написать.

Только раз вечером сидела, и вылилось у меня стихотворение.

Сейчас у нас тепло, уютно и больнично,
Горит огонь.

Рутандле учит стих, и кажется на миг
Под мамин бред, под звук дождя привычный
Я позабыла день…

Здесь идет продолжение, фантазия. Когда увидимся в институте, то прочту тебе все. Теперь у меня очень изменился стиль. Эта картина самая спокойная за все эти ужасные вечера. Тосю я назвала Рутандле. Так ее называла покойная тетечка. Васенька, будешь ли ты в институте? Детей добровольцев принимают бесплатно. Формы будут другие. Задержка только в приютских детях, 2 этажа уже освобождено, остался верхний. Занятия неизвестно когда начнутся. Тося ходит в гимназию, I-ю пока, а я, к моему сожалению, не могу ходить далеко, и самое главное, некому нечего делать. Васенька, почему ты мне не написала? Ты, наверно, думаешь, что я не хочу тебе писать? А может быть, и тебе было некогда? Думаю, что последнее предположение вернее. Как Вы поживаете? Вы в Чугуеве или уехали? Как здоровье мамы, бабушки? Кланяйся, пожалуйста, всем. Мама передает привет Вере Павловне. В институт надо брать по 3 тарелки. 1 глубокую, 2 мелких. Ты одну мелкую не бери, так как я тебе отдам ту, что я разбила. Книги у нас в целости и невредимости. Пиши, голубчик Васенька, скорее.

Крепко-крепко целую.

Оля Феттер.

P. S. Кладу деньги для доплаты за письмо 1 р.».

Бесценные сокровища

На один из дней этих осенних месяцев, которые стали последними в нашей институтской жизни, падает одно мое незабываемое, близкое к душевному потрясению переживание.

Я бежала по нижнему коридору, направляясь к месту нашего обитания – в лазарет. Справа почему-то оказалась приоткрытой дверь в нашу бывшую музыкальную комнату. Я непроизвольно заглянула в нее и, войдя, внезапно остановилась, потрясенная представшим передо мной зрелищем. На полу, на подоконниках, на рояле лежали книги. Масса книг, огромная гора книг, достигая потолка, громоздилась в левом углу, наискось от дверей.

Книги! Книги! Сколько книг! Неизъяснимое страстное волнение охватило меня. Мир перестал существовать. Существовали только книги и я. Я задрожала. Книги! Книги! Бесценные сокровища лежали передо мной. Книги! Владеть ими всеми, прочесть их все!!!

Я бережно, как к чему-то хрупкому, прикоснулась к одной книге, подняла другую, раскрыла ее. Ею оказалась французская хрестоматия «Morceaus choisis». Там я нашла большой отрывок из «Misérables» Гюго и «Матео Фальконе» П. Мериме. Другая оказалась «Историей». Я поняла. Это наши учебники, снесенные сюда на время ремонта. И я решила: я буду приходить сюда и брать книги, чтобы прочесть их одна за другой.

Я осторожно спрятала взятые книги за корсаж передника и унесла с собой. Под руководством Натальи Николаевны я методически читала Гюго.

А затем институт закрыли. Книги уехали со мной, и долго хранились у меня эти украденные сокровища.

Отъезд

В моем письме к маме из института в Чугуев, единственном сохранившемся из моих писем того времени (3 ноября 1919 года), есть приписка: «Сегодня была конференция. Постановили: съезда не будет. Занятия для приехавших начинаются через три дня».

Очевидно, было совещание руководителей института, на котором решили, что сбор всех институток в современных обстоятельствах нерационален. Для нас же, съехавшихся, занятия должны были вскоре начаться.

Занятия не начались. Красные наступали. Под напором их отрядов Деникин начал отводить свои войска на юг. В декабре институт стал готовиться к эвакуации. Говорили, что он отправится на остров Мальту.

Мне с сестрой надо было ехать домой в Чугуев. А денег не было. Папа говорил, что оставит нам денег в семье моей крестной матери – Лидии Константиновны Пушенко.

Город был в тревоге. Масса людей готовились к отъезду. Так было и у Пушенко. Зять моей крестной, крупный инженер, весьма состоятельный человек, собирался с женой и сынишкой за границу. Шли сборы. Денег не было.

На следующий день мы решили идти к Васильевым. У Васильевых мы застали ту же картину, что и у Пушенко. Шли сборы к отъезду – за границу. Ф. И. Васильев, папин

однополчанин, крестный отец Наташи, и его жена тотчас дали нам денег. Да и много ли нужно было денег, чтобы доехать из Харькова в Чугуев?

Чуть ли не на следующий день за нами приехал присланный папой солдат. В черных институтских шапочках, длинных черных пальто, прикрывавших наши платья, с мешками за плечами мы вошли в поезд. Вагон был переполнен. Я, Ната и солдат остановились в тамбуре. Мимо шел солдат, очевидно какой-то дежурный, он грозно сказал: «Здесь стоять нельзя. А то…» – и погрозил мне шомполом. Я опустила глаза, но с места не двинулась.

На вокзале в Чугуеве нас ждала посланная папой лошадь. Дома та же картина, что у Феттер, Пушенко, Васильевых. Шли поспешные сборы в неизвестную далекую дорогу.

Мы брали с собой множество вещей. Помню огромную плетеную корзину, чуть короче кровати и почти вдвое выше. В ней поехали наши институтские формы. А кроме корзины бесчисленные ящики, чемоданы, узлы. Не брали только мебель.

Мы погрузились в теплушку товарного поезда со множеством самых разнообразных незнакомых людей. Было несколько молодых белых офицеров.

Вечером, когда укладывались спать, мне не хватило места на нижней полке нар. Решили положить меня на верхнюю рядом с каким-то незнакомым пожилым человеком. Но этот человек сразу внушил мне такое отвращение, что я наотрез отказалась лечь рядом с ним. Несмотря на мамины уговоры, я упорно стояла на своем. Маме пришлось извиниться, и меня положили рядом с незнакомым молодым офицером. Спали мы все в одежде. Мы легли с моим соседом лицом к лицу, несколько минут поговорили и заснули до утра, как невинные голуби.

Поезд шел на Новороссийск. Наша же семья покинула поезд раньше (может быть, именно в Новочеркасске). Ехать дальше, ехать за границу нам было не с чем и незачем.

Прощаясь со спутниками, мама взяла мой институтский башлык (съемный капюшон с длинными концами-завязками. – *Прим. ред.*) и повязала им голову поверх фуражки одному молодому офицеру, которому нездоровилось. Мне было немного жаль башлыка, но все же я одобрила маму.

Папа договорился с подводами, и мы двинулись куда-то в сторону. Ехали мы мимо каких-то хуторов. Был декабрь. Снег лежал на полях, но из хат выбегали полуголые ребятишки и носились по полям. Это была Кубань.

Вечером мы приехали в Анапу. В большой частной гостинице нас поместили в огромной комнате. В ней уже расположилась

семья генерала Анисимова – жена, двое детей, учитель. Мой отец к концу войны был полковником. Мы познакомились, перекусили и устроились спать.

На следующий день мы вместе с семьей Анисимовых сняли на одной из окраинных улиц Анапы небольшой домик в три комнаты, с кухней и застекленной галереей и поселились в нем. Хозяйство тоже стали вести совместно.

Эпилог

Наше прекрасное, ставшее родным здание института было разбито бомбами фашистов. Это был совершенный конец.

Я была в Харькове после Отечественной войны и специально ходила к тому месту, где еще недавно высилось здание института. Все его остатки были уже убраны. Но слева еще стояла надломленная невысокая стена, за которой я с Олей некогда пилила дрова, была неровной полоской сбита ее верхушка. Обнажились кирпичи, из которых она была сложена. Бедная милая стена! Помнишь ли ты девочек в зеленых платьях, которые под твоей охраной пилили тяжелые бревна? Потом и стена исчезла.

Мне сказали, что парк института преобразован и в нем стоит памятник Шевченко. Я и туда пошла. Но ничто вокруг не напоминало мне наш сад. Мне даже казалось, что институт был ближе к той башне, на которой и теперь горделиво красуется надпись «Salamanra». Когда мы с мамой ехали на извозчике после каникул в институт, то всегда смотрели на эту башню. Знали: за ней почти тотчас будет наша обитель.

Я подошла к деревцу парка Шевченко, которое стояло неподалеку от дороги, взяла его за веточку и сказала: нет, ты слишком молодо, чтобы знать девочек, гулявших по этой тропинке и думавших о своих горестях, обидах, переживавших невинные радости и мечтавших о счастье. Тебе все равно, как сложились их судьбы. Наблюдай же другую, новую жизнь! Будет ли она лучше? Кто знает?

notes

Примечания

1

Предваряя публикацию, Бартенев сообщал, что рукопись записок сохранилась в Калуге у Варвары Александровны Зыбиной (воспитанницы Г.И. Ржевской) и была предоставлена в редакцию «Русского архива» внуком мемуаристки П.Н. Свистуновым. По словам Бартенева, Ржевская «в понятиях своих и суждениях, в образе мыслей и действий <…> представляет собой замечательный тип так называемой «монастырки» доброго старого времени».

2

Отец Г.И. Ржевской – Иван Акинфиевич Алымов (? – 1759), отставной полковник лейб-гвардии Конного полка.

3

Мать Г.И. Ржевской – Анна Васильевна Алымова.

4

Смольный институт (официальное название – Воспитательное общество благородных девиц) был основан указом Екатерины II 5 мая 1764 г. Соответствовал разработанной Екатериной и И.И. Бецким программе «создания новой породы людей», сформулированной в «Генеральном учреждении о воспитании обоего пола юношества», согласно которой «просвещенный науками разум не делает еще доброго и прямого гражданина, но во многих случаях паче во вред бывает, если кто от самых нежных юности своих лет воспитан не в добродетелях, и твердо оные в сердце его не вкоренены. Посему ясно, что корень всему злу и добру – воспитание. Достигнуть же сего последнего с успехом и твердым исполнением не инако можно, как избрать средства к тому прямые и основательные, т. е. произвесть сперва способом воспитания, так сказать, новую породу или новых отцов и матерей, которые детям своим те же прямые и основательные воспитания правила в сердце вселить могли, какие они получили сами, и от них дети передали паки своим детям, и так следуя из родов в роды в будущие века» (цит. по: Семенов ДД Деятельность К.Д. Ушинского в Смольном институте по личным воспоминаниям автора // Памяти К.Д. Ушинского. СПб., 1896. С. 70). Для осуществления плана воспитанницы нового учебного заведения должны были надолго быть изъяты из семьи и в отрыве от пагубных домашних примеров воспитаны в соответствии с новыми правилами благонравия и добродетели. В институт принимали в шестилетнем возрасте; курс обучения длился 12 лет и состоял из четырех трехлетних классов. Все это время воспитанницы безвыездно пребывали в стенах института и не имели свиданий с родными. Для занятий первоначально назначались только учительницы, которые должны были неотлучно днем и ночью находиться при детях. Эти правила просуществовали в Смольном до кончины Екатерины II. Императрица Мария Федоровна, взявшая институт под свое покровительство, провела в нем ряд преобразований: срок обучения был сокращен до 9 лет – трех трехлетних классов, возраст приема в институт повышен до 9 лет, разрешены свидания с родными, для преподавания приглашены учителя-специалисты, а круглосуточно находиться при детях стали классные дамы.

5

Долгорукова Анна Сергеевна (1719–1778) – княжна, камер-фрейлина, начальница Смольного института в 1764–1767 гг. «Княжна Долгорукова недолго пробыла начальницей; надменная, малообразованная, суеверная, лишенная педагогического и административного такта, она скоро обнаружила неподготовленность и неспособность к выполнению возложенной на нее императрицей трудной и ответственной должности» (Черепнин Н.П. Императорское воспитательное общество благородных девиц: Исторический очерк. СПб., 1914. Т. 1. С. 81).

6

Лафон Софья Ивановна де (1717–1797) – из семьи гугенотов; переселилась в Россию из-за религиозных гонений. Правительница Воспитательного общества благородных девиц в 1764–1773 гг. и его начальница с 1773 г.; статс-дама (1796), кавалерственная дама ордена Св. Екатерины малого креста (1797). Оценка мадам Лафон современниками была неизменно высока. Так, И.М. Долгоруков писал о ней: «Жена моя, как и все монастырки, имела к ней неограниченную доверенность и почтение <…> По тому уважению, которое оказывала ей жена моя до последнего издыхания, я не могу и сам забыть г-жи Лафон, хотя, впрочем, не входил никогда с ней <…> ни в какое непосредственное отношение» (Долгоруков И.М. Капище моего сердца. М., 1997. С. 42–43). См. о ней: Русский биографический словарь. Том «Лабзина – Ляшенко». СПб., 1914. С. 91.

7

Бецкой Иван Иванович (1704–1795) – видный русский просветитель, главный попечитель Воспитательного общества благородных девиц (1764–1795), инициатор школьной реформы 1763–1764 гг., в результате которой была создана система закрытых учебно-воспитательных учреждений сословного характера. См. о нем: Майков П.М. И.И. Бецкой: опыт его биографии. СПб., 1904.

8

Сен-Сир – первая в Европе женская закрытая школа, основанная на государственные средства и предназначенная для воспитания дочерей небогатых французских дворян. Была учреждена в 1686 г. недалеко от Парижа мадам де Ментенон – фавориткой, затем морганатической женой Людовика XIV. Просуществовала до Великой французской революции. Носила название «Институт св. Людовика» (а также «Дочери св. Людовика»). Школа в Сен-Сире, которую окончила и С.И. де Лафон, послужила образцом для Смольного института, а затем и других женских институтов России.

9

Речь идет об особо почетной награде, занимавшей в иерархии знаков отличия, принятой в России, исключительное место. Она представляла собой небольшой овальный медальон с изображением правящего монарха (в редких случаях – двух монархов: предшествующего и настоящего), обычно в бриллиантовой оправе. «Портрет» вручался лицам, наиболее близким к особе государя либо наиболее им отличаемым.

10

Имеется в виду Анна Васильевна Рубановская (1750-е гг. – 1783), одноклассница и близкая подруга Ржевской по Смольному. Окончив – также с шифром – в 1776 г. курс Смольного, Рубановская в том же году вышла замуж за писателя А.Н. Радищева. От этого брака у нее были дочь и три сына: Василий (1777 —?), Николай (1779–1829) и Павел (1783 – после 1858), которых после смерти Радищевой в 1783 г. воспитывала ее сестра, также выпускница первого набора Смольного, Елизавета Васильевна Рубановская (? – 1797), вскоре ставшая гражданской женой Радищева и последовавшая за ним в сибирскую ссылку.

11

В Москве воспитательный дом был создан по проекту И.И. Бецкого в 1763 г., в Петербурге – в 1770 г. Воспитательные дома представляли собой благотворительные закрытые учебно-воспитательные учреждения для «приема и призрения подкидышей и бесприютных детей». Воспитанники дома получали начальное образование, обучались ремеслам.

12

Два заведения при Смольном монастыре – Воспитательное общество благородных девиц (с 1842 г. – Николаевская половина, или Николаевский институт) и Мещанское отделение (с 1765 г.). Первоначально обучение «мещанок» продолжалось также 12 лет. Императрица Мария Федоровна сократила срок обучения до 6 лет (два трехлетних класса) и с 1814 г. распорядилась принимать в Мещанское училище дочерей военных (до чина подполковника включительно). Позднее сюда стали принимать дочерей полковников и штатских чиновников от титулярного советника до коллежского советника, а также дочерей дворян, внесенных в третью часть дворянской книги, священников, протоиереев, евангелических пасторов. В 1842 г. училище стало называться Александровским (Александровской половиной) в честь наследника-цесаревича Александра Николаевича; с 1891 г. – Александровский институт. Оба института находились на территории Смольного монастыря, имели единое начальство и штат учителей, но размещались в разных зданиях и различались программой и длительностью обучения.

13

Имеется в виду Алексей Андреевич Ржевский (1737–1804) – по словам Бартенева, «один из образованнейших людей того века». Депутат Уложенной комиссии 1777 г., исполняющий обязанности директора Академии наук (1772), президент Медицинской коллегии (с 1783 г.), сенатор; под конец жизни имел чин действительного тайного советника. Видный масон; известный в свое время литератор: в 1760–1763 гг. участвовал в журналах М.М. Хераскова «Полезное увеселение» и «Свободные часы», переводил статьи из «Энциклопедии» Д. Дидро и Ж. Д'Аламбера, был автором трагедии «Смердий и Прелеста», многих стихотворений.

14

Рибас Анастасия Ивановна де (в девичестве Соколова; 1741–1822), камер-юнгфера Екатерины II (по некоторым сведениям, сопровождала Екатерину 28 июня 1862 г., в день ее восшествия на престол, из Петергофа в Петербург); с 1776 г. жена Иосифа де Рибаса (1749–1800), адмирала русской службы, известного своей ролью в основании Одессы (в его честь была названа Дерибасовская улица).

15

Из смолянок первого выпуска ко двору были взяты пять человек: Г.И. Алымова-Ржевская, Е.И. Молчанова (1758–1809), А.П. Левшина (1757–1782), Н.С. Борщова (1758–1843) и Е.И. Нелидова (1758–1839). В 1772–1776 гг. Д.Г. Левицкий выполнил для Екатерины II их портреты (ныне в Русском музее).

16

Разумовский Андрей Кириллович (1752–1836) – граф, известный дипломат, фаворит великой княгини Натальи Алексеевны.

17

15 апреля 1776 г. великая княгиня Наталья Алексеевна умерла от родов, поэтому торжества первого выпуска в Смольном были значительно скромнее, чем первоначально предполагалось. Их перенесли с 21 апреля на 30-е, и императрица Екатерина II на празднике не присутствовала (см.: Черепнин Н.П. Императорское воспитательное общество благородных девиц. СПб., 1914. Т. 1. С. 174).

18

Брат Натальи Алексеевны – принц Людвиг Гессен-Дармштадтский (1753–1830).

19

Румянцева Екатерина Михайловна (урожд. княжна Голицына; 1724–1779) – графиня, статс-дама, гофмейстерина двора великого князя Павла; жена генерал-фельдмаршала графа П.А. Румянцева-Задунайского.

20

Нелидова Екатерина Ивановна (1758–1839) – смолянка первого выпуска, была награждена малой золотой медалью и шифром и взята фрейлиной к великой княгине Наталье Алексеевне. Затем стала фрейлиной Марии Федоровны. Фаворитка Павла I в 1785–1798 гг. Последние годы жизни провела в стенах Смольного института, где занимала неофициальное положение дамы-патронессы. Как вспоминала смолянка В.И. Анненкова, «личность эта страстно интриговала воспитанниц своею таинственной загадочностью и почетом, которым окружали ее институтское начальство и вся царская фамилия. Словно теперь вижу я, как крадется вдоль стен во время наших экзаменов странное маленькое существо в сером платье, пробираясь к месту позади начальницы, и как нам было жутко, когда она останавливала на которой-нибудь из нас пристальный взгляд своих больших серьезных черных глаз. <…> Все были почему-то убеждены, что она ужасно горда, считает себя выше всех и, никого к себе не приближая, никого ни о чем не расспрашивая, все знает, и что от ее проницательности ничто не может укрыться» (Люди былого времени. Из рассказов В.И. Анненковой и др. старожилов // Рус. архив. 1906. № 1. С. 111–112). О Е.И. Нелидовой см.: Шумигорский Е.С. Е.И. Нелидова. СПб., 1898.

21

Бенкендорф Анна Юлиана (урожд. баронесса Шиллинг фон Канштадт; 1758–1797) – подруга детства великой княгини Марии Федоровны, вместе с которой приехала в Россию. Мать графа А.Х. Бенкендорфа, шефа жандармов и начальника III отделения в 1826–1844 гг.

22

Знаком ордена Св. Екатерины был белый эмалевый медальон с изображением Св. Екатерины, в крестообразной оправе из бриллиантов. Орден носился на красной ленте с серебряной каймой. Он имел две степени: малый и большой крест. Малый крест носили на левой стороне груди на банте из орденской ленты с вышитым девизом «За любовь и отечество». Число кавалерственных дам малого креста не могло быть более 94, большого – более 12.

23

Кутайсов Иван Павлович (1759–1834) – граф (с 1799 г.), любимец Павла I. Егермейстер (1798–1800), обер-шталмейстер (1800–1801).

24

Гагарина Анна Петровна (урожд. княжна Лопухина; 1777–1805) – княгиня, фаворитка Павла I с 1798 г.

25

Жених – камергер Николай Петрович Свистунов (1770–1815), его отец – сенатор Петр Семенович. По словам Бартенева, оба они «были любимцами императора Павла. Н.П. Свистунов долго не мог примириться с воцарением Александра, тотчас вышел в отставку и лишь в 1812 г., по настоянию своего приятеля С.К. Вязмитинова, поступил директором департамента в Министерство полиции».

26

А.А. Ржевский был отрешен от должности 4 сентября 1800 г.

27

Ржевский Павел Алексеевич (1784–1852) – в 1802 г. поручик лейб-гвардии Семеновского полка, в 1805 г. ротмистр, с 1807 г. в лейб-гвардии Гусарском полку; позднее камергер, действительный статский советник.

28

Безбородко Александр Андреевич (1747–1799) – князь, действительный тайный советник; государственный канцлер с 1797 г.

29

Ржевский Александр Алексеевич (1781–1807) – офицер лейб-гвардии Семеновского полка с 1796 г. В 1802 г. флигель-адъютант, в 1806 г. полковник. Погиб в сражении. Был женат на Варваре Александровне Римской-Корсаковой (1784–1813).

30

Волконский Петр Михайлович (1776–1852) – князь, адъютант великого князя Александра (с 1797 г.); генерал-квартирмейстер (1810), генерал-фельдмаршал (1843); начальник Главного штаба армии (1812–1823); министр двора и уделов (с 1826 г.).

31

Уваров Федор Петрович (1769–1824) – генерал-адъютант (1794), генерал-майор (1799), генерал от кавалерии (1814); входил в ближайшее окружение Александра I.

32

Екатерининский институт благородных девиц официально именовался Институтом ордена Св. Екатерины. В 1802 г. институт с таким же названием был открыт и в Москве. С 1844 г. им был присвоен первый разряд. Кавалерственные дамы ордена Св. Екатерины считались покровительницами этих институтов.

33

Итальянский дворец находился на набережной Фонтанки, 36. В 1804–1807 гг. на том же месте специально для Екатерининского института архитектором Дж. Кваренги было построено новое здание, сохранившееся до наших дней.

34

Дубровин Владимир Иванович (1810–1847) – поручик.

35

Непейцын Сергей Васильевич (ок. 1770 – после 1843) – участник Русско-турецкой войны 1787–1791 гг. и Отечественной войны 1812 г. (командовал партизанским отрядом от корпуса П.Х. Витгенштейна). С 1812 г. полковник лейб-гвардии Семеновского полка; в 1816 г. уволен от службы генерал-майором.

36

Орлов Владимир Григорьевич (1743–1831) – граф, генерал-поручик; брат екатерининских вельмож Григория и Алексея Орловых; Новосильцева Екатерина Владимировна (урожд. графиня Орлова; 1770–1849).

37

Школа гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров была основана в 1823 г.; позднее (в 1864 г.) преобразована в Николаевское кавалерийское училище.

38

Орлов Алексей Федорович (1786–1861) – граф (1825), генерал от инфантерии, шеф жандармов и начальник III отделения собственной е.и.в. канцелярии с 1844 г. Личный друг Николая I. Внебрачный сын Ф.Г. Орлова, А.Ф. Орлов приходился племянником В.Г. Орлову.

39

Мятлева Прасковья Ивановна (урожд. графиня Салтыкова; 1772–1859) – родная сестра А.И. Орловой; мать поэта И.П. Мятлева.

40

Орлов Михаил Федорович (1788–1842) – генерал-майор, декабрист. Родной брат А.Ф. Орлова; племянник В.Г. Орлова.

41

Скобелев Иван Никитич (1778–1849) – генерал-майор, комендант Петропавловской крепости в 1839–1849 гг., писатель.

42

Речь идет о С.В. Непейцыне, потерявшем ногу во время Русско-турецкой войны 1787–1791 гг.

43

Болотов Алексей Павлович (1803–1853) – генерал-майор, профессор Генерального штаба, где преподавал геодезию и топографию. Внук известного А.Т. Болотова. С Дубровиными был в дальнем родстве; предком Дубровиных был родной брат Тимофея Петровича Болотова (отца Андрея Тимофеевича и прапрадеда А.П. Болотова) – Матвей Петрович (? – 1766).

44

Хрущовы были в отдаленном родстве с Дубровиными: прадед мемуаристки Михаил Матвеевич Болотов (1739–1791) был женат на Марии Петровне Стахеевой (? – 1786); ее сестра Прасковья Петровна Стахеева была замужем за Николаем Яковлевичем Хрущовым (1759 —?).

45

Болотова Екатерина Алексеевна (урожд. Ляхова; 1781–1856) – вдова губернского секретаря Андрея Михайловича Болотова (1780 – до 1831).

46

Серапин Федор Дмитриевич (1787–1862) – коллежский асессор, владелец гостиницы и конторы дилижансов в Петербурге.

47

Филарет (Дроздов Василий Михайлович) (1782–1867) – митрополит Московский и Коломенский в 1826–1867 гг.

48

Орлова – Чесменская Анна Алексеевна (1785–1848) – графиня, фрейлина, тетка А.Ф. Орлова; была известна своей набожностью.

49

Сутгоф Александр Николаевич (1799–1874) – полковник, начальник Гвардейской школы подпрапорщиков в 1843–1859 гг., затем в чине генерал-майора начальник Николаевского кавалерийского училища (1859–1863).

50

Александр Николаевич (1818–1881) – будущий император Александр II.

51

Олсуфьев Василий Дмитриевич (1796–1858) – обер-гофмейстер, гофмаршал двора великого князя Александра Николаевича.

52

Смирнов Николай Михайлович (1807–1870) – калужский гражданский губернатор в 1845–1851 гг.; муж мемуаристки А.О. Смирновой-Россет.

53

Константин Николаевич (1827–1892) – великий князь, сын Николая I.

54

Васильчиков Алексей Васильевич (1778–1854) – сенатор с 1820 г.; Оржевский Василий Владимирович (1797–1867) – в то время служил директором Департамента полиции исполнительной, сенатором стал только в 1855 г.

55

Пепиньерка (от фр. pepiniere) – воспитанница, оставленная в институте по окончании курса для обучения в специальном педагогическом классе и для педагогической практики.

56

Родзянко Екатерина Владимировна (урожд. Квашнина-Самарина; 1794–1877) – начальница петербургского Екатерининского института с 1839 г. Воспитанница Смольного института, вдова генерал-майора Михаила Петровича Родзянко. По воспоминаниям воспитанницы, а с 1869 г. классной дамы Екатерининского института С.А. Аникеевой, «Е.В. Родзянко была личность замечательная. Это была настоящая русская боярыня, любившая свою родину и свой институт, <…> любимая и уважаемая царской семьей и умевшая привлечь расположение царя и царицы к нашему институту. При всем этом она была весьма проста, задушевна и симпатична в обращении со всеми. Это была женщина умная, благочестивая, с теплой отзывчивой душой, обожаемая мать, нежнейшая бабушка <…> была образованна и глубоко сердечна, умела хорошо понять труд и достойно оценить его» (Аникеева С.А. Воспоминания бывшей институтки о С.-Петербургском Екатерининском институте. СПб., 1899. С. 32–33).

Пицулевич Матвей Антонович, статский советник.

58

Воспитанницы большинства женских институтов (за исключением Смольного) делились на два возраста (класса) – младших и старших. Внутреннее деление возрастов было на параллельные отделения (в различных институтах их могло быть 3 или 4). В первое отделение и старшего и младшего возраста попадали девушки наиболее знатного происхождения и наилучшей подготовки.

59

Табельные дни – дни официальных государственных праздников (тезоименитства государя, годовщины коронации и пр.); в обиходе отличались от обычных (церковных) праздников, т. к. в табельные дни устраивалась иллюминация, улицы украшались государственными флагами и т. д.

60

Мария Александровна (1824–1880) – императрица (с 1855 г.), жена Александра II.

61

Родзянко Евдокия Петровна (в замужестве княгиня Хилкова) – племянница Е.В. Родзянко по мужу: дочь Петра Петровича Родзянко (1807–1852) и Марии Васильевны Муратовой (1820–1850).

62

О принце Петре Георгиевиче Ольденбургском (1812–1881), председателе Главного совета женских учебных заведений с 1845 г., институтки вспоминали очень тепло. См.: Гарулли В. Указ. соч. С. 35–36; Аникеева С.А. Указ. соч. С. 35–36; Ковалевская Н. Указ. соч. С. 618–619.

63

Ломакин (Ламакин) Гавриил Акимович (1812–1885) – титулярный советник, регент Екатерининского института и Шереметевской капеллы в Петербурге, «знаменитый в то время, известный своими музыкальными произведениями по части церковного пения. По мнению некоторых подруг, он был немного похож на <…> Александра II. Почти такой же величественный рост, такие же бакенбарды. <…> Разделив нас по разным голосам, он торжественно садился за рояль и аккомпанировал нам с закрытыми глазами, такая была у него привычка. Всякий раз, заслышав фальшивую ноту, он широко раскрывал глаза и, обращаясь в ту сторону, где слышалась фальшь, протяжно произносил: «Альты врут»» (Гарулли В. Указ. соч. С. 31).

64

Кавос Иван (Джованни) Катаринович (1805–1861) – композитор, хормейстер петербургской оперы, преподаватель итальянского пения в Екатерининском институте.

65

Ср. описание распорядка дня в воспоминаниях старшей соученицы Стерлиговой С.А. Черевиной: «Распределение времени было следующее: круглый год вставали по звонку в 6 часов утра. В 6 общая молитва в большом зале, – католички составляли поодаль круг и молились; лютеранки молились в другом конце нашего огромного зала. В 7 час. попарно отправлялись в столовую – подавали сбитень (молоко с медом), оно было вполне по вкусу, – некоторые за известную годовую плату получали у классных дам чай. От 8 до 8 ч. 45 м. шло приготовление уроков или урок музыки – по расписанию перед каждым из многочисленных фортепиано. От 8 ч. 45 мин. до 9 час. читались вслух Евангелия в каждом отделении. От 9 до 12 ч. две смены учителей (между двумя уроками – проветривание класса и выметался сор). В 12 час. шли попарно в столовую к обеду, и некоторым, по расписанию, приходилось приготовление или урок музыки. В 1 час пополудни они составляли несколько пар и отправлялись к обеду. От 1 до 2 ч. гуляние по саду; если погода не дозволяла, то наставало свободное время, столь ценимое для приготовления какого-нибудь урока. От 2 до 5 ч. снова две смены учителей (в промежутке тоже проветривание и прочее). В 5 вносили корзину с ломтями черного солдатского хлеба да квас. Некоторые (даже числом больше, чем утром) пили опять-таки чай у классных дам. От 6 до 8 ч. танцы и пение (у кого оказывался голос), а в субботу – всенощная. Этим объяснялось, что назначенное это время от 6 до 8 ч. не существовало для многих, особенно в старших классах, в виде приготовления уроков, – мастерски урывали мы для этого часы предполагаемого сна. В 8 ч. попарно отправлялись в столовую к ужину, затем общая молитва, а в 9 ч. ложились спать» (Воспоминания воспитанницы XVIII выпуска Софии Черевиной, по замужеству Родзянко, от декабря 1847 до февраля 1853 г. СПб., 1898. С. 5).

66

О классной даме М.Г. Араловой (Ораловой) сохранились упоминания в записках нескольких екатерининских институток. В частности, В. Гарулли запомнила эту престарелую даму, «оправдывавшую свою фамилию» и «вечно оравшую на весь институт» (Гарулли В. Указ. соч. С. 11). См. также: Воспоминания воспитанницы XVIII выпуска Софии Черевиной… С. 3. Отцом Ораловой был петербургский учитель Григорий Федорович Оралов, преподававший в начале XIX в. грамматику, арифметику и катехизис в Юнкерской школе.

67

Норов Авраам Сергеевич (1785–1869) – товарищ министра просвещения в 1850 г., министр народного просвещения в 1853–1856 гг., член совета училища ордена Св. Екатерины; Борх Александр Михайлович (1804–1867) – граф; действительный тайный советник, обер-церемониймейстер, также член совета.

68

Александра Федоровна (1798–1860) – императрица, жена Николая I.

69

Родзянко Екатерина Михайловна (1823–1900) – дочь Е.В. Родзянко, фрейлина с 1862 г.

70

Черевина Софья Александровна (1835–1910) – мемуаристка, с 1854 г. жена полковника Кавалергардского полка М.М. Родзянко, сына Е.В. Родзянко.

71

Деер (Дейер) Анастасия Александровна, вдова действительного статского советника; начальница московского Екатерининского института в 1852–1862 гг.

72

Об инспектрисе Фан дер Фур есть упоминание в воспоминаниях В. Гарулли (Гарулли В. Указ. соч. С. 26).

73

24 ноября по старому стилю отмечался день Св. Екатерины; в этот день был праздник в институтах ордена Св. Екатерины.

74

Речь идет о так называемом «Фонтанном доме» графов Шереметевых (наб. Фонтанки, 34; архитекторы С.И. Чевакинский и Ф.С. Аргунов, 1750–1755).

75

Бюнтинг Мария Николаевна фон (урожд. фон Медем) – выпускница петербургского Екатерининского института, начальница его с 1878 г.

76

Черевина Наталья Александровна (в замужестве Казнакова; 1841 —?) – сестра С.А. Черевиной.

77

Гофман Андрей Логгинович (1798–1863), статс-секретарь, и Броневский Дмитрий Богданович (? – 1867), генерал-лейтенант, директор Царскосельского лицея (1840–1853), – члены Главного совета женских учебных заведений.

78

Черевин Петр Александрович (1837–1896) – юнкер Школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, брат Н.А. и С.А. Черевиных; в дальнейшем товарищ шефа жандармов, товарищ министра внутренних дел в 1880–1883 гг.

79

Бомбоньерка (бонбоньерка: от *фр.* bonbonniere) – конфетная коробка; несессер (от *фр.* necessaire – необходимый, нужный) – компактный футляр с туалетными принадлежностями и другими необходимыми в дороге предметами.

80

В 1855 г. Россия вела войну с Англией, Францией и Турцией.

81

О костюмированных балах в петербургском Екатерининском институте вспоминала Н.М. Ковалевская: «Можно сказать, что костюмы были великолепные: турчанки, гречанки, тирольки, словом, всех наций, какие нам были известны, являлись в зал пестрой толпой, сияя молодостью, красотой и красивым нарядом. <…> Было 7 часов вечера, большой зал был освещен светло и красиво. Его высочество принц Ольденбургский, начальница со своими знакомыми, родные – уже заняли свои места; попарно ввели девиц в казенных платьях, за ними шли костюмированные тоже парами, в порядке надетых национальных костюмов. Когда все заняли свои места, начались танцы. Вдруг музыканты заиграли какой-то веселый вальс, двери из физической комнаты с шумом широко распахнулись, и в зал стала катиться со звоном и треском огнедышащая гора, выбрасывающая из своего жерла не лаву, нет, а конфеты, фрукты и разные сласти, которые ловко подхватывали девицы. За горою появился верстовой столб и ветряная мельница. Махая своими крыльями, она захватила ими столб и стала вертеться в бешеном вальсе. Все это очень понравилось начальнице, но больше всего – показавшаяся затем цыганская палатка с группами цыганок в самых разнообразных костюмах, которые под звуки музыки плясали по-цыгански, а кончив танцы, запели песню» (*Ковалевская Н.* Указ. соч. С. 619–620).

82

Речь идет о княжне Софье Сергеевне *Трубецкой* (1838 —?), дочери князя Сергея Васильевича Трубецкого (1815–1859) и Екатерины Петровны Мусиной-Пушкиной. В 1857 г. Трубецкая вышла замуж за герцога Шарля-Луи Огюста де Морни (1811–1865), побочного брата Наполеона III, посла Франции в России в 1856–1857 гг., президента французского Законодательного корпуса в 1854 и 1857–1858 гг.

83

По свидетельству В. Гарулли, «кусочками» назывались у институток всякие лакомства. К числу «кусочков» относились паточные леденцы, замороженные яблоки, медовые пряники, колбаса, драже и т. п. (Гарулли В. Указ. соч. С. 43).

84

«Звездочка» – журнал для детей, выходивший в Петербурге в 1842–1863 гг.; с 1845 г. – двумя отдельными изданиями с подзаголовками «Журнал для детей младшего возраста» и «Журнал для детей старшего возраста» (в 1850–1860 гг. второе издание выходило под названием «Лучи. Журнал для девиц»). Издательницей обоих журналов была А.О. Ишимова.

85

Памятник И А. Крылову в Летнем саду Петербурга был открыт 12 мая 1855 г. (скульптор П.К. Клодт). Домик Петра Великого – Летний дворец Петра I в северо-восточной части Летнего сада (архитектор Д. Трезини, 1710–1714).

86

Принцесса Матильда (1820–1904) – дочь Жерома Бонапарта (младшего брата Наполеона I), жена Анатолия Николаевича Демидова (1812–1869), получившего в результате этого брака итальянский титул князя Сан-Донато. Их брак длился всего около четырех лет (1841–1845); затем супруги разъехались.

87

История родителей Трубецкой была скандальной: ее мать Екатерина Петровна, дочь генерал-майора Петра Клавдиевича Мусина-Пушкина, фрейлина двора, была известна своей красотой и легкомыслием. С.Н. Карамзина писала о ней: «Катрин Пушкина пошла, глупа, как мало женщин на земле; ни зернышка здравого смысла в голове и никаких принципов поведения в сердце. Тот, кто женится на ней, будет отъявленным болваном, над которым она же, не стесняясь, станет издеваться, обуреваемая страстью к десяти другим, ибо в этом она превзошла всех» (Пушкин в письмах Карамзиных 1836–1837 гг. М.; Л., 1960. С. 341). В 1835 г. ею увлекся и едва не женился на ней писатель граф В.А. Соллогуб, затем В.А. Давыдов (сын пушкинского «толстого Аристиппа» А.Л. Давыдова). В конце 1837 г. она оказалась беременна. А.Я. Булгаков в письме П.Ф. Макеровскому от 9 июля 1837 г. рассказывал: «Весь Петербург теперь только занят обрюхатевшею фрейлиною Пушкиною. Государь всегда велик во всех случаях. Узнавши, кто сделал брюхо, а именно князь Трубецкой, молодой повеса, сын генерал-адъютанта, он их повелел тотчас обвенчать и объявил, что она год уже, как тайно обвенчана. <…> Экой срам!» (Рус. архив. 1908. № 3. С. 376). Вскоре после венчания Трубецкие разъехались, ребенок родился и воспитывался за границей. С.В. Трубецкой вступил в службу из камер-пажей в Кавалергардский полк, в 1837 г. за «шалости» был переведен в лейб-гвардии Кирасирский полк. Входил в известный по биографии М.Ю. Лермонтова «кружок шестнадцати», в конце 1839 г. перевелся на Кавказ и был прикомандирован к Гребенскому казачьему полку. Здесь участвовал в боевых действиях, продолжал приятельствовать с Лермонтовым. Во время последней дуэли поэта был секундантом Н.С. Мартынова. В 1843 г. вышел в отставку и «определен к статским делам». В 1851 г. нашумела история похищения им «жены коммерции советника» Лавинии Жадимировской, ознаменованная вмешательством III отделения и лично Николая I; описана в очерке П.Е. Щеголева «Любовь в равелине» (см.: Алексеевский равелин. М., 1998. Кн. 1. С. 357–377) и послужила основой романа Б. Окуджавы «Путешествие дилетантов». Трубецкой был арестован, полгода провел в Алексеевском равелине Петропавловской крепости, был судим военным судом, лишен чинов, дворянства и княжеского достоинства и переведен рядовым в Оренбургские линейные батальоны, в порт Петровский на Аральском море. В ноябре 1855 г. был уволен со службы с

чином подпоручика и до конца жизни находился под секретным надзором (в 1857 г. дворянство и титул были ему возвращены).

Семья Трубецких была очень близка ко двору, чем и объясняется особое внимание императорской семьи к дочери «урожденного князя». Старший брат Сергея Васильевича – Александр (1813–1889), штаб-ротмистр Кавалергардского полка, пользовался большим расположением императрицы Александры Федоровны; сестра – Мария Васильевна (1819–1895) была фрейлиной двора. Сплетники, и в их числе князь П.В. Долгоруков, уверяли, что она имела добрачную связь с великим князем Александром Николаевичем (см.: Долгоруков П.В. Петербургские очерки. М., 1992. С. 229). М.В. Трубецкая была замужем за флигель-адъютантом А.Г. Столыпиным, а после его смерти – за князем С.М. Воронцовым (с 1851 г.). Подробнее см.: Сборник биографий кавалергардов. СПб., 1908. Т. 4. С. 74; Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1899. Т. 4. С. 25; Герштейн Э. Судьба Лермонтова. М., 1964. С. 63, 333–340.

88

Скорее всего – Прасковья Арсеньевна Бартенева (1811–1872), фрейлина императрицы Александры Федоровны, певица-любительница. А.Ф. Тютчева вспоминала о ней: «Полина была очень добрая девушка, чрезвычайно толстая и с прелестным голосом; мой отец (Ф.И. Тютчев) про нее говорил, что это соловей, заключенный в перину» (Тютчева А.Ф. Воспоминания. М., 2000. С. 33–34; см. также: Сабанеева Е.А. Воспоминания о былом // История жизни благородной женщины. М., 1996. С. 396–397). Фрейлиной была также родная сестра П.А. Бартеневой – Надежда (1821–1901).

89

Царицын луг – территория между Лебяжьим каналом и рекой Мойкой, первоначально болотистая луговина. В первой половине XVIII в. был осушен и превращен в место проведения праздников и военных парадов. Традиционные ежегодные парады на Царицыном лугу проводились со второй половины XVIII в. до начала XX в. См. их описание: Игнатьев Н.П. Пятьдесят лет в строю. М., 1955. Т. 1. С. 90–93. После возведения в 1801 г. в южной части Царицына луга памятника А.В. Суворову «в образе Марса» (скульптор М.И. Козловский; в 1918 г. памятник перенесен ближе к Неве) за площадью постепенно закрепилось второе название – Марсово поле.

90

Цесаревич Николай (1843–1865) и великий князь Александр (1845–1894) – сыновья Александра II.

91

По всей видимости, имеется в виду Дмитрий Никитич Максимов, протоиерей, духовник и законоучитель Екатерининского института.

92

Макарий (в миру Булгаков Михаил Петрович; 1817–1832) – архиерей, позднее митрополит Московский; Бажанов Василий Борисович (1800–1883), богослов-популяризатор, духовник царского дома с 1849 г.; какой Лебедев имеется в виду, установить трудно, скорее всего речь идет о протоиерее Петре Алексеевиче Лебедеве (1806–1887) – выпускнике С.-Петербургской духовной академии, священнике и законоучителе во многих петербургских учебных заведениях.

Боголюбов Петр Иванович (1808–1880).

94

Ободовский Платон Григорьевич (1803–1864) – педагог, драматург, поэт и переводчик. Инспектор классов в Екатерининском институте с 1839 г.; с 1844 г. также преподавал там российскую словесность.

95

Аникиев Александр Сергеевич (? – 1853) – преподаватель истории, составитель учебного пособия по истории.

96

Тимаев Николай Матвеевич, коллежский асессор. Его отец – Тимаев Матвей Максимович (1798–1858), действительный статский советник, инспектор Смольного института в 1839–1858 гг.

97

Вержбилович Валерий Варфоломеевич (1813–1865), титулярный советник.

Мухин Михаил Петрович (1811–1883), надворный советник.

99

Возможно, речь идет о балерине Ришар, преподававшей танцы в Екатерининском институте в 1850-х гг.

100

Долгорукова Александра Сергеевна (в замужестве Альбединская; 1836–1913) – княжна, фрейлина великой княгини Марии Александровны. Фаворитка Александра II. См. о ней: Тютчева А.Ф. Воспоминания. М., 2000. С. 39–40.

101

Габер-суп – немецкий овсяный суп. Рецепт его приготовления: «Стакан хорошей, перемытой овсяной крупы варить в закрытой кастрюльке с 10 стаканами воды <…> положив 1–2 ложки масла и немного соли. Когда суп уварится до густоты хороших сливок, дать устояться и <…> протереть все через дуршлаг. Между тем отварить отдельно 1/2 фунта чернослива или изюма, который положить в миску, налить овсянкой, подавать с греночками» (Молоховец Е. Подарок молодым хозяйкам. 29-е изд. Пг., 1917. С. 85).

102

О знании Александрой Федоровной русского языка свидетельствуют ее письма к В.А. Жуковскому; см.: Письма императрицы Александры Федоровны к В.А. Жуковскому (1817–1842) // Рус. архив. 1897. № 4. С. 493–510.

103

То есть к воспитанницам женского Патриотического института, открытого в Петербурге в 1813 г.

104

Голубой класс – средний из трех трехлетних классов, существовавших на Николаевской половине Смольного. Его ученицы носили голубые платья.

105

Реляции генерала от артиллерии князя Михаила Дмитриевича Горчакова (1793–1861), назначенного в феврале 1855 г. главнокомандующим Крымской армией (вместо князя А.С. Меншикова), печатались в «Рус. инвалиде».

106

Возможно, ошибка мемуаристки: в Высочайшем приказе по морскому ведомству от 4 мая 1855 г. был исключен умерший член аудиториата Штаба Черноморского флота и портов генерал-майор Попандопуло (Рус. инвалид. 1855. 12 мая). Больше ни в одном из списков убитых и раненых за время Крымской кампании эта фамилия не встречается. В 1850-х гг. в Одессе жила вдова генерала Попандопуло с дочерьми Клеопатрой Эммануиловной (в замужестве Энно) и Марией Эммануиловной; обе они были выпускницами петербургского Екатерининского института (см.: Мацеевич А.С. М.Л. Магницкий в Одессе // Рус. архив. 1898. № 2. С. 226–227).

107

Свадьба В.В. Панаевой (1834 —?) с Львом Петровичем Толстым (1818–1870) состоялась 17 января 1854 г.

108

Английское шитье *(фр.)*, разновидность вышивки гладью, при которой узор состоит из вырезанных на ткани дырочек, обметанных по краю петельным швом.

109

Никанор (в миру Клементьевский Николай Степанович; 1787–1856) – митрополит Новгородский, Петербургский, Эстляндский и Финляндский (с 1848 г.), архимандрит Александро-Невской лавры.

110

Предсмертную болезнь Николая I, начавшуюся в конце января 1855 г., довольно долго скрывали. Первый официальный бюллетень от 13 февраля появился в газетах только 18 февраля, когда император уже умирал. Официальное известие о кончине было опубликовано только 21 февраля.

111

Николай I умер 18 февраля 1855 г. в 12 часов 15 минут.

112

Мандт Мартин (1800–1858) – лейб-медик с 1840 г.; после смерти Николая I покинул Россию. Отрывки из его воспоминаний, посвященные болезни и смерти царя, см.: Рус. архив. 1884. № 1. С. 192–198.

113

Баранова Юлия Федоровна (урожд. Адлерберг; 1789–1864) – графиня, статс-дама, в 1855 г. была назначена гофмейстериной при императрице Александре Федоровне. Была воспитательницей дочерей Николая 1 и близким другом императорской семьи.

114

Ермолов Алексей Петрович (1772–1861) – генерал от инфантерии, герой Отечественной войны 1812 г. и Кавказской войны. В 1815–1827 гг. главноуправляющий в Грузии. Член Государственного совета.

115

Первоклассные институтки – учащиеся Смольного, Екатерининского и Патриотического институтов, относящихся к институтам первой категории (класса).

116

Речь идет о Владимире Михайловиче Родзянко (1820–1893), в 1847 г. штаб-ротмистре, в 1859 г. полковнике Кавалергардского полка, и Михаиле Михайловиче Родзянко (1821–1887), полковнике Кавалергардского полка в 1853 г. Последний был женат на С.А. Черевиной.

117

Великая княгиня Мария Николаевна (1819–1876), великие князья Михаил Николаевич (1832–1909) и Николай Николаевич (1831–1891) – дети Николая I.

118

П. Г. Ободовский был учителем великих князей Константина, Николая и Михаила Николаевичей и великой княжны Александры Николаевны.

119

Великая княгиня Александра Петровна (урожд. принцесса Александра Ольденбургская; 1838–1900); жена (с 1856 г.) великого князя Николая Николаевича, сына Николая I. В 1886 г. приняла иночество под именем Анастасии. В описываемое Стерлиговой время была еще невестой великого князя.

120

В первой публикации имелась следующая сноска: «Воспитанницы института и весь женский персонал, служивший в нем, кроме главной начальницы, названы вымышленными именами» (Рус. богатство. 1908. № 7. С. 132).

121

Мать Е.Н. Водовозовой – Александра Степановна Цевловская (урожд. Гонецкая; 1813–1887).

122

Дворянская книга предназначалась для записи дворян уезда или губернии. Велась соответствующими дворянскими депутатскими собраниями под наблюдением предводителя дворянства. Она разделялась на шесть разрядов по степени знатности. В третью часть дворянской книги вносились лица, получившие потомственное дворянство вследствие выслуги определенного чина на гражданской службе или в результате награждения российскими орденами.

123

Сент-Илер Аделаида Карловна (урожд. Гилло) – инспектриса Александровской половины Смольного института в 1848–1867 гг.

124

М.П. Леонтьева (1792–1874) была дочерью Солигаличского уездного предводителя дворянства Павла Антоновича Шипова; училась в Смольном в 1800–1809 гг., была выпущена с шифром. Муж Марии Павловны – генерал-майор Н.Н. Леонтьев был на ней женат вторым браком, его первая жена, урожд. Пестель (двоюродная тетка известного декабриста), умерла, оставив ему троих сыновей. Два родных брата Леонтьевой – Иван и Сергей – были деятельными членами ранних декабристских тайных обществ (см.: Декабристы: Биографический справочник. М., 1988. С. 200–201). Гофмейстериной Мария Павловна стала в 1838 г., тогда же была назначена помощницей начальницы Смольного Ю.Ф. Адлерберг, а в 1839 г. – начальницей института. В 1864 г. ее сделали статс-дамой. В период начальствования Леонтьевой в Смольном были устроены новый лазарет, образцовая кухня и библиотека.

125

Под псевдонимом Оленкина выведена воспитанница и компаньонка Леонтьевой – приемная (а скорее всего внебрачная) дочь ее институтской подруги Олимпиады Петровны Шишкиной – Анастасия Петровна Алонкина (1809–1885), которая жила у Леонтьевой с 1854 г.

126

Гарусный капор – шапочка с оборкой вокруг лица, вязанная из крученой шерсти; камлотовый салопчик – широкое пальто из камлота.

127

Врачей в описываемое время в Смольном было несколько: старший врач – действительный статский советник Иван Иванович Ниман, младший врач – статский советник Август Андреевич Зандер; штатный врач – Сергей Михайлович Ганшеев.

128

Нюта – Анна Николаевна Савельева, урожд. Цевловская (ок. 1835 —?), Шура (Саша) – Александра Николаевна Цевловская (ок. 1836 —?), с 1861 г. помощница начальницы Мариинского женского училища в Смоленске.

129

Кофейный класс – название, закрепившееся в институтском обиходе и происходившее от цвета платьев. Первоначально, когда в Смольном было четыре класса, воспитанницы носили соответственно платья коричневого («кофейный», самый младший класс), голубого, серого и белого цвета; к платьям полагались передники: у трех младших возрастов белые, а у «белых» – зеленые шелковые.

130

Вдовьи дома были учреждены в 1803 г. при Московском и Петербургском Воспитательных домах для призрения неимущих, увечных и престарелых вдов государственных чиновников; в 1828 г. выделены в самостоятельные учреждения Ведомства императрицы Марии. У Е.Н. Водовозовой речь идет о вдовьем доме при Смольном монастыре, основанном в 1808 г.

131

Антраша – прыжок на двух ногах, во время которого ноги, разойдясь несколько раз, быстро скрещиваются.

132

Дядя Водовозовой – Иван Степанович Гонецкий (1810–1887), старший брат матери, генерал-адъютант. Отличился при подавлении Польского восстания 1863 г. См.: Корнилов И.П. Воспоминание о польском мятеже 1863 года в Северо-западном крае (по рассказам генерал-адъютанта И.С. Гонецкого) // Рус. архив. 1899. № 7.

133

Младший брат Водовозовой – Захар Николаевич Цевловский (ок. 1839 —?).

134

Дворянский полк был учрежден в 1807 г. при 2-м Петербургском кадетском корпусе как Волонтерный корпус для молодых дворян от 16 лет и выше, не желающих поступать на службу прямо в полк унтер-офицерами. Обучение в новом учебном заведении давало элементарное военное образование и при выпуске – сразу офицерский чин. В 1852 г. в Дворянский полк стали помещать воспитанников других корпусов, которые по молодости не могли быть выпущены в офицеры. В 1855 г. Дворянский полк был переименован в Константиновский кадетский корпус, а в 1859 г. – в Константиновское военное училище.

135

Старший брат Водовозовой – Андрей Николаевич Цевловский (ок. 1834 —?) окончил в 1850 г. Полоцкий корпус; затем учился в Дворянском полку, с 1853 г. служил в 3-м Финляндском батальоне.

136

Старов Николай Дмитриевич – преподаватель словесности в Смольном институте в 1851–1860 гг., известный педагог. Среди учеников Старова были историк В.И. Семевский (второй муж Водовозовой), художница и мемуаристка Е.Ф. Юнге и др.

137

Ушинский Константин Дмитриевич (1824–1870) – педагог, служил инспектором классов Смольного института с февраля 1859 г. до лета 1862 г.

138

Фонтанель – искусственно вызванное нагноение: глубокий надрез на коже, куда закладывали горошину, кусок марли и т. п. Мобилизуя защитные средства организма, фонтанель способствовал быстрому выздоровлению. Считался также хорошим профилактическим средством при эпидемиях.

139

Царские дни – дни коронования царствующего императора, а также дни рождения императора, императрицы и наследника.

140

Судя по сохранившемуся конспекту уроков домоводства одной из смолянок, относящемуся к началу XX в., с течением времени многие из недостатков, перечисленных Водовозовой, были устранены. Институткам сообщали не только способы приготовления блюд, но и сведения по качеству, сезонности и ценам продуктов. Например: «Парное мясо на второй день убоя цвета спелой малины. Оно не должно увлажнять руки, если до него дотронуться; если его положить на стол, не должно давать вокруг себя кровавого озерца и не должно давать истечения сока. Оно должно быть упруго, если нажать пальцем, ямка сейчас же заполнится. На обоняние – запах приятный, ароматичный. При варении и жарении мягкое. Оттаявшее мясо – признаки, противоположные парному мясу: цвет – красновато-коричневый, не упругое, мягкое, т. е. ямка, сделанная пальцем, не заполняется; если дотронуться рукой, она увлажняется; положить на стол – получается кровяное озерцо, если его подвесить, то будет капать. Под верхнею оболочкой лежит коричневая полоса. <…> Капуста бывает ранняя и осенняя. Ранняя – зеленая, горькая, кочаны неплотные, стоит 20–30 коп. маленький кочан. Надо ее ошпаривать кипятком, чтобы уничтожить горечь. Осенняя капуста – белая, кочны плотные. При покупке надо обращать внимание, чтобы кочерыжка не была бы очень толстой, чтобы кочан был плотный, чтобы не было слизняков, и чтобы снаружи кочан не был бы объеден. Самый дешевый сезон – это август, стоит 1–0,5 коп. фунт» и т. д. (Уроки домоводства в Смольном институте: Учебные конспекты смолянки. М., 1995. С. 23–24, 54).

141

Годовые праздники – двунадесятые праздники (12 важнейших православных праздников – Рождество, Крещение, Сретение, Пасха и др.).

142

Учреждения императрицы Марии (Ведомство учреждений императрицы Марии) – высший государственный орган управления женскими учебными заведениями и благотворительными заведениями, находившимися под покровительством императрицы и других представительниц императорской фамилии. Ведомство было основано в 1828 г. как IV отделение собственной е.и.в. канцелярии, получило свое название (в 1854 г.) в честь императрицы Марии Федоровны.

143

Соболевский Дмитрий Петрович – выпускник Киевской духовной академии; преподаватель русской словесности в Смольном в 1851–1860 гг.

144

Зонтаг Анна Петровна (урожд. Юшкова; 1786–1864) – детская писательница, автор нравоучительных повестей и сказок.

145

Водовозов Василий Иванович (1825–1886) – преподаватель русского языка и словесности в Смольном институте в 1860–1862 гг.; детский писатель, переводчик; первый муж мемуаристки.

146

Экзархом (главой православной церкви) Грузии в 1858–1866 гг. был Евсевий (Ильинский), позднее архиепископ Тверской и Кашинский.

147

Революционная газета А. И. Герцена и Н. П. Огарева «Колокол» издавалась в 1857–1867 годах в Лондоне и Женеве.

148

В школах дореволюционной России наиболее распространенными были учебники по всеобщей и русской истории Д. И. Иловайского (1832–1920), написанные в дворянско-монархическом духе, изложение истории в них сводилось к деятельности царей и полководцев.

149

Романы немецкого писателя Фридриха Шпильгагена (1829–1911), особенно «Один в поле не воин» (1866), имели большой успех в России, вызывали шумные споры среди передовой молодежи: Шпильгаген обличал дворянство, духовенство и буржуазию, сочувственно изображал революционеров, хотя представлял их борцами-одиночками.

150

Харьковский институт благородных девиц был основан в 1812 г. первоначально как частное учреждение, содержащееся на счет харьковского дворянства. В 1818 г. перешел под Высочайшее покровительство императрицы Марии Федоровны; был отнесен к институтам 1-й категории.

151

Епитрахиль – часть богослужебного облачения православного священника: широкая, украшенная изображениями крестов лента, перекинутая через шею и сшитая или застегнутая спереди. Во время исповеди священник накрывает епитрахилью голову кающегося.

152

Зандкухен – разновидность печенья. Готовилось оно следующим образом: тесто из муки, сахара, сливочного масла, лимонной цедры и желтков замораживалось и раскатывалось пластом толщиной в карандаш. Из теста вырезались кружочки печенья, которые смазывались белком, посыпались сверху шинкованным миндалем и запекались в печи (Уроки домоводства в Смольном институте: Учебные конспекты смолянки. М., 1995. С. 122–123).

153

Грома Павел Степанович – протоиерей, законоучитель в Харьковском институте.

154

Александра Петровна Голохвастова была начальницей Харьковского института в 1884–1900 гг.

Тогда начальницей института была Ольга Александровна Уважнова.